

UNIwersytet WarMińsko-Mazurski w Olsztynie  
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

# Acta Neophilologica

X



WYDAWNICTWO  
UNIwersytetu WarMińsko-Mazurskiego  
OLSZTYN 2008

### **Rada Programowa**

Franciszek Apanowicz, Anna Bednarczyk, Józef Darski, Władimir Griesznych,  
Aleksander Kiklewicz, Joanna Kokot, Ewa Nikadem-Malinowska,  
Jolanta Miturska-Bojanowska, Grzegorz Ojcewicz (przewodniczący),  
Heinrich Pfandl, Jurij Pradid, Stanisław Puppel, Klaus Steinke,  
Ewa Żebrowska, Aleksander Żółkowski, Bogusław Żytko

### **Recenzenci**

Franciszek Apanowicz, Jan Czykwin, Adam Fałowski, Józef Grabarek,  
Ludmiła Jankowska, Roman Kalisz, Wojciech Kubiński, David Malcolm,  
Zoja Nowożenowa, Bogusław Żytko

### **Sekretarz redakcji**

Joanna Orzechowska  
e-mail: joanao@wp.pl

### **Adres redakcji**

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  
Instytut Neofilologii  
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn,  
tel. fax (0-89) 527 58 47, (0-89) 524 63 69  
<http://human.uwm.edu.pl/slowianie/actaa.htm>

### **Projekt okładki**

Barbara Lis-Romańczukowa

Redakcja wydawnicza  
Małgorzata Kubacka

**ISSN 1509-1619**

© Copyright by Wydawnictwo UWM • Olsztyn 2008

Wydawnictwo UWM  
ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn  
tel. (0-89) 523 36 61, fax (0-89) 523 34 38  
[www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/](http://www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/)  
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl

---

Nakład 130 egz. Ark. wyd. 14; ark. druk. 12  
Druk: Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam. 562

## SPIS TREŚCI

### Językoznawstwo i glottodydaktyka

Любовь Савёлова, <i>Наречные экспликаторы культурно значимой информации в русском языке</i> .....	5
Jolanta Miturska-Bojanowska, <i>Nomina personae мутационного характера в современном русском языке</i> .....	13
Александр Антипов, <i>Морфологические модели номинативной деривации (к проблеме функций деривационной морфологии русского языка)</i> .....	21
Алла Камалова, <i>Погода и её концептуализация в русском языке</i> .....	31
Ewa Kujawska-Lis, <i>Translation of Biblical References in Literary and Non-literary Texts</i> .....	37
Marek Krawiec, <i>English Words in the Talk of Polish Teenagers. A Review of Sociolinguistic Aspects</i> .....	51
Joanna Nawacka, <i>Charakterystyka semantyczna i strukturalna frazeologizmów nominujących koncepty miłości, erotyki i seksu we współczesnym rosyjskim żargonie młodzieżowym</i> .....	63
Monika Piotrowska-Mazurowska, <i>O frazeologizmach we współczesnym rosyjskim żargonie narkomanów</i> .....	71
Светлана Смирнова, <i>Лексикографическое описание слова „святой”</i> .....	79
Jarosław Dvornopoluj, <i>Zagadnienia językoznawstwa jako terapia w przypadku przemoczenia</i> .....	91
Людмила Савенкова, <i>Элективный курс «Русские пословицы и вопросы общей паремологии»: содержание и методика преподавания</i> .....	103

### Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo

Wiera Bielousowa, <i>„На зеркало неча пенять...” (к истории одного взаимоотношения)</i> .....	113
Аэлига Базилевская, <i>Два аспекта темы детства в рассказах А.П. Чехова</i> .....	119
Iwona Anna Ndiaye, <i>Dom – Ojczyzna w emigracyjnej poezji M. Cwietajewej</i> .....	139
Andrzej Pilipowicz, <i>Der Regen – Metapher der Einsamkeit. Eine Studie über R.M. Rilkes „Einsamkeit” und K.K. Baczyńskis „Deszcze”</i> .....	147
Dariusz Langhoff, <i>The Murders in the Rue Morgue: Neurosis</i> .....	161
Эда Добровецкая, <i>Карнавализация и диалогизм в современной музыке</i> .....	169
Александр Лошаков, <i>Проблема свехтекста в отечественной филологии</i> .....	181



## JEZYKOZNAWSTWO I GLOTTODYDAKTYKA

Любовь Савёлова  
Москва

### НАРЕЧНЫЕ ЭКСПЛИКАТОРЫ КУЛЬТУРНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

**Key words:** Russian, adverb, semantic, pragmatic, lingvocultural, information

Лингвокультурологическое исследование единиц и подсистем языка предполагает выявление и интерпретацию средств, способов, вариантов актуализации информации, значимой для определенного этноязыкового сообщества. Объект лингвокультурологии связывается прежде всего с той частью «внеязыкового мира, «предметы» которой оказываются «вербализованными духовно значимыми [...] ценностями» [Алефиренко 2006: 30]. Интерес когнитивной лингвистики в рамках практического решения этого круга задач направлен прежде всего на слова именных частей речи, но не ограничивается только ими. Особый класс слов с точки зрения способов объективации знаний человека о мире образуют наречия. Теоретической основой данного утверждения является учение о предназначенности слов тех или иных лексико-грамматических разрядов для передачи определенного рода информации.

В языке, по словам Н.С. Державина, «пережиточно сохраняются пласты различных эпох языкового и культурного развития человечества. В виду всего этого язык и является для истории культуры драгоценным документом, дающим возможность воссоздавать древнейшее состояние «духовной» и материальной культуры, социальных отношений и международных взаимоотношений. Старое языковое наследие в новом периоде языкового и культурного развития не отбрасывается обыкновенно в сторону, не исчезает бесследно, но усваивается новой культурой и продолжает жить в языке, то в виде окаменелостей, какими в нашем языке являются многие предлоги, союзы и наречия, а также суффиксы и окончания, бывшие некогда целыми словами, то в своем исконном виде, но с частично измененной звуковой огласовкой или с другим значением» [Державин 1926: 233]. Этимологические изыскания, безусловно, важны для изучения прагмасемантического потенциала наречий (например, существенные пре-

образования произошли в семантических структурах таких русских наречий, как *опять, почти, божжески, налево, с лихвой* и др.), однако исследование синхронных связей также дает свои результаты.

Наречия, выполняя номинативную функцию, в то же время выступают и как слова-характеризаторы. Запас наречной лексики в словарном составе языка и лексиконе личности, а также точность выбора адвербиальных лексем и выражений в процессе речевой коммуникации симптоматичны в отношении степени детализации и характера восприятия действительности носителем языка.

Семантика наречий различных групп представляет интерес с точки зрения культурного кода.

Высокой лингвокультурологической значимостью, в частности, обладает безэквивалентная лексика. К числу таких единиц могут быть отнесены русские наречия *абы как* – ‘кое-как, небрежно’, *беззаветно* – ‘всеми силами, забывая о себе, не рассчитывая ни на какое вознаграждение’, *заодно* – ‘попутно, одновременно с другим действием, в добавление к нему’, *на авось* – ‘надеясь на везение, на случайную удачу’, *с кондачка* – ‘необдуманно, спонтанно, без основательной подготовки, кое-как’, *сноровисто* – ‘умело, не мешая, а помогая кому-либо’ и др.

Примечательным и существенным является не только отсутствие межъязыковых соответствий, но и внутриязыковые (межсистемные) лакуны, например, в общеупотребительном варианте литературного языка не имеют однословных соответствий следующие наречия: а) диалектные: *жильмя* – ‘живя постоянно, не уходя из чьего-либо дома, как уходят из гостей’, *гоже* – ‘хорошо, приятно, вызывая одобрение у других’, *летось* – ‘прошлым летом’, *сцела* – ‘будучи полным’, *какмога* – ‘насколько возможно (сильно)»; б) жаргонные: *лажово* – ‘плохо, неосновательно, не по-настоящему’, *по-любому* – ‘в любом случае, независимо от того, как сложатся обстоятельства’, *загрузочно* – ‘излишне все усложняя»; в) специальные: *заподлицо* – ‘на одном уровне’ (в архитектуре); *подвысь* – ‘держа оружие перед собой на уровне подбородка, острием вверх’ (в военной терминологии).

Среди специальной наречной лексики значительное место занимают иноязычные заимствования, подавляющее большинство которых приходится на музыкальные термины. В основном это заимствования из итальянского языка: *акучо, аллегро, анданте, а темпо, декрецендо, маэстозо, ленго, пиано, пианиссимо, форте, фортиссимо*. Эта лексика представляет собой зону агнонии для носителей русского языка. Знание семантики данных слов подчинено определенному (элитарному, музыковедческому) культурному коду.

Значение общеупотребительных слов также может осложняться разного рода культурными коннотациями. Так, в современном русском языке в составе наречий высокопродуктивны образования с приставкой *по-* и суффиксами *-и, -ому/-ему* типа *по-царски, по-профессорски, по-восточному, по-летнему*. Они используются прежде всего для характеристики человека (его действий, поведения, внешнего вида, внутреннего мира, образа мыслей и жизни), реже

данные слова называют признаки объектов природы и конкретных предметов. Соответственно, эти адвербативы распределяются по различным семантическим микрополям, таким как: 1) ‘особенности / манера поведения человека’: *обнялись по-родственному, по-медвежьи неуклюж, веселиться по-ребячьи*; 2) ‘особенности внешнего вида человека’: *одет по-европейски, щурится по-шакальи, по-богатырски статен*; 3) ‘образ действия’: *переполз по-пластунски, плавает по-собачьи, закричал по-петушиному*; 4) ‘способность говорить на конкретном языке’: *по-английски, по-грузински, по-итальянски*; 5) ‘особенности ценностного видения мира человека’: *по-христиански милостив, по-философски относится к жизни, по-рабски пресмыкаться*; 6) ‘особенности внутреннего мира человека’: *по-детски наивен, по-заячьи труслив, любить по-отечески*; 7) ‘аксиологическая оценка признака, действия, состояния’: *по-хорошему поступил, по-дурному отозвался о нем*; 8) ‘субъективная оценка признака, действия, состояния’: *по-провинциальному суетлив, по-дилетантски рассуждает, угостить по-царски*; 9) ‘мера, степень проявления признака’: *платит по-божески, по-истовому верить, по-настоящему добрый, работать по-стахановски*; 10) ‘характер признаков и свойств природных объектов и явлений’: *по-зимнему свежий воздух, по-июльски жарко греет солнце, по-ночному напряженная тишина*; 11) ‘видовой признак предмета’: *кофе по-восточному, макароны по-флотски, мясо по-французски, печень по-строгановски*.

Одно и то же слово может включаться в разные микрополя, так как частнокатегориальная семантика наречий контекстуально обусловлена. Сравним: наречие *по-московски* одновременно входит в две группы – 1) ‘особенности поведения человека’: *Домна низко, но с достоинством, по-старинному, по-московски, кланяется Семенюте* (А. Куприн, *Святая ложь*); 2) ‘видовой признак предмета’: *окунь по-московски*.

В редких случаях возникает омонимия в результате семантического размежевания производных. Наречие при этом соотносится с разными типами культурно значимой информации. Например, наречие *по-черному* может служить индексом разнородных понятий – цвета и интенсивности: *бanya по-черному* (эксплицируется цветовой признак) и *ругаться по-черному, пить по-черному* (эксплицируется признак интенсивности). Выражение *бanya по-черному* представляет собой этнографизм, поскольку называет предмет материальной культуры, широко распространенный в северных русских деревнях вплоть до середины XX века. В выражениях же *ругаться по-черному, пить по-черному* наречие *по-черному* эксплицирует отрицательную оценку конкретных проявлений маргинальной культуры, которая также может иметь национальную специфику.

По моделям *по-...-и, по-...-ому/-ему* наречия образуются от разных производящих основ, среди которых также представлены единицы различных семантических классов – наименования по месту проживания или нахождения лица, по социальному статусу, роду занятий человека, по поло-возрастным признакам, по особенностям поведения, по родственным отношениям, по сфере или времени локализации признака и т.д. Не останавливаясь подробно на каждом

из этих разрядов, обратимся к наречиям, которые формально мотивированы прилагательными, а семантически – существительными, называющими лицо по национально-этническому признаку. Это такие слова, как *по-арабски*, *по-башкирски*, *по-белорусски*, *по-гречески*, *по-испански*, *по-корсикански*, *по-мазурски*, *по-молдавски*, *по-таджикски*, *по-тюркски*, *по-французски* и многие другие. Все они передают значение ‘так, как свойственно лицам определенной национальности или этнической группы’ или ‘таким образом, как принято у того или иного народа, в той или иной стране’, в том числе эти наречия указывают на способность человека говорить на определенном языке. Значительная часть данных наречий, помимо общего нейтрального значения, выражает культурно ориентированное оценочное значение. Например, во фразеологизме *уйти по-английски* закрепился семантический признак ‘не прощаясь, не привлекая к себе внимания’. Носители русского языка и русской культуры могут воспринимать в ироническом ключе некоторые наречия, наделяя их значения оценочными коннотациями. Это касается, к примеру, таких слов, как *по-чукотски* – ‘вызывая смех своей нелепостью’, *по-уругвайски* – ‘нецивилизованно, отстало’, *по-эстонски* – ‘медлительно’, *по-еврейски* – ‘не так, как ожидалось, с хитростью’, *по-итальянски* – ‘страстно, шумно, энергично’. Возможны также и коннотации мелиоративного характера: *по-французски* – ‘изысканно, со вкусом’. В основе механизма формирования оценочных коннотаций в данном случае лежат сложившиеся в лингвокультурном сообществе стереотипы. Культурные коннотации дескриптивного типа [Токарев 2003: 58] в принципе способны выражать все наречия, соотносимые с номинациями по национально-этническому признаку, однако содержание коннотативного компонента значения варьируется, поскольку зависит от объема знания носителей языка о том или ином народе. Кроме того, необходимо учитывать, что характер выражаемой оценки обусловлен культурно-историческим и политическим контекстом и поэтому может быть подвержен изменениям.

Рассмотрим, что обозначает наречие *по-русски*. Основное значение этого наречия – ‘на русском языке’ (*говорить / понимать по-русски*). Это значение подвержено модификациям, которые имеют системный характер.

Так, сочетание *говорить по-русски* в свободном употреблении имеет разные значения:

1) ‘разговаривать на русском языке’: *из соседней комнаты доносились голоса – говорили по-русски*; в этом случае наречие *по-русски* сочетается с различными глаголами речи, акцентирующими идею речепорождения – *говорить, разговаривать, беседовать, кричать, шептать, писать* и др.;

2) ‘владеть русским языком’: *вы говорите по-русски?*; в данном случае смыслоорганизующей является идея способности говорить на русском языке и понимать сказанное. Это же значение наречие *по-русски* реализует в сочетании с глаголами *разговаривать, понимать, читать, писать* в тех их употреблениях, которые актуализируют смысл ‘уметь’, ‘быть способным выполнять названное действие’. Пресуппозиционную часть плана содержания наречия *по-русски*



составляет смысл ‘есть основания предполагать, что русский язык для общающихся (или для одного из общающихся) является неродным’.

Механизмы формирования дополнительных смыслов, передаваемых с помощью наречия *по-русски*, могут быть разными.

*Говорить по-русски* в качестве несвободного словосочетания означает ‘излагать свою мысль понятно, доступно (с точки зрения говорящего)’. Это сочетание прагматически нагружено: *я же по-русски сказал: не надо меня провожать*. Прагматический компонент содержания подобных высказываний составляет импликация недовольства говорящего действиями адресата, которые не соответствуют, противоречат тому, о чем ранее просил или к чему побуждал говорящий (и, как ему казалось, был правильно понят). В событийной проекции прагматический компонент рассматриваемых высказываний, формируемый с помощью наречия *по-русски*, можно представить так: а) ‘говорящий просит адресата что-либо делать определенным образом или принять к сведению информацию’ → б) ‘он считает, что выражает свое волеизъявление понятно и восприятие информации адресатом адекватно намерению говорящего’ → в) ‘адресат выполняет действие другим образом или не понимает, о чем ему говорят’ → г) ‘это вызывает негативную реакцию говорящего’. В таком употреблении наречие *по-русски* синонимизируется с фразеологизированным выражением *русским языком: тебе русским языком говорят – мы придем позже*.

Наречие *по-русски* в прагматически осложненном значении имеет узкую сочетаемость, присоединяясь к формам глагола *говорить/сказать*. Смысловый компонент ‘русский язык’ ситуативно обусловлен, он дезактуализируется, уступая место смыслу ‘язык, наиболее понятный для общающихся’, то есть *по-русски* значит ‘на понятном языке’ (‘на родном языке’). Этот смысл характеризуется устойчивостью и универсальностью, поскольку значение ‘на понятном языке’ передается изофункциональными выражениями и в других языках. Так, М.И. Михельсон, толкуя сочетание *русским языком говорить*, приводит для сопоставления материалы европейских языков: *Deutsch mit einem sprechen, Deutsch und gut (sprechen), Parler français* (‘ясно, откровенно’), *Latine loqui* (‘говорить ясно, открыто, честно’), *Romane* (‘по-римски’) [Михельсон 1994, II: 207]. В условиях референции несовпадения языковых кодов развивается дополнительный иронический смысл (например, *я ж тебе, вроде, по-русски говорю* в адрес иностранца, который может вообще не знать русского языка, звучит иронично).

Иной механизм порождения дополнительного смысла действует в научном, и шире – общекультурном, дискурсе. В значении наречия *по-русски* синтезируются смысловые компоненты ‘русский язык’, ‘русская нация’ и ‘русская культура’.

*Говорить по-русски* – значит *мыслить по-русски*. В частности, В.И. Даль, тонкий и ревностный ценитель русского языка в его живом и образном проявлении, настойчиво подчеркивал связь языка с образом мысли и предостерегал от опасности пренебрежительного отношения к способу

изъяснения либо предпочтения исконным словам родного языка иностранных речений: «Коль скоро мы начинаем ловить себя врасплох на томъ, что мыслимъ не на своемъ, а чужомъ языкѣ, то мы уже поплатились за языки дорого: если мы не пишемъ, а только переводим, мы конечно никакого подлинника произвести несилахъ, и начинаемъ духовно пошлѣть» [Даль 1998: XLII]. Показательно в связи с этим и употребленное В.И. Далем наречие *по-русски* в следующем контексте: «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь не делают человека принадлежностью той или другой народности. Дух, душа человека – вот где надо искать принадлежности его к тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю **по-русски**» [Цитируется по: Никитин 2001]. В данном случае актуализируется общезначимая идея самобытности национальных культур и языков в их взаимодействии, что, разумеется, применимо не только к русскому языку.

Наречие *по-русски* служит также вербализации других видов культурной информации. В частности, оно используется в кулинарной терминологии: *рыба* (запеченная, тушеная, припущенная) *по-русски*; *жареное мясо по-русски*; *паровой картофель с селедочкой по-русски*; *мойва с картофелем, запеченная по-русски*; *салат из картофеля по-русски*; *пельмени по-русски*; *супы по-русски*; *суп из овощей с картофелем по-русски*; *суп с макаронами по-русски*; *грибной суп по-русски*; *овсяный кисель по-русски*; *гречневая каша по-русски*; *рисовая каша по-русски* и др. Национально-культурный компонент прагматической части значения наречия формируется не только актуализацией способа приготовления пищи и специфики технологии (как например, ручная лепка при приготовлении пельменей). Более значимым, как представляется, в этом случае оказывается косвенное указание на используемые продукты, которые являются традиционными, не экзотическими для русского человека.

Кроме того, рассматриваемое наречие включено в систему средств вербализации особенностей русского характера. Следует отметить, что сами эти особенности являются трудноопределяемыми и разнородными. Приведем лишь некоторые примеры употребления наречия *по-русски* для передачи такого круга значений: «*Любить по-русски*» (название художественного фильма, режиссер Е. Матвеев, 1995 г.); *Мне кажется, сейчас каша заваривается заново. Очень хочется, чтобы в итоге получилась каша по-русски* (из интервью с форвардом футбольной команды «Локомотив» Максимом Бузникиным, Комсомольская правда 2003, 23 октября); – А. *Не знаю как и начать. – В. Начните по-русски* [достается спиртное и рюмки, коммуниканты понимают, о чем идет речь]. В приведенных примерах актуализируются разные составляющие стереотипного представления о русском характере:

– способность любить беззаветно и при этом отстаивать и защищать то, что любишь, – землю, дом, близких людей;

– желание «заварить кашу», то есть начать делать что-то хлопотливое и, как правило, неприятное для участников событий, в том числе желание поучаствовать в драке;

– склонность решать различные вопросы «под рюмочку», то есть употребляя спиртные напитки и стремясь тем самым достичь расслабленного и слабоконтролируемого состояния – как собственного, так и своего собеседника.

Разумеется, эти составляющие в реальности не являются обязательными для каждого русского человека и не исчерпывают всей сложности его внутреннего мира, но в практике речевого общения закрепляются прежде всего эти представления. Оценочно-культурные коннотации так или иначе взаимодействуют с ядерными значениями наречия *по-русски* и существенно осложняют его прагматическую структуру. Этот вывод равным образом распространяется и на другие наречия.

Характеристика даже малой части наречного состава русского языка в аспекте культурного кода убеждает, что употребление адвербиальной лексики обусловлено интенцией говорящего, тем самым она осознанно или неосознанно включена в процессы формирования определенных образов в представлении реципиента.

### Библиография

- Алефиренко Н.Ф. (2006). *Язык, сознание и культура: проблемы методологии*. В: Н.Ф. Алефиренко. *Слово в словаре и дискурсе: сборник научных статей к 50-летию Харри Вальтера*. Москва, Элпис, с. 30–38.
- Даль В.И. (1998). *О рускомъ словарѣ. Читано въ Обществѣ Любителей Російской словесности, въ частномъ его засѣданіи 25 февраля и в публичномъ 6 марта 1860 года*. В: В.И. Даль. *Толковый словарь живого великорусского языка*. В 4 т. Т. 1. Москва, Русский язык.
- Державин Н.С. (1926). *Новое направление в истории культуры и языка (Яфетическая теория)*. Звезда, № 4, с. 226–255.
- Михельсон М.И. (1994). *Русская мысль и речь*. В: *Свое и чужое: Опыт русской фразеологии: сборник образных слов и иносказаний*. В 2 т. Москва, Терра.
- Никитин О.В. (2001). «Я думаю по-русски» (К 200-летию со дня рождения В.И. Даля. [Электронный ресурс] ГРАМОТА.РУ. Справочно-информационный портал. Русский язык. Русский язык за рубежом. № 2. Режим доступа: <<http://www.gramota.ru/journals.html?m=ruszr&n=2001-02&id=184>>.
- Токарев Г.В. (2003). *К вопросу о типологии культурных коннотаций*. Филологические науки, № 3, с. 56–60.

### Summary

#### Adverbial Explicators of Cultural Information in the Russian Language

The article deals with lingvocultural aspect of studying the Russian adverb. The theoretical basis of the investigation is the idea of cognitive linguistics about function of various grammatical categories of words for rendering definite sort of information. Adverbs fulfil the nominative function and at the same time they have an evaluative connotation. The volume of the adverbs both

in the common vocabulary and in a personal vocabulary; the sharp choice of these adverbial lexemes and phrases in the process of communication are rather important for detection the degree of reality detalization by a personal. Moreover, the usage of adverbs is connected with the speaker's intentions, that is why this kind of vocabulary is included (consciously or unconsciously) into the process of forming some images in the recipient's mind.

**Jolanta Miturska-Bojanowska**  
Uniwersytet Szczeciński

## *NOMINA PERSONAE* МУТАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

**Key words:** suffixal nouns, nomina personae, modern Russian language

Динамические процессы, происходящие в жизни россиян последней половины XX века, вызвали ряд изменений в языковой системе. Особенно они были ощутимы в годы перестройки и в постперестроечный период. Их активизацию наблюдаем на всех уровнях языка: в орфоэпии, лексике, фразеологии, словообразовании, морфологии, синтаксисе. В сфере лексики интенсифицируется процесс иноязычных заимствований особенно из американского варианта английского языка. Нередко этому сопутствует вытеснение прежних заимствований лексемами, происходящими именно из английского языка, напр. *наблицити* вместо *реклама*, *шоу* вместо *спектакль*. Обновление литературного языка происходит также за счет внутренних заимствований. С демократизацией, „раскрепощением” языка связана либерализация, расшатывание традиционных литературных норм, разрушение прежних запретов и законов. Следствием буквально понимаемой „свободы” является недостаточная культура устной и письменной речи. В современных масс-медиа распространены разговорные, просторечные, жаргонные, а даже нецензурные слова. Уходит из употребления лексика, связанная с советским режимом, возвращается дореволюционная лексика, относящаяся к системе образования, администрации, религии и т.д. На базе существующих слов рождаются новые.

Ядром словаря являются имена существительные, так как человек нуждается, прежде всего, в названии окружающих его предметов, новых явлений, в меньшей степени, в названии признаков, действий и т.п. [Земская 1992: 92]. Согласно наблюдениям Н.З. Котеловой, производные слова составляют свыше 90% всех слов современного русского литературного языка [Котеловой 1989: 7]. Со словообразовательной точки зрения, имена существительные считаются

самой богатой частью речи. Кроме способов словообразования, общих и для других частей речи, функционируют способы, специфические лишь для субстантивов (аббревиация, телескопическое словообразование, нулевая суффиксация).

Среди аффиксальных существительных на первый план выдвигаются суффиксальные дериваты, которые – по словам Е. Земской [Земская 1992: 92] – распределяются на три основных словообразовательных поля: поле Человека, поле Предмета, поле Признака (процессуального и непроцессуального). Значительная доля лексем – это субстантивы со значением лица. Нас интересуют лишь производные мужского пола (мутационные дериваты). При их образовании наибольшей продуктивностью отличаются суффиксы: *-ик/-ник*, *-ист*, *-щик/-чик*, *-ец/-овец*. Эта группа дериватов мотивируется как глагольными, так и именными основами, исключение – это формации с суффиксом *-ист*, возникшие либо на базе субстантивов, либо на базе прилагательных. В количественном отношении доминируют отсубстантивные формации. Лишь при производных с суффиксом *-ик/-ник* первенство перенимают дериваты, мотивированные прилагательными. Продуктивность отдельных суффиксов реализуется по-разному в зависимости от мотиватора. Итак, при образовании *nomina personae*, мотивированных существительными, продуктивность аффиксов выглядит следующим образом: наиболее активным считается формант *-ист*, менее продуктивны суффиксы *-ец/-овец*, *-щик/-чик*, *-ник*, мотивированных прилагательными – лидером является суффикс *-ик/-ник*, менее продуктивны форманты *-щик/-чик*, *-ист*, *-ец/-овец*, а при глагольных основах самым активным признается суффикс *-щик/-чик*, в меньшей степени *-тель*, *-ор/-атор*, *-ник*. Перечисленные форманты характеризуются полифункциональностью, так как одни и те же суффиксы участвуют в словообразовательных процессах, в результате которых возникают наименования лиц и предметов (исключение это суффикс *-ист*).

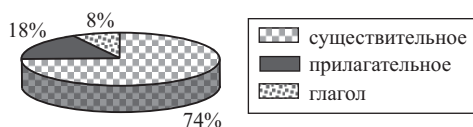


Рис.1. Мотивация существительных со значением лица

Проследим как проявляется активность перечисленных суффиксов при образовании дериватов, мотивированных именными и глагольными основами.

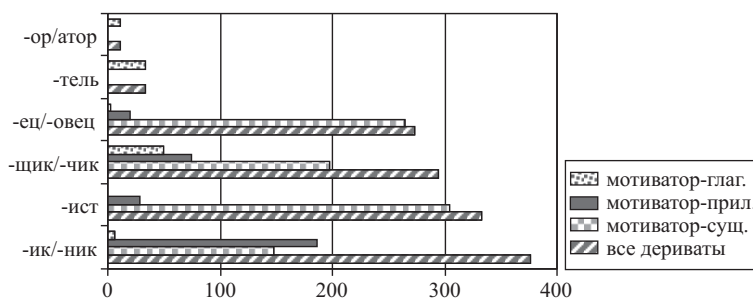
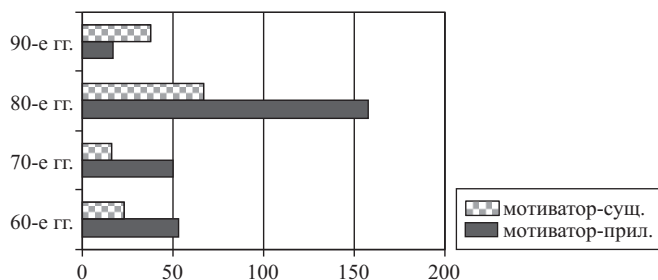
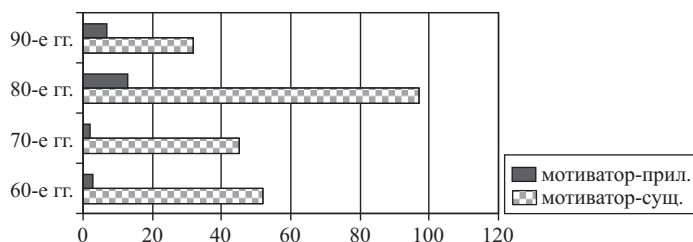


Рис. 2. Продуктивность суффиксов при разных мотиваторах

Лидером при образовании названий лиц является формант *-ик/-ник*. Формации эти мотивируются существительными и прилагательными – преимущественно являющимися компонентами словосочетаний (глагольные основы встречаются у единичных дериватов).

Рис. 3. Деривационная активность суффикса *-ик/-ник*

Богатую палитру *nomina personae* пополняют названия специалистов, работников, в которых мотиватор указывает на сферу деятельности, род занятий: *высоковольтник, древник, культмассовик; картоажник, сенокосник, дренажник*; место работы: *кирпичник, лакокрасочник, налоговый; лавочник, маячник, мгимошник*; орудие действия: *клавишник, стеклоточник*; а также на объект (часто с результативным значением): *мельник, содовик, хитовик; звездник, каблучник*. К ним примыкают названия спортсменов: *вольник, игровик, классик, силовик, скоростник*. Часть дериватов – это наименования, в которых мотивирующее слово называет свойство, качество, присущее лицу: *авторитарник, визиточник; долговолосик, искусственник, наивник*. Формации с суффиксом *-ик/-ник* называют также членов разных групп, организаций: *корпусник, ремдружинник, гэбэшник; боевик, камерник, международник*. Каждый второй дериват имеет разговорный характер, т.е. фиксируется в словаре с пометой ‘в разговорной речи’ или ‘в разговорной профессиональной речи’. Обилие таких лексем появляется в русском языке в 80-е гг. При этом, как уже отмечалось, наибольшей словообразовательной активностью отличаются адъективные основы.

Рис. 4. Деривационная активность суффикса *-ист*

Широкими деривационными возможностями и чрезвычайной активностью отличается интернациональный суффикс *-ист*. Благодаря ему пополняется разряд существительных со значением ‘сторонник, представитель, последователь, приверженец какого-л. течения или взглядов, политики того, кто назван мотивирующей основой, наименования тех, кто изучает данное лицо’, напр.: *авангардист, гиперреалист, глобалист, бэрчист, садатист, антиарабист, брежневист*. В роли мотивирующих выступают существительные с суффиксом *-изм* (*концептуализм* → *концептуалист, этноцентризм* → *этноцентрист, неокommунизм* → *неокommунист*), а также собственные названия, главным образом, фамилии политиков, общественных деятелей (*Рейган* → *рейганист, Руцкой* → *руцкист, Сталин* → *сталинист*), писателей (*Марина Цветаева* → *маринист, Сервантес* → *сервантист, Толкен* → *толкенист*) ит.д. Объемную группу составляют производные со значением специалист в области, названной мотивирующей основой: *астрометрист, психогигиенист, синтаксономист, дерматоглифист; афганист, итальянист, процессуалист*. Разряд субстантивов с суффиксом *-ист* пополняется также лексемами со значением деятеля, в которых мотивирующее указывает на орудие действия: *автогрейдист, каноист, МАЗ* → *мазист, шайбист, бас-гитарист, карийонист, кукнарист, парпантист*. Мотиватор может также указывать на объект действия: *кактусист, экслибрист, календарист, планиетист*. Некоторые мотивирующие совмещают одновременно значение объекта-результата: *авиамоделист, акварелист, тележурналист, афорист, витражист, бестселлерист, гобеленист, фрескист; котлотурбинист, микрохирургист, подстрочникист*. Существительные с суффиксом *-ист* – это также наименования лиц по месту деятельности, работы: *кабаретист, «Комсомольский прожектор»* > *прожекторист, гаист, галерист, спецслужбист, чекист; меланжист, особист*. Наконец, следует отметить, что с помощью этого суффикса рождаются лексемы со значением участник общественно-политического движения (*перонист*), спортивного соревнования (*полуфиналист*), соглашения (*пуцист* ← *Беловежская пуща*), член какой-л. группы, т.е. партии, организации, объединения (*мафист, сандинист, эмтоист* ← *ЭМТО, хунтист, кагэбист; автокефалист, левоцентрист*).

В роли мотивирующих выступают, главным образом, существительные (непроизводные и производные – префиксальные, суффиксальные, сложения, аббревиатуры), а также прилагательные и словосочетания: *абсурдизм* →



→ абсурдист, скафандр → скафандрист, неоглобализм → неоглобалист, рубоб → рубобист; бас-гитара → бас-гитарист, брейк-данс → брейк-дансист, дзен-буддизм → дзен-буддист; электрокардиография → электрокардиографист, политэкономия → политэкономист, еврокоммунизм → еврокоммунист, БелАЗ → белазист, ГАИ → гаист, КраЗ → кразист, МАЗ → мазист; глобальный → глобалист, аккуратный → аккуратист; Беловежская пуща → пуцист, «Комсомольский прожектор» → прожекторист, новая волна → волнист, командитное партнерство → командист, макроэкономические модели → макроэкономист, электроэрозионная обработка → электроэрозионист.

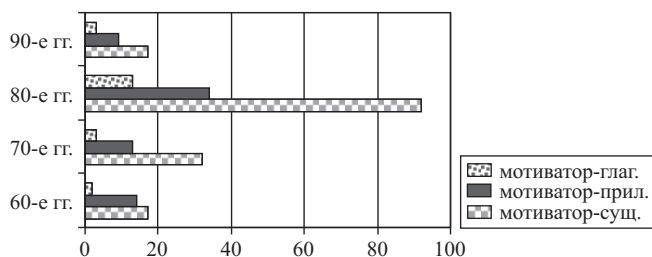


Рис. 5. Деривационная активность суффикса -щик/чик

Так же как и упомянутые выше форманты, суффикс *-щик/-чик* проявляет большую активность в 80-е гг. Подавляющее количество дериватов называет лиц по профессии. При этом мотивирующее указывает на тип занятий: *наплавщик, откормщик, ферросплавщик, нефтеразведчик, гидродобытчик*, сферу деятельности: *рекламщик, аранжировщик, электронщик, сопроматчик, электроаппаратчик*; *биолокаторщик, гуманитарщик, ядерщик*, орудие: *грануляторщик, звездолетчик, ядохимикатчик*; *зубошлифовальщик, сорокапятчик*, объект: *картинщик, лавинщик, нефтепроводчик, фосфоритчик*, результат: *арматурщик, кожгалантерейщик*, место: *видеосалонщик, пиццерийщик, племзаводчик; радиийщик*.

Благодаря этому суффиксу появляются как разговорные (*кокаинщик, компьютерщик, магазинщик, анекдотчик, самиздатчик*), так и нейтральные дериваты (*антенщик, бетатронщик, лазерщик, алмазчик, карбамидчик*). Некоторые производные вступают в синонимические связи с другими суффиксальными дериватами<sup>1</sup>. При этом существительные с суффиксом *-щик/-чик* обычно считаются разговорной формой, ср.: *агропромышленник – агропромышленец, архивщик – архивист, миллионщик – миллионер, прогнозчик – прогнозист*. Среди словарных материалов отмечаются также пары синонимов, употребляемых лишь в разговорной речи, напр.: *кооперативщик – кооперативник, патентщик –*

<sup>1</sup> Следует отметить, что явление словообразовательной синонимии было широко распространено среди существительных со значением лица уже в XVIII в., о чем убеждают нас исследования В.А. Богородского [Богородский], ср.: *досаждатель – досадчик, дразнитель – дразильщик, глумитель – глумник, завистец – завистник*.

патентник, диетчик – диетик, дискотетчик – дискотечник, а также такие, которые характеризуются нейтральностью: рекламищик – рекламист, системщик – системник, пиарщик – пиаровец, хоккейщик – хоккеист, агитбригадчик – агитбригадовец, авиационщик – авиационник.

Суффикс *-щик/-чик* сочетается прежде всего с именными основами (они преобладают), а также, в меньшей степени, с глагольными (*обменищик, заказчик, забойщик*). Мотивирующие существительные – либо непроизводные (*алиментщик, блинщик, багетчик, прогнозчик*), либо производные (*аранжировщик, заказчик, звеносборщик, кругосветчик, PR-щик, электроаппаратчик*). Среди них особого внимания заслуживают мотиваторы с суффиксом *-атор* – который в русском языке характеризуется полифункциональностью. С его помощью словарный состав пополняется омонимическими дериватами со значением лица и предмета, типа *биолокатор, газификатор*. Таким случаям препятствует явление вторичной суффиксации, благодаря которой значение лица передается уже суффиксом *-щик*, ср. *биолокатор* (‘предмет’ и ‘лицо’) → *биолокаторщик* (‘лицо’), *блокиратор* (‘предмет’) → *блокираторщик* (‘лицо’), *гранулятор* (‘предмет’) → *грануляторщик* (‘лицо’). При образовании имен со значением лица с суффиксом *-щик/-чик* в роли мотивирующих выступают также прилагательные, а вернее, словосочетания, типа: *аномальное явление* → *аномальщик*, *скорострельная стрельба* → *скорострельщик*, *капитальный ремонт* → *капитальщик* и др.

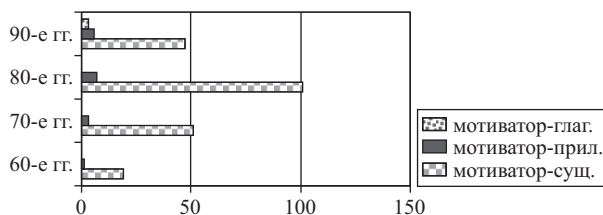


Рис. 6. Деривационная активность суффикса *-ец/-овец*

Существительные с суффиксом *-ец/-овец* главным образом называют членов какого-л. коллектива (организации, группы, партии): *демпартиец, думец, омоновец, спецназовец*. У дериватов со значением ‘работник, сотрудник’ мотиватор указывает на сферу деятельности или место работы: *атомоходец, останкинец, айфовец, жэковец, общепитовец, внешнеторговец, асбестовец*.

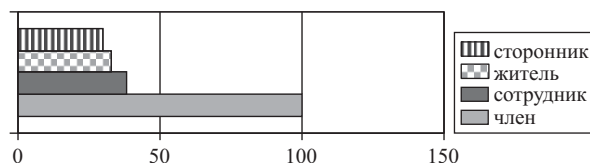


Рис. 7. Значения дериватов с суффиксом *-ец/-овец*

Преобладающее количество перечисленных дериватов мотивируется аббревиатурами, ср.: *нацгвардеец, маишаводец, ревсомолец, аифовец, медсанбатовец, цехкомовец*. Словари новой лексики фиксируют ряд названий жителей с суффиксом *-ец/-овец*: *эфэргеовец, левобережец, кампучиец, заднестроец, татарстанец, среднеевропеец, эсенговец*. В этой группе дериватов также функционирует явление синонимии, ср.: *ассириец – ассириянин*<sup>2</sup>. С помощью этого суффикса называются сторонники того, кто указан мотивирующим словом: *басаевец, путинец, евтушенковец, жириновец*. При этом следует отметить, что благодаря функциональному сходству формантов *-ец/-ист* пополняется количество синонимических рядов, типа: *брежневек – брежневист, лысенковец – лысенкоист, рейгановец – рейганист, сомосовец – сомосист*. Часть дериватов имеет разговорный характер (ок. 25%), напр.: *вооруженец, демфорумец, тациловец, демблоковец, МЖКовец, профкомовец*. Преобладают отыменные основы, главным образом субстантивные (глагольные – единичны: *подписанец, выходимец, запроданец*).

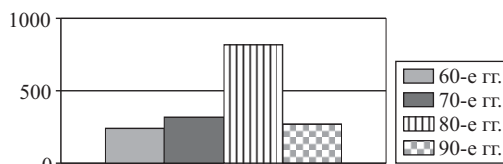


Рис. 8. Суффиксальные существительные со значением лица во II половине XX века в количественном отношении

Во II половине XX века суффиксальный способ словообразования служит важнейшим источником обогащения субстантивных наименований русского языка. Е.А. Земская подчеркивает, что „современное словообразование имеет ярко выраженный антропоцентрический характер: значительное место среди новообразований занимают имена лиц [...]” [Земская 1992: 138]. Именно они насчитывают около 40% всех суффиксальных дериватов. Кроме того в 80-е гг. наблюдается чрезвычайная активизация словообразовательных процессов, нацеленных на создание названий лиц путем суффиксации. Можно предположить, что процесс этот сохраняется также и в 90-гг., что подтверждают данные словарей за 1990 г. и 1992 г. Количество *nomina personae* в это время превышает количество дериватов, появившихся в 60-е гг., и достигает почти такого уровня, какой фиксируют словарные материалы за все 70-е гг.

<sup>2</sup> Аналогичные примеры приводит Е.А. Земская [Земская 1992: 121]: *ростовцы – ростовчане, тагильцы – тагильчане*.

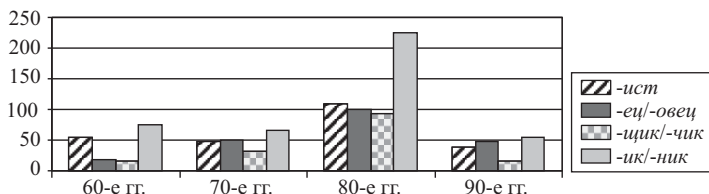


Рис. 9. Деривационная активность суффиксов *-ик/-ник*, *-ист*, *-щик/-чик*, *-ец/-овец* на протяжении II половины XX века

Репертуар суффиксов, принимающих участие в словообразовании названий лиц довольно богатый, однако в количественном отношении лидерами на протяжении II половины прошлого века, несомненно, являются форманты *-ик/-ник*, *-ист*, *-щик/-чик*, *-ец/-овец*. Активизация суффиксов сопровождается их специализацией (*-ик/-ник* и *-ист* ‘специалист’, *-ик/-ник*, *-ец/-овец* и *-ист* ‘член’, *-ец/-овец* и *-ист* ‘последователь, приверженец, сторонник’, *-ец* и *-анин* ‘житель’).

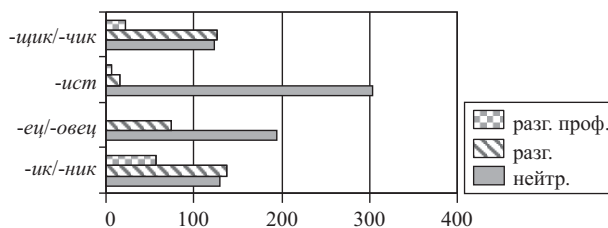


Рис. 10. Стилистическая характеристика дериватов

При этом суффиксы *-ик/-ник* и *-щик/-чик* порождают нейтральные и разговорные дериваты, *-ист* – нейтральные дериваты, *-ец/-овец* – главным образом нейтральные, в меньшей степени разговорные.

## Библиография

- Богородский В.А. Особенности словообразования существительных со значением лица в литературном языке XVIII века. URL: <<http://www.ksu.ru/fil/kn7/index.php?sod=8>>.
- Земская Е.А. (1992). *Словообразование как деятельность*. Москва.
- Котеловой Н.З. (ред.) (1989). *Новое в русской лексике. Словарные материалы-84*. Москва.
- Русский язык конца XX столетия (1985–1995)* (1996). Москва.

## Summary

### Mutating Personal Names in Modern Russian

A quite large group among suffixal nouns are personal names (*nomina personae*); they are most often derived using suffixes *-ик/-ник*, *-ист*, *-щик/-чик*, *-ец/-овец*. A lot of formants are polyfunctional. There is a phenomenon of word-formation synonymy and homonymy in the group of nominal formations we are interested in.

**Александр Антипов**

Кемеровский государственный университет  
Кемерово (Россия)

## МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НОМИНАТИВНОЙ ДЕРИВАЦИИ (К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИЙ ДЕРИВАЦИОННОЙ МОРФОНОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА)

**Key words:** derivative morphonology, semiotic functions, categorization, Russian dialects

Одним из важнейших направлений европейского языкознания всегда и традиционно был поиск системных уровней, раскрывающих единство отражательных и знаковых свойств языка.

В лингвистике новейшего периода, однако, под влиянием иных научных традиций особое отношение к когнитивной функции языка оказалось связано с попытками своеобразного преодоления языковой структуры и языковой формы. Своим стремлением «упереться» в некоторые когнитивные функции современная когнитивная лингвистика странным образом вульгаризирует, на наш взгляд, проблему системности структур порождения и функционирования языка, обеспечивающих механизмы языковой категоризации. В итоге, структуры языка вытесняются структурами так называемой «естественной категоризации», воссоздаваемыми в лучшем случае изоморфно структурам памяти, а нередко и вообще – в отсутствии самих языковых структур, низводимых в ранг «фиктивных» и даже «вредных» для языка. И хотя от принципов иерархии, парадигматики и синтактики языковых структур, несомненно, невозможно отстраниться, увлечённость «новыми» надсистемами приводит иногда к удивительным результатам.

Так, по мнению В.Г. Руделева, «искусственная», «схоластическая» теория лингвистических уровней Э. Бенвениста представляет собой «чисто умственное, в некоторой степени игровое построение», поэтому, в частности, как убеждён критик системной мотивированности языка, «морфемное представление языковых единиц (словари морфем, морфемный анализ и т.п.) бессмысленно, непродуктивно, вредно, тупиково» [Руделев 2006: 14].

На фоне подобных рассуждений не менее удивительными выглядят не только данные типологических описаний морфологической структуры языков, использующих «конфликт» грамматической и лексической категоризации, не только вся когнитивная традиция европейского языкознания, модель которой в XX в. во многом связана с именем Э. Бенвениста, но и важнейшие для просвещённой Европы семиотические воззрения В. фон Гумбольдта и И.А. Бодуэна де Куртенэ, обретающие сегодня, как оказалось, особую актуальность.

Не углубляясь в изложение общих вопросов теории структуры слова (динамический статус этой модели языкового знака, отражающей процессы его функционирования, включая порождение и дискурсивное использование, вполне доказан), отметим лишь, что одно из направлений исследования языковых уровней, настроенных на акты семиозиса, поразительным образом связано с именем учёного, продвигающего в русской науке идеи когнитивизма.

Начиная с 60-х гг. XX в. в известных работах Е.С. Кубряковой, её единомышленников, учеников и последователей, посвящённых проблемам структуры слова в языках различных типов, в качестве одной из первоочередных задач была поставлена проблема функционального изучения морфологической структуры слова. Своё всестороннее обоснование получили основные уровни динамического функционирования этой структуры знака в традиционных для европейской лингвистики аспектах языкового сознания и речевого мышления. Неслучайно поэтому именно работы Е.С. Кубряковой по морфологической структуре языка, в которых были намечены пути преодоления нефункциональных процедур дистрибутивного анализа, воспринимаются сегодня как пионерские и с актуальных позиций когнитивной лингвистики.

Тот вклад, который сделан Е.С. Кубряковой в проповедование основ функционального освещения структуры слова, соотнесён, прежде всего, с объяснением «психической реальности» основных системных уровней её порождения – морфонологического, морфемного и словообразовательного – в пространстве речевой деятельности человека. В 70-80-е гг. благодаря разработке принципов семантического анализа морфологической структуры слова получил обоснование и ономазиологический аспект, позволивший охарактеризовать поверхностные «слои» языкового знака в аспекте глубинных, изоморфных структур номинативной деятельности. Через описание ономазиологических структур, ведущих типов языковых значений в их межуровневом взаимодействии были обозначены и перспективы морфологического анализа, ставшие с конца 80-х гг. одним из моментов обосновываемой Е.С. Кубряковой когнитивной парадигмы грамматики и семантики.

В иерархии языковых моделей особую роль, по мнению Е.С. Кубряковой, играют и интересующие нас явления морфонологии, этой исключительно «тупиковой», на первый взгляд, подсистемы семиозиса, ведь именно «здесь начинается осуществляться переход от незнаковых сущностей к знаковым» [Макаев, Кубрякова 1969: 115].

Развиваемое Е.С. Кубряковой понимание морфонологии как «области существования явлений знакового, двустороннего характера» [Кубрякова, Панкрац 1983: 17] оказывается особенно востребованным сегодня не только в связи с удивительными тезисами некоторых когнитологов, но и в высоком смысле – в плане изучения, как сказал бы Э. Бенвенист, «совмещённой субстанциональности» языкового знака, обладающего наряду с символическими отражательными свойствами – иконическими и индексальными.

В пространстве языкового знака такой статус морфонологии был в полной мере осознан уже в трудах И.А. Бодуэна де Куртенэ и его учеников.

Вопрос о функциях морфонологической структуры слова был поставлен школой И.А. Бодуэна де Куртенэ в широкий контекст изучения ассоциативных феноменов языка, связанных с «психическими различиями», с «представлениями определённых психических нюансов (оттенков)», с «психическим влиянием», «при котором с фонетическим различием бывает связано (ассоциируется) какое-нибудь психическое различие форм и слов, т.е. какое-нибудь морфологическое и семасиологическое различие» [Бодуэн 1963: 281, 301].

«Психические ассоциации, – писал И.А. Бодуэн де Куртенэ, – на которые опирается сохранение традиционных альтернатив, находятся в непрерывной коллизии со стремлением к устранению фонетических различий, не оправданных ни индивидуальными антропофонетическими тенденциями, ни индивидуальными психическими потребностями» [Бодуэн 1963: 313]. Поэтому, как отмечал Н.В. Крушевский, «фонетические изменения дают толчок новому распределению звуков между морфологическими единицами слова», «вызывают морфологический процесс» или свидетельствуют о том, что «каждое понятие и каждый оттенок понятия имеют своё внешнее выражение» [Крушевский 1998: 166]. Отсюда и тезис о языковой симметрии, отмечаемой в случае семантической дифференциации вариантных единиц структуры слова, при которой, согласно В.А. Богородицкому, фонетически противопоставленные варианты морфемы не только «разветвляются на две и более при одном и том же значении», но и «закрепляются» за тем или иным «особым оттенком значения» [Богородицкий 1939: 182, 191], «когда фонетическое расщепление ассоциируется с психическим расщеплением» [Бодуэн 1963: 325].

В этом теоретическом смысле функционирование морфонологических моделей языка не «бессмысленно», но отражает, как и другие уровни морфологической структуры, «системную мотивированность» языкового знака, если вспомнить ещё раз о концепции лингвистических уровней Э. Бенвениста.

В современной славянской морфонологии учение И.А. Бодуэна де Куртенэ о морфологизации и семасиологизации звуковых представлений получило своё развитие в плане обоснования принципов «двусторонней» морфонологии [Толстая 1998: 36–37], основу которой составляет положение, очень точно сформулированное М.В. Пановым: «Функциональные отношения, а не внешнее сходство – вот на каком основании строится в языке целостность единиц» [Панов 1999: 36]. Именно с функциональным освещением морфонологических

процессов связана традиция их анализа в качестве индексальных феноменов языкового знака [Якобсон 1983; Мигачев, Панкрац 1992], «внутренний смысл» которых заключается в возможности «сигнализировать о некотором тонком, иногда трудно уловимом, но от этого не менее реальном сдвиге в значении у одной формы сравнительно с другой» [Кубрякова, Панкрац 1983: 21]. Признание связей морфонологии и семантики в структуре языкового знака позволяет доказывать существование семиотической детерминанты функционирования морфонологических явлений через противоположение функций структурной и категориальной индексации [Laskowski 1980] и выделение плана означаемого у морфонологических альтернатив [Панов 1999: 39].

Действительно, в свете функционально обусловленного единства внешней формы языкового знака с внутренней, с которой план выражения в целом, включая морфонологический его уровень, находится в отношениях симметризации и компенсаторной взаимозависимости [Зубкова 1993], морфонологическая структура слова не является некоей «отсутствующей структурой», нейтральной к ассоциативным феноменам категоризации. Напротив, в языках с развитым грамматическим строем морфонологические структуры вычлняются вполне автономно, проявляя своё динамическое функционирование во взаимодействии не только с основными уровнями синкретичной морфологической структуры слова, но и с семантической. В деривационной морфонологии, в частности, особый характер взаимодействия морфонологической структуры производного слова с морфемной и деривационной определяет своеобразную биполярность морфонологии как относительно независимого от семантики уровня отождествления структуры слова и в то же время одного из уровней моделирования его внутренней формы в семиотических актах номинативной деривации [Кубрякова 2000].

С одной стороны, формируя структуру морфемных последовательностей, морфонология влияет на формальную организацию морфемы и слова. В этом случае последствия «волнового синтеза» выступают в качестве динамического фактора отождествления морфемных и деривационных структур языка.

С другой стороны, морфонологическая вариативность внутренних компонентов слова нередко сигнализирует о семантической дифференциации его формальных структур, что обосновывает функции морфонологии как парадигматического фактора членимости / мотивированности дериватов.

За счёт соотношения формальной структуры слова с семантической морфонологическая вариативность предстает в качестве явления особого уровня мотивированности, при поддержке которого реализуются функции внутренней формы производного слова, определяемой в этом случае в аспекте функционирования значимых сегментов морфонологической формы производного слова, обусловленных его мотивированностью, т.е. «тех его морфонологических свойств, которые символизируют связь данного звучания с данным значением или с данными стилистическими коннотациями» [Ахманова 1966: 81]. При этом основной способ морфо-семантической организации



лексического значения производного слова – его вариантная внутренняя форма [Блинова 2000: 16], отражающая видоизменения компонентов мотивационной формы (холщ/óв/ин(а) – ‘ткань из холста’ / ‘холщовая ткань’) либо мотивационной формы и мотивационного значения (холщ/и́н(а) – ‘ткань из олста’ > холщ/ин/и́(а) – 1) ‘ткань из холста’ / 2) ‘одежда, сшитая из холста / холщины’ – здесь и далее используются авторские материалы диалектологических экспедиций 1988–2001 гг. по изучению русских диалектов Кузбасса, составившие основу моделирования морфонологической системы кемеровского говора).

В ходе описания этой биполярности на материале диалектной словообразовательной морфонологии [Антипов 2001] мы пришли к выводу о том, что связи морфонологии и семантики в структуре производных знаков во многом обусловлены морфонологической спецификой их деривационных структур. Об этом свидетельствуют факты системы и нормы, а также феномены языковой памяти, раскрываемые не только в пространстве метаязыковой фантазии коммуникантов, но и в условиях естественных речевых актов.

Как это следует из основных результатов полученного нами типологического описания русских диалектов [Антипов 1997], морфонологическая мотивированность производного слова обнаруживается в самом характере распределения в диалектном пространстве морфонологических альтернатив в составе производящей базы (основы) и словообразовательного форманта, что свидетельствует о значимости деривационной морфонологии для (1) организации словообразовательных типов, а также диалектного членения (прежде всего – в аспекте противопоставления материнских и дочерних диалектов); (2) разграничения ядра и периферии морфонологических чередований (при этом отмечается сохраняющееся влияние фонологических закономерностей, вследствие чего системной и эмпирической продуктивностью среди ядерных чередований обладают альтернативные ряды, возглавляемые немаркированными альтернантами), (3) классификации позиционно детерминированных и свободно распределяемых формантных вариантов; (4) выявления морфонологически релевантных позиций, за которыми закреплены те или иные алломорфные реализации словообразовательного форманта.

«Контактная зона» деривационной структуры слова [Нещименко 2002] оказывается областью сосуществования тенденций воспроизводимости и производимости: в процессах системного функционирования дериватов действие фузии, обуславливающей морфонологическую вариативность производящей базы и форманта, взаимодействует с агглютинативной тенденцией, снижающей регулярность фузии как в области реализации морфонологических позиций, так и в сфере лексико-грамматической и лексико-семантической дистрибуции.

Активность синтетических и аналитических процессов поддерживается полимотивационной тенденцией, обуславливающей взаимодействие и интерференцию словообразовательной структуры слова с морфемной. По причине

актуализации наряду с непосредственными опосредствованных мотивационных связей дериватов «как единый словообразовательный формант начинает восприниматься вся часть основы мотивированного слова, отличная от корня, а мотивирующая основа слова становится равной корню (мод-ничать, упрямествовать)» [Улуханов 1977: 43]. Ср. диалект.: кон-э́вник, кон-ова́льник; куст-áрник, куст-ара́жник; мед-óвник, мед-ови́чник, мед-ову́льник, мед-они́шник, мед-у́ночник, мед-уни́чник и др. С этой бинарной мотивационной структурой нередко связана дифференциация семантики производных лексем через единицы их морфонологической структуры (ср.: горшэ́ч-(н)ик – ‘тот, кто изготавливает горшки / горшечных дел мастер’, горшк-óв/ник, горш-óв/ник – ‘тряпка, которой подхватывают горшки’). В подобных случаях на выражение мотивационных отношений направлено функционирование морфемных блоков отсылочной и формирующей частей дериватов, наиболее близких к компонентам внутренней формы слова, благодаря чему морфонологические трансформации сигнализируют о сдвигах в значении слова, а сами трансформы способны изменять функциональный статус вплоть до обретения ими плана означаемого.

В тенденции – если основная алломорфия отвечает за тождество категоризируемых мотивационно связанными лексемами признаков (функции структурной индексации, предсказывающей направление производности), вариативность форманта, конкретизируя мотивирующую семантику, приводит к перекатегоризации (функции семантической индексации, дифференцирующей семантические сдвиги по моделям деривационной полисемии и синонимии, – ср.: корóв-ник – 1) ‘тот, кто скупает и продаёт коров’, 2) ‘подосиновик’, коров-я́т/ник – 1) ‘тот, кто продаёт коров’, 2) ‘шкура коровы’). Отсюда компенсаторная взаимозависимость морфонологической асимметрии производного слова, заключающаяся во взаимодействии фузионных закономерностей в строении отсылочной части дериватов и агглютинативных – в функционировании словообразовательных формантов.

При продуктивности процессов формального варьирования, сопровождающих семантические сдвиги, стремление морфонологической формы к категоризации проявляется во всех случаях усложнения структуры суффиксального форманта по образцу редупликационных моделей, но прежде всего – в случае алломорфной реализации форманта.

В диахронии к новым аффиксам с более экспрессивным означаемым приводит, как известно, переразложение морфемной структуры слова, а сами «производные аффиксы», претерпевая опрощение своей структуры, получают в языке переходный статус позиционно или непозиционно противопоставленных вариантов (алломорфов или фонорморфов). В процессе функционирования данные единицы могут использоваться в качестве грамматических средств оформления результатов семантической деривации и в итоге приобретать новое «качество» – функцию и значение. Этот процесс «обрастания» фонетически противопоставленных вариантов морфем языковыми значениями – один из ведущих процессов динамики структуры слова в русском языке [Марков 1970].

В качестве синхронной закономерности регулярная тенденция формальной вариативности аффиксальных морфов нередко отражает сохранение условий переразложения, провоцируя расширение системы средств морфонологической деривации через формирование морфонологических моделей внутри того или иного словообразовательного типа.

Образуя в синхронии, по разным оценкам, сочетания интерфиксов и / или субморфов и аффиксов [Красильникова 1981], «производные аффиксы» составляют единство, влияющее на функционирование слова, т.е. формант, участвующий в функциональной дифференциации значений дериватов, при которой производная по происхождению морфема может получить статус самостоятельной, имеющей «свое специфическое значение, отличное от значения составляющих ее частей» [Земская 1973: 136]. В условиях усиления или нейтрализации значения предыдущего аффикса последующим [Милославский 1980: 26–29; Литневская 1991: 72] эти так называемые «морфемные блоки», часто сохраняющие членимость не только на морфонологическом уровне, выражают, тем не менее, единое словообразовательное значение, по которому в системе отождествляются новые модели деривации [Кузнецова 1987]. Их формирование в русском языке определяется регулярными морфонологическими особенностями деривационного акта: большей формальной выразительностью длинного морфа в сравнении с более коротким; фузионными процессами на морфемных швах; продуктивностью «вторичных» аффиксальных морфов, связанных с тенденцией к агглютинативности, с уменьшением роли нелинейных средств сцепления морфем по сравнению с линейными; большей наглядностью словообразовательных отношений у слов, формальная структура которых содержит субморфное наращение аффикса, т.е. «прозрачностью» словообразовательной структуры производного [Земская 1973: 119; Лопатин 1977: 51–52]. Всё это приводит к нестройной дифференциации морфонологических позиций алломорфов в структуре русского производного слова, восполняемой развитием у них качества семантической регулярности – роли в стратификации определённых типов языковых значений, по которой многие алломорфы противопоставлены в области частных словообразовательных значений одного словообразовательного типа. Именно характер функциональной дистрибуции позволяет обсуждать проблему семантических позиций алломорфов [Лопатин 1977: 279–283], обусловленных категориально в границах словообразовательного типа грамматическими и лексическими причинами синхронной динамики (особой значимостью полимотивационных факторов, критериев мотивационной типологии и межуровневой абстракции формантной семантики [Антипов 2002]).

В границах словообразовательных типов русского языка функционирует, как правило, некоторая система аффиксальных единиц, находящихся в отношениях морфонологической вариантности. Их функции отнюдь не сводятся к устранению сочетаний морфем, не характерных для структуры языка, тем более что в результате морфонологического процесса возможно усложнение фонемной

структуры слова, приводящее, в частности, к появлению нетипичных консонантных сочетаний (ср.: вечер/ник, вечер/оч/ник, вечер/ош/ник, вечер/ш/ник). Поэтому при поддержке бинарной структуры опосредствованных мотиваций в словообразовательной форме вычлняются так называемые «формантные варианты», которые в условиях свободного распределения нередко продолжают функционировать в качестве морфемных блоков. Не случайно, в экспериментах при восприятии лексем с вариантной внутренней формой параллельно с осознанием мотивирующей семантики отмечаются ассоциации с опорой на формантный компонент, идентифицируемый даже в случае алломорфной модели либо как целостный формант, либо как некоторый морфемный комплекс. Ср.: свин/ятник – ‘помещение для свиней, по аналогии с «курятник»’, ‘соотносится со словом «свинарник»»; слон/ят/ник – ‘помещение для слонов’, ‘человек с большим носом, как у слона’, ‘человек, который ухаживает в зоопарке за слонятами’, ‘слоняется, как слон’ [Антипов 2001: 101–110].

Через функционирование алломорфных реализаций форманта раскрывается и механизм морфонологической категоризации в его обусловленности процессом формирования семантических оппозиций у формальных вариантов слова. В зависимости от величины и глубины семантических расстояний, возникающих между морфонологическими вариантами, моделируются не только способы формальной организации межуровневых значений, но и сами единицы семантической стратификации, имеющие своё направление функционирования в актах номинативной деривации, а значит, и в языковых процессах лексической категоризации и когнитивной репрезентации знаний о мире.

Предпочтительное закрепление одних формантных вариантов за функциональными номинациями лиц, других – за функциональными номинациями артефактов, третьих – за характеризующими номинациями биофактов [Антипов 2001: 116–141] показывает, что парадигматически морфонологические изменения аффиксальных морфов организованы в границах семантических микросистем (таксономий) словообразовательных типов.

В аспекте морфонологической формы структура суффиксальных дериватов, например, предстает как последовательное повышение ранга семантической абстракции единиц стратификации словообразовательного значения: субморфная, варьирующаяся часть форманта является маркёром внутритиповой таксономии, а его основной вариант (постоянный компонент морфонологической формы) – показателем словообразовательного типа, его общего деривационного значения. Такая стратификация значений приводит к достаточно глубоким семантическим расстояниям между формальными структурами производных слов, что объясняется необходимостью дифференциации дублетов, формальная вариантность которых используется уже не в экспрессивной, а в номинативной функции. В результате варианты форманта эксплицируют через субморфные наращения идиосемы семантической структуры дериватов, выступая в качестве средств категоризации – отождествления классов референтов в границах (1) одной ономаσιологической категории (или субкатегории): налив-ник – ‘блин или

оладья, намазанные сверху сметаной’, налив-áй/ник – ‘пирог из чёрной муки, политый сверху жидкой начинкой (наливкой)’, налив-áш/ник – ‘ватрушка из пресного или кислого теста с жидкой начинкой’; (2) частично противопоставленных ономаσιологических категорий: мош-н<sup>ик</sup> – 1) ‘тот, кто добывает и продаёт мох’, 2) ‘тетерев’, мш-áр/ник – 1) ‘утеплённый мхом хлев’, 2) ‘болото’; (3) полностью противопоставленных ономаσιологических категорий: мош-н<sup>ик</sup> в указанных значениях имен лиц и биофактов, мш-áн/ник – 1) ‘тёплый хлев для скота’, 2) ‘кладовая для хранения овощей, зимовки пчёл’.

Функционирование морфонологической структуры дериватов сводится в подобных случаях к преодолению формальной и семантической идиоматичности производного слова, ведь именно благодаря алломорфии в границах словообразовательного типа противопоставляются ономаσιологические сферы, имеющие свои специализированные морфонологические модели, потенциально «готовые» к системной поляризации в качестве самостоятельных деривационных структур. Поэтому, если морфонологическая структура форманта оказывается семантически релевантной, соответствующие формантные варианты либо уже функционируют в качестве самостоятельных средств номинативной деривации, либо ещё представляют собой переходные единицы, стоящие на грани формирования самостоятельных аффиксов.

Если же вспомнить известную метафору Умберто Эко, то на материале таких динамических уровней языковой системы, как морфонология, приходится удивляться уже тому, что в моделирующем, когнитивно-категориальном характере языка не заложены «отсутствующие структуры».

## Библиография

- Антипов А.Г. (1997). *Русская диалектная морфонология: Проблемы описания*. Кемерово.
- Антипов А.Г. (2001). *Алломорфное варьирование суффикса в словообразовательном типе (на материале русских говоров)*. Томск.
- Антипов А.Г. (2002). *Мотивационные функции морфонологии (на материале диалектного словообразования)*. В: *С любовью к языку: Сборник научных трудов. Посвящается Е.С. Кубряковой*. Москва–Воронеж.
- Блинова О.И. (2000). *Русская мотивология*. Томск.
- Богородицкий В.А. (1939). *Очерки по языковедению и русскому языку*. Москва.
- Бодуэн де Куртенэ И.А. (1963). *Избранные труды по общему языкознанию*, т.1. Москва.
- Земская Е.А. (1973). *Современный русский язык. Словообразование*. Москва.
- Зубкова Л.Г. (1993). *Симметрия и асимметрия языковых знаков*. В: *Проблемы фонетики I*. Москва.
- Красильникова Е.В. (1981). *О формальной структуре слова*. В: *Проблемы структурной лингвистики 1978*. Москва.
- Крушевский Н.В. (1998). *Избранные работы по языкознанию*. Москва.

- Кубрякова Е.С. (2000). *Словообразование и другие сферы языковой системы в структуре номинативного акта*. В: *Словообразование в его отношении к другим сферам языка. Игорю Степановичу Улуханову к 65-летию со дня рождения*. Инсбрук.
- Кубрякова Е.С., Панкрац Ю.Г. (1983). *Морфонология в описании языков*. Москва.
- Кузнецова А.И. (1987). *Морфемные блоки и их роль в морфемной и словообразовательной структуре слова*. В: *Морфемика. Принципы и методы системного описания: Межвузовский сборник*. Ленинград.
- Литневская Е.И. (1991). *Агглютинация и фузия на морфемном шве в современном русском языке*. В: *Вестник Московского университета*. Сер. 9, № 1.
- Лопатин В.В. (1977). *Русская словообразовательная морфемика*. Москва.
- Макаев Э.А., Кубрякова Е.С. (1969). *О статусе морфонологии и единицах её описания*. В.: *Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие*. Москва.
- Марков В.М. (1970). *Проблема формирования самостоятельных морфем на основе противопоставления фонетических вариантов*. В: *Вопросы грамматического строя русского языка*. Казань.
- Мигачев В.А., Панкрац Ю.Г. (1992). *Об одной морфонологической концепции («естественная фонология»)*. В: *Теория грамматики. Морфология и словообразование: Сборник научно-аналитических обзоров*. Москва.
- Милославский И.Г. (1980). *Вопросы словообразовательного синтеза*. Москва.
- Нещипенко Г.П. (2002). *О некоторых закономерностях деривационной морфонологии (на материале славянских языков)*. В: S. Mengel (Hrsg.) *Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik*. Münster–London–Hamburg.
- Панов М.В. (1999). *Позиционная морфология русского языка*. Москва.
- Руделев В.Г. (2006). *Текст – предложение – слово (к реализации идеи космического синтаксиса)*. В: *Предложение и слово: Межвузовский сборник*. Саратов.
- Толстая С.М. (1998). *Морфонология в структуре славянских языков*. Москва.
- Улуханов И.С. (1977). *Словообразовательная семантика в русском языке и принципы её описания*. Москва.
- Якобсон Р. (1983). *В поисках сущности языка*. В: Ю.С. Степанов (ред.). *Семиотика*. Москва.
- Laskowski R. (1980). *Semiotyczne funkcje alternacji morfonologicznych*. Polonica, V.

## Summary

### Morphological Models of the Nominative Derivation (the Functional Aspect of Derivative Morphology of the Russian Language)

The article is devoted to study the semiotic aspect of the Russian derivative morphology. The dynamics and perspectives of this functional aspect are shown in connection with the nominative categorization on the example of the Russian dialectal morphology.

**Алла Камалова**

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie

## ПОГОДА И ЕЕ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

**Key words:** Russian language, word, semantics, diachrony, synchronism, categorization, conceptualization, weather

Проекция физического состояния на универсум – носителей состояния – выявляет в составе лексико-семантического микрополя со значением ‘физическое состояние’ лексико-семантические группы ‘состояние природы’ и ‘состояние вещей’. Состояния природы – это бессубъектные, AMBIENTНЫЕ состояния, особые, всеобъемлющие, охватывающие окружение, а не какой-нибудь определенный объект в нем [Чейф 1975: 120], например: *Морозно / Дождь / На улице шумно*.

При описании лексики со значением ‘физическое состояние’ возможен двоякий подход. При подходе «от темы» материалом исследования будут слова, называющие природные явления (*гроза, метель, ветер*), специфические природные действия (*дует, метет, развеивает, завевает, наносит* и т.п. – о ветре, снеге), результат этих действий и явлений (*сугроб, слякоть, гололедица, грязь*); тема объединяет лексические единицы, относящиеся к разным лексико-семантическим группам и полям, на основе ассоциативных связей типа *дождь – урожай, снег – ручьи* и под. При лексико-семантическом подходе предикаты объединяются на основании конкретных сем – ‘состояние’, ‘погода’, ‘осадки’ / ‘движение воздушных масс’ и подобное. В нашем исследовании избран второй, лексико-семантический подход.

Говоря о состоянии природы, термин «физическое» (о состоянии) можно опустить, так как человек воспринимает ее только в этом статусе существования. Природа может пониматься в широком смысле – как «окружающий нас материальный мир, все существующее, не созданное деятельностью человека» и в более узком смысле – как «совокупность естественных условий или какая-либо часть их на Земле (рельеф, растительный и животный мир, климатические условия и т.п.)» [Словарь русского языка III: 437]. Обратимся к семантике предикатов состояния природы, понимаемой в узком смысле.

Познавая природу, человек пытается осознать как ее единство, так и ее многообразие. Абстрагирующая и обобщающая мыслительная деятельность подтверждается наличием соответствующего понятия, соотносимого со словом *погода*; конкретизирующая – в выявлении ее разнообразных проявлений. При этом наблюдается многомерная концептуализация, что проявляется в наличии значений, условно соотносимых с действительностью ('осадки', 'движения воздушных масс', 'температура', 'световое состояние'), и в наличии денотативных противопоставленных значений, соотносимых с прототипическими ситуациями и детерминированных действительностью природных сил (*ветер / безветрие, влажно / сухо, тепло / холодно, ясно / пасмурно*). Языковые структуры знаний в данном случае соотносятся с научными знаниями, что отражается в общей терминологии (погода, осадки, температура). Дальнейшая концептуализация принадлежит собственно языковой деятельности: денотативная база данного лексико-семантического объединения отражает природные явления, получившие закрепление в знаках данного языка, она представляет систему природы в языковой картине мира.

Особенность русского языка заключается в грамматическом, лексическом и номинативном разнообразии при описании погоды. Л.В. Щерба считал, что «достоинство отдельных литературных языков определяется прежде всего наличием средств выражения» [Щерба 1959: 70]; В.Г. Белинский же отмечает, что «русский язык необыкновенно богат для выражения явлений природы» [Белинский 1956: 224].

Состояние природы выражается в русском литературном языке грамматической категорией состояния (*Холодно / Дождливо / Жарко*), безличными глаголами (*Метет / Дождит / Холодает*), прилагательными (*холодный, дождливый, морозный*), а также именами существительными с общим значением 'явления природы' (*мороз, дождь, снег, метель, ветер*), однако последние могут обозначать также состояние атмосферы – погоду. Многозначность типа 'явления природы – погода' для названных существительных отмечается как регулярная [Апресян 1974: 203]. Поскольку предикаты со значением 'погода' выполняют не единственную функцию, необходимо указать способ распознавания этих семантических различий.

В географической энциклопедии находим следующее определение погоды: «физическое состояние атмосферы и деятельного слоя в данной местности в конкретный момент времени [...]. Иногда понятие погода употребляется для значения обобщенной характеристики состояния атмосферы в течение некоторого промежутка времени над некоторой территорией» [Краткая географическая энциклопедия 1962: 254]. Лексикографическое толкование слова *погода* соотносится с первым значением научного термина: *погода* – это «состояние атмосферы (ясность, облачность, осадки, температура воздуха, влажность и т.п.) в данном месте, в данное время. *Погода была чудесная. Все кругом цвело, жужжало и пело* (Тургенев, *Накануне*)» [Словарь русского языка III: 167]. Географическая энциклопедия позволяет выявить семантически



релевантные компоненты для противопоставленных признаков ‘явления природы’/ ‘погода’, это локальность и темпоральность: – *Какая сегодня в Москве погода? – Весь день идет дождь; Погода у нас, знаете, на Криворожье какая в эту пору бывает? Все туман, туман, потом как сразу морозец ударит, и такая гололедь начнется – беда* (Полевой). «Такие предложения содержат сообщения, субъектом которых является определенный (конкретный, данный) или регулярно повторяющийся отрезок времени, сезон, время дня и т.п. Для русского языка, однако, очень естественно в сообщениях о временах года прибегать к чисто условному пространственному локализатору (ср.: *На дворе февраль; На улице уже лето*)» [Арутюнова 1976: 261]. О локативных формах, с помощью которых высказывания, описывающие состояние природы, соотносятся с действительностью (*На дворе / за окном / на улице / у нас мороз*) подробнее смотри в [Золотова 1982: 112].

Итак, именем данной лексико-семантической группы является существительное *погода* – ‘состояние атмосферы в данном месте в данное время’. Однако значение данного слова нельзя соотнести с каким-либо референтом, так как погода всегда конкретно проявлена для наблюдателя. *Погода* как слово и понятие – результат логического осмысления и категоризации событий, происходящих в природе. Состояние атмосферы жизненно важно для человека, его хозяйственной и социальной деятельности, а потому он не только стремится познать и именовать разнообразные ее проявления, но и, как правило, оценивает: *Погодка стояла самый раз, безветренная, морозец покалывал, прочищал ноздри, глотку, легкие, душу и голову* (Астафьев); *Погода вначале была хорошая, тихая...* (Чехов); *Погода несносная...* (Пушкин).

Значение слова *погода*, фиксируемое современными толковыми словарями, появляется достаточно поздно в русском литературном языке в результате семантического преобразования более старого ‘благоприятное время года’ (ср. *погожий день* — ‘хороший, благоприятный в отношении погоды’) [Цыганенко 1989: 309]. Утрата мотивации разрушает старое антонимическое противопоставление *погода – непогода*, в результате становится возможной катахреза – *плохая погода*, а сочетание *хорошая погода* является своеобразной семантической накладкой.

Старшее употребление слова *погода*, а также путь утраты мотивации прослеживаются в северных говорах, где на разной территории *погода* употребляется как в значении ‘хорошая’, так и в значении ‘плохая’. В говорах *погода* может обозначать общее состояние атмосферы (как и в литературном языке), а также функционировать в значениях ‘хорошая погода’ (*ведро*): *Погода на улице сёдни, солнце, тепло* – Новосибир.; ‘плохая погода’ (*ненастье*): *Я ехал в погоду, весь промок до костей* – Ржев., Твер.; ‘дождливая, сырая погода’ (*дождь*): *Дай-ка, девушка, платочка поддержать. От погодушки гармошку завязать, От погоды, от великого дождя, Чтобы не было гармошке вреда* – Арх., Липец.; ‘метель, вьюга’: *Снег несет, ветер со снегом, такая севодня погода* – Арх., Волог.; ‘снегопад’ (*снег*): *Погода повалила* – КАССР; ‘ветреная погода’

(ветер): *Погода подула, хлеб веять* – Кемер., Том.; ‘буря’: *На морехватила нас сильная погода* – Арх.; ‘гроза’: *Никак погодушка соберется* – Волог.; ‘туча с громом’: *Погода уж близко видно* – Волог. [Попов 1980: 16–17]. Денотативное значение, закрепленное за сочетанием *плохая погода*, в русских говорах передается словами *погода, погодые, ведро, непогодые, непогодь, непогодица, мокропогодица, годица* [Даль II: 524]; *хорошая погода* – *ведрие, ведренье* (арх.), а в высказываниях, характеризующих время суток, говорящих об установлении хорошей погоды, могут использоваться слова *ведрий, ведренный, ведреть, ведреть* [Даль I: 174–175].

В словосочетаниях *хорошая / плохая погода* не только содержится оценка, но и указание на денотат, который восстанавливается путем соотнесения с определенным временем года; противопоставление осуществляется на базе признаков ‘сухо / влажно’, ‘ясно / пасмурно’, ‘тепло / холодно’. Указанная концептуализация получает наименование в словах *ведро* (устар. и прост.), *погожий день, запогодить* (о становлении погоды) – ‘ясная, солнечная, сухая погода’ и *ненастье, непогода, непогожий, ненастный* (день, утро и т.п.), *занепогодить* – ‘дождливая, пасмурная погода, непогода’ [Словарь русского языка II: 145, 625]. Непостоянство погоды передается глаголами *меняться, улучшаться, разгуляться, портиться* и, напротив, *устанавливаться, стоять*. В письменных источниках XVIII в. встречается слово *альтернаты* ‘перемены в погоде’ – латинское заимствование польского оформления, которое не прижилось в русском литературном языке.

В русских говорах подобные денотаты могут получать образное именование: *кваситься, кислиться* (смог.), *кисель* (арханг.) [Филин 13: 159, 230]. «Анализ семантики славянской метеорологической терминологии показывает, в частности, что сфера понятий, относящихся к пасмурной, дождливой погоде, облакам, тесно соприкасается со сферой понятий, связанных с процессами скисания молока, брожения пива, кваса, теста и т.д.» [Горячева 1986: 43]. Сказанному не противоречат диалектные *моложить* (псков., твер.), *моложная погода* [Даль II: 891], *замолодеть* (яросл.), *замолодить* (олон.), *замолаживать* (курск., костр.), *молодеть* (твер., сарат., новг.) [Филин 10: 252–253, 222]; приведенные примеры также демонстрируют соотношение значений ‘становиться пасмурным, портиться’ (о небе, погоде) и ‘бродить’ (о квасе, пиве). Подобная образная структура выявляется в рязанском *побресть* (о хмурой, ненастной погоде) [Деулинский словарь: 409], сравните: *дрогнуть, толкнуться, уходить* в значении ‘скиснуть’ (о молоке).

«Среди русских названий плохой погоды есть слово *тварь*, записанное во владимирских говорах русского языка в значениях ‘непогода, буря с громом и грозой; густой мокрый снег, метель, вьюга’... Возможно, что здесь подразумевалось ‘божье творение’, ср. новг. *воля божья* ‘ненастная погода’ (снег, дождь с сильным ветром)» [Горячева 1986: 45–46], а также *божья милость* (архан.) – ‘хорошая летняя погода’.

В русском литературном языке конкретизация погоды (референция) достигается за счет включения слова *погода* в словосочетания типа *ветренная /*

/ дождливая / ненастная / пасмурная / солнечная / безветренная / жаркая / / прохладная погода. В говорах для подобных референтов могут быть местные наименования (*исхолодь*, *салгун* – о прохладной погоде, *заветерье* – о ветреной погоде и т.п.). Денотативное значение некоторых диалектных слов представляют собой «составные ситуации», например: *засиверка* – ‘ненастная погода с северным ветром’, *обвесница* – ‘плохая погода весной’, *жмучь*, *подлип*, *талище* – ‘сырая пасмурная туманная погода зимой’ [Попов 1980: 18–19].

Семантический сдвиг ‘хорошая / плохая погода’ характерен для предикатов *погода*, *ведро* с древнейших времен, например: **высть ведро велие** (Никон. л., 6732 г.) – о сухой погоде, **стоя все лето ведромь, пригорѣ все жито** (Новг. 1 л., 6669 г.) – в значении ‘засуха, жар’, (ср. также: **ведрый** ‘светлый’), но ср.: **облаци дождовыи того дни не быша и за много дней велие ведро и громѣние. ведро высть страшно на небесѣхъ и на земли** (Новг. II л., 7016 г.) [Срезневский I: 232–233]. В древнерусском языке функционировали также **слота**, обозначавшее ненастье, непогоду, а также мокрый снег, или просто холодную погоду, **слотъныи** ‘ненастный’; однако **слотъ** имело значение ‘мокрый снег’: **аще боудет зимно или слотно** [Срезневский III: 423].

Из множества наименований плохой погоды в древнерусском языке наиболее частотными были **погода**, употребляемое также в значении ‘благоприятное время года, похода’: **а корабль стоитъ и погоды ждетъ** (Стеф. Новг., 1347 г.) и **непогодие** ‘непогода, неудобное время года’, что и отмечается письменными памятниками, смотрите, например, иллюстративный материал в [Срезневский II: 406; III: 1014–1015].

Таким образом, семантика слова *погода* есть результат переосмысления древнерусских соотносительных значений. Постепенно значение ‘состояние атмосферы в данном месте в данное время’ стало единственным для слова *погода* в современном русском литературном языке. Дальнейшая концептуализация состояния природы детерминирована частными, категориально-лексическими значениями ‘осадки’, ‘движение воздушных масс’, ‘температура воздуха’ и под.

## Библиография

- Апресян Ю.Д. (1974). *Лексическая семантика. Синонимические средства языка*. Москва.
- Арутюнова Н.Д. (1976). *Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы*. Москва.
- Белинский В.Г. (1956). *Грамматические разыскания В.А. Васильева (1845)*. В: *Полное собрание сочинений*. Т. IX. Москва.
- Горячева Т.В. (1986). *К изучению славянской метеорологической терминологии*. В: *Этимология*. Москва.
- Даль В. (1978–1980). *Толковый словарь живого великорусского языка*. В 4 т. Москва.
- Золотова Г.А. (1982). *Коммуникативные аспекты русского синтаксиса*. Москва.
- Краткая географическая энциклопедия*. В 4 т. Москва. 1962.
- Попов И.А. (1980). *Лексика природы как объект лингвогеографического изучения*. В: *Лексика и фразеология севернорусских говоров*. Вологда.

- Словарь русских народных говоров.* Под ред. Ф.П. Филина. Вып. 1 и след. Ленинград, 1965 и след. (Филин).
- Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области).* Под ред. И.А. Оссоветского. Москва, 1969. (Деулинский словарь).
- Срезневский И.И. (1958). *Материалы для словаря древнерусского языка.* В 3 т. Москва, 1958. (Срезневский).
- Цыганенко Г.П. (1970). *Этимологический словарь русского языка.* Киев.
- Чейф Уоллес Л. (1975). *Значение и структура языка.* Москва.
- Щерба Л.В. (1959). *Современный русский литературный язык.* В: *Избранные работы по русскому языку.* Москва.

## Summary

### Conceptualizing Weather in the Russian Language

The author describes ways of conceptualizing weather in the modern Russian language, Russian dialects and old Russian language, based on data of various dictionaries. The author reveals the basic lexical meaning and functions of the word *weather*, describes ways of differentiation of polysemy of the given word.

**Ewa Kujawska-Lis**

Instytut Neofilologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

## TRANSLATION OF BIBLICAL REFERENCES IN LITERARY AND NON-LITERARY TEXTS

**Key words:** intertextuality, translation, literary text, non-literary text, competence

Traditionally, and somewhat conveniently, texts to be translated have been divided into various categories: Biblical versus non-Biblical, literary versus utilitarian, etc., and immediately accompanied with modes of translation ‘proper’ for a given text type or category as well as an enumeration of those qualities the translator should be equipped with. While, undeniably, such divisions are helpful, since texts do differ and translators must possess various types of competence, categorisations seem to encourage a rather stereotypical vision of the interrelationship: text type – translation mode – translator’s competence. What all texts actually share is their hybrid nature: “texts are multifunctional, normally displaying features of more than one type, and constantly shifting from one type to another” [Hatim, Mason 1997: 129]. In other words, any text may possess elements neatly classified as typical of some other text type. Hatim and Mason refer to text hybridization as follows: “text types are rarely, if ever, pure. More than one text type focus is normally discernible. In such cases, one and only one focus will be predominant, the others being subsidiary or even marginal” [Hatim, Mason 1997: 224]. Hybridization greatly influences the notion of translator’s competence; nevertheless, it is not realistic to “completely ignore macro-structures such as text type or genre” [Hatim, Munday 2004: 67].

This paper analyses examples of Biblical references found in non-literary texts, more specifically, scientific texts. The book chosen for the discussion, *Systems of Psychotherapy. A Transtheoretical Analysis*, written by two eminent American psychologists<sup>1</sup>, exemplifies the introduction of such elements into psychological discourse<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> James O. Prochaska is a professor of psychology as well as Director of Cancer Prevention Research Consortium at University of Rhode Island; John C. Norcross is a professor of clinical psychology at University of Scranton. Both published numerous scholarly works on psychology and psychotherapy.

<sup>2</sup> Examples used here were also commented by me in the article *Mit akulturowości tekstów nieliterackich na przykładzie literatury z dziedziny psychologii* (to be published in: *Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu*, 3, Toruń 2007).

As for the examination of literary texts, this shall concern detective stories by G.K. Chesterton in which the main protagonist, a Catholic priest, on numerous occasions naturally relates to his Christian creed. It seems interesting to look at this type of intertextuality from the translator's point of view so as to determine to what extent the ability/inability to decipher the hidden reference, which shall be termed here 'the intertextual competence', may influence the target text (TT)<sup>3</sup>, as well as to consider possible translation procedures.

As modern theoreticians of translation studies emphasize, one of the translator's basic tasks at the stage of analysis is to define the type and category of a given text in order to identify its characteristic features and then to choose an appropriate translation method [Newmark 1988: 21]. Before the linguistic turn in translation theory of the early 50s of the 20<sup>th</sup> century, neither theoreticians nor practitioners were deeply concerned about text typologies. Translation had previously involved mostly literary and Biblical texts because, so-called, pragmatic texts were scarce; thus, the latter were not treated as a serious translation objective [Newmark 1988: 5–6]. The division into text types from the point of view of translation may be attributed to Jose Ortega y Gasset who claimed that the translation of literature is basically a utopian task, amongst others, because of the creative way in which authors use language: "An author's personal style [...] is produced by slight deviation from the habitual meaning of the word. The author forces it to an extraordinary usage so that the circle of objects it designates will not coincide exactly with the circle of objects that the same word customarily means in its habitual use" [Ortega y Gasset 1937/2003: 51]. On the other hand, the difficulty in translating "books on exact and natural sciences" is less due to their specific language understood only by professionals [Ortega y Gasset 1937/2003: 50–51]. Since the profound deliberations of the Spanish philosopher, there have emerged numerous typologies based on various criteria: formal, semantic, functional and pragmatic [Kozłowska 2003: 163]<sup>4</sup>. Because of the number of categories and quite often the overlapping criteria of subscribing a text to a given type, it has been suggested that a simplified division be used: literary and non-literary texts [Pisarska, Tomaszewicz 1998: 196].

In Poland, the forerunner of defining text types for the purpose of translation is Roman Ingarden, according to whom, every written work is characterized by its multi-

<sup>3</sup> For the sake of clarity, 'target text' means the translated text and shall be abbreviated as TT, whereas 'target structure' shall refer to the text in which borrowed (intertextual) elements appear.

<sup>4</sup> One of the first divisions was that devised by Katharina Reiss which was based on language functions distinguished first by K. Bühler and further developed by R. Jakobson. Reiss divides texts into informative, expressive and operative, emphasizing that they never exist in a 'pure form', that each language function is present in any text, thus the translator is to consider the dominant function when classifying a given text [Reiss 1971/2003: 164–165]. This idea is, of course, further developed in the notion of text hybridization as defined by Hatim and Mason. Reiss also adds an additional hyper-text type, where various semiotic systems are interlinked. Other scholars created their own typologies: B. Hatim and J. Mason, W. Heinemann and D. Viehweger, R. de Beaugrande and W.U. Dressler, M. Tutescu, J. Delisle, I.S. Alekseeva [cf. Dąbska-Prokop 2000: 275–277; Kozłowska 2003: 163–165]. Our purpose here is not to revise all these typologies but rather to point out the main differences between literary and non-literary texts with the further view of intertextuality included therein.

layered and multiphased structure [Ingarden 1955: 127]. Thus, no matter whether one analyses literature, a scientific text or any other type, the immanent features of any written text are identical. However, in some types of texts the specific strata may be overemphasized, whereas in others they may be minimised or might even disappear. In a scientific text the stratum of represented identities is reduced, whereas the stratum of meaning units must be shaped specifically so as to allow the reader to realize the cognitive function. Such a text is not constructed with the focus on the polyphonic harmony between its various strata, the aesthetic or emotional effect is immaterial. If there is any harmony or disharmony between the strata of the text, it is irrelevant for the scientific text, and specifically for its cognitive function [Ingarden 1955: 132]. It is designed for a narrow readership and its limited comprehensibility is a further result of its compactness and unambiguous nature [Ilek 1975: 102]. Its language is characterised by: non-polysemous terminology, numerous borrowings, neologisms and internationalisms; lack of emotionally laden vocabulary, synonyms, archaisms, dialect; syntax is subordinated to the superior function of the clarity and precision of thought [Pieńkos 1993: 92].

Due to its specificity, such a work should be free from being rooted in any particular culture in the form of ideological or cultural references or allusions to literature or art<sup>5</sup>. In other words, a scientific text is not placed in an intertextual space to such a degree as a literary one which in fact does not exist in isolation from other texts. Each literary work features a polemic, development or a reference to the source literature canon [Krzeczowski 1975: 146]; or, in post-modern words: “nothing is ever new; the new is a combination of various elements from the old, the non-canonized, imports from other systems” so individual works of literature “are, to a certain extent, recombinations of generic elements, plots, motifs, symbols, etc. – in fact essentially ‘piecing together of other people’s ideas,’ but in such a way as to give them a novel impact” [Lefevre 1982/2003: 247]. This sounds like an echo of the already classical statement by Kristeva, ‘the mother founder’ of the term ‘intertextuality’: each text is but “a mosaic of quotations”, each absorbs and re-shapes other texts [in Mitosek 1995: 323].

The differences between literary and non-literary texts influence one’s understanding of the stance of the translator. Generally, theoreticians distinguish five types of competencies which contribute to the overall translator’s expertise: linguistic, cultural, encyclopaedic, psychological and pragmatic [cf. Dąbbska-Prokop 2000: 109]. Despite the fact that each translator should possess all five types of competence mentioned, their skills and responsibilities are quite stereotypically classified depending on the textual type. Thus a literary translator must pay attention to various connotations and expressive values of particular words. The idea that the professional ambition of a translator is to discover all, even the most subtle, distinct meanings of a word [Ilek 1975: 103], may be treated as a literary translator’s credo. He must be bilingual and bicultural, functioning in space which is free from conventional borders [Baker 2005: 127].

---

<sup>5</sup> Texts on anthropology, politics, sociology or history, etc., shall be by necessity excluded here.

Discussions of the characteristics of the translators of non-literary texts abound in suggestions that they need to be schooled in that branch of knowledge a given text covers. It is also postulated that such a translator should have a thorough general education including Latin and Greek [Voellnagel 1973: 10], which serves the purpose of comprehending terminology based on Latin or Greek derivatives. Specific technical and general knowledge is treated as cultural/ encyclopaedic competence of the non-literary text translator. The same competence as regards the literary translator comprises rather the knowledge of source and target literature, both in a synchronic and diachronic perspective. This inevitably involves noticing intertextualities and then having the ability to decode and interpret them in the context of the text in which they appear.

Since the introduction of the term, 'intertextuality' has acquired a number of, sometimes self-contradictory, meanings. It encompasses both its unconscious infinite mode advocated by Kristeva or Barthes as well as the finite one of Genette [Mitosek 1995: 332, 333]. Intertextual references may take the shape of larger parts of borrowed texts inserted in a target structure, thus being relatively independent, or as termed by Zgorzelski, "texts within a text" [Zgorzelski 2007: 9]. They can appear in the form of a direct or hidden quotation, reminiscence, allusion<sup>6</sup>. From a different perspective, intertextuality may include categories such as genre (parody, pastiche, mock-heroic poem<sup>7</sup>) or a particular writer's poetics. Finally, in its widest sense, it can relate to the stereotypical use of language of a global nature. Some scholars limit their understanding of intertextuality to those cases where it is intentional and where two texts form a relation which is dialogic in its nature, i.e., there appears a semantic game between them [Głowiński 2000: 16, 22]. Accordingly, intertextuality is differentiated from all other interconnections between hypotexts and hypertexts<sup>8</sup>, for instance, from allegation, in which the borrowed element is treated a priori as authoritative.

Although theoretically one can talk about intertextuality when it is decipherable by the addressee, yet it is the virtual, implied reader to whom the text is addressed. It is an open question whether the empirical reader is always able to recognize intertextual relationships [Głowiński 2000: 25]. This is inextricably connected with literary com-

---

<sup>6</sup> Such elements as quotation, micro-quotation, crypto-quotation, structural quotation, thematic allusion, paraphrase, reconstruction, imitation, inversion, falsification, reminiscence, etc., are all classified by Balbus as intertextual techniques [Balbus 1996: 175]. He differentiates them from intertextual strategies, which are defined as the outcome of the interrelation of intertextual techniques used in the text and the way it is rooted in an intertextual space of the macro-system of current literary tradition and conventions [Balbus 1996: 175]. On the other hand, Riffaterre argues that quotations and allusions which are dependent on the changeable competence of the reader are facultative, that is understanding them is not essential to comprehend the text as such. Consequently, these types of text-text relationships are not within the scope of intertextuality (in Nycz). Because of the discrepancy as concerns the status of allusions and quotations, in this analysis the discussed text-text relationships shall be called references and discussed from the point of view of their function in the target structure and importance of being transferred in translation.

<sup>7</sup> These genres used to be referred to as 'stylization'. Contemporary literary scholars tend to treat the stylization as a particular type of intertextuality [cf. Balbus 1996: 19], being one of its key research areas.

<sup>8</sup> These terms were introduced by G. Genette to name the relationships between a given text (hypertext) with another text which preceded it (hypotext) [cf. Głowiński 2000: 11].



petence, which entails the knowledge of rules and conventions according to which a text is created, but also being familiar with particular texts whose elements become 'building blocks' for the target structures.

In the context of translation, cultural competence (literary competence combined with the intertextual competence) is a prerequisite for literary text translators, who may seriously distort the original if relationships of various natures between texts are ignored. As Głowiński notices [Głowiński 2000: 29], translation, depending on the type of intertextual relationships<sup>9</sup>, may impoverish them, yet that does not reduce to the inability to comprehend the text. Nevertheless, translation definitely limits the interpretive scope of the TT. With reference to the non-literary text translator, cultural competence if understood as focusing on terminology and narrow specialization may become a trap. Recalling another text may serve various functions in a scientific work. It may fulfil a cognitive, argumentative or openly polemical function. It may also highlight the author's erudition exemplified in the form of culturally rooted concepts. Yet such references do not add to the scientific argument. If quotations from other texts do appear, they are generally properly marked graphically so as to avoid plagiarism; thus the experienced translator is used to this mode of introducing other works. He may be less aware of unmarked, hidden traces of foreign texts. Scientists happen to enrich their works with thoughts or ideas which are not credited to their proper sources as they are so well known in the source culture that there is no need to do that. Consequently, attributing specific kinds of competences to translators of given text types may be somewhat misleading, similarly to the division into clear-cut text types. These distinctions "mask the essential similarities which may be perceived in texts of different fields," of their being "similar linguistic processes at work" both in literary and non-literary texts [Hatim, Mason 1997: 3]. Nevertheless, text categorizations seem unavoidable and "text types are seen as 'guidelines' which text users instinctively refer to in adopting a given translation strategy with an eye on both sides of the translation divide – the ST and the TT" [Hatim, Munday 2004: 74]<sup>10</sup>.

Let us then analyse selected examples of hidden references from the Bible, focusing on their function in the text in which they appear, as well as techniques by means of which they may be introduced in the translation. It must be stressed that the translator has a choice once he recognises a trace of a foreign text, whether to make it more explicit to the target reader or to use exactly the same technique as was used by the original writer.

---

<sup>9</sup> It is quite possible to retain all possible intertextual relationships when the hypotext is world-famous or at least familiar in the target culture. If the references are made to a source culture text not popular or not yet introduced to other literary systems, the situation is much more difficult, as even if noticed by the translator and transferred to the TT, the intertextuality may be totally ignored or misunderstood by the target reader.

<sup>10</sup> Hatim and Munday emphasize that recent text-oriented models of the translation process have aimed at avoiding a misleading categorization of texts on the basis of situational criteria, such as, subject matter, and pinpoint "a 'predominant contextual focus' (e.g. expository, argumentative or instrumental texts)" [Hatim, Munday 2004: 73], which seems to help both theorists and translators themselves in overcoming the problem of text hybridization.

When discussing psychopathology, Prochaska and Norcross state:

(1) The incongruence between self and experience is the basic estrangement in human beings. The person can no longer live as a unified whole, which is the birthright of every human being. Instead, we allow ourselves to become only part of who we really are. Our inherent tendencies toward full actualization do not die, however, **and we become like a house divided against itself** [Prochaska, Norcross 2003: 144]<sup>11</sup>.

The authors rework a very well known quotation from St. Mark (3: 25): “And if a house be divided against itself, that house cannot stand”. They seem not to use it with the idea of entering into a dialogue or polemics with it; rather, they depend on its authority in order to create a metaphor depicting the condition of a human being torn by contradictory feelings. Although the Biblical reference is of an allegative nature, misinterpreting it may lead to a serious distortion of the text, as happened in the Polish translation:

(1a) Jednak nasze wrodzone dążenia do pełnego urzeczywistnienia nie zamierają i **stajemy się wbrew sobie jakby podzielonymi domostwami**. (translator’s version) [we become against ourselves as if divided houses]<sup>12</sup>.

Although in back-translation the reference seems almost identical but for the word order, yet the Polish version is not recognizable as a Biblical reference and the text is not as clearly understandable as in English. ‘Divided’ in the Biblical context does not imply physical partition, which is emphasised in the translation, but the emotional split-up of the family, as ‘house’ is a metonymy for family. For the reader who knows the Biblical quotation this is obvious. The translation is enigmatic, as the reader finds it difficult to understand what kind of division is meant, which clearly contradicts the unambiguous nature of a scientific text. The original Polish quotation from the Bible reads: “jeśli dom wewnątrznie jest skłócony” [if the house be at variance with itself]. The adjective ‘skłócony’ [at variance] actually makes it quite clear that no physical but spiritual and emotional ‘division’ is involved. Noticing this discrepancy between the metaphorical Biblical meaning and the first, literal version of the translation made it possible to remove the problematic fragment:

(1b) Jednak nasze wrodzone dążenia do pełnej samorealizacji nie zamierają i **stajemy się takimi, jak wewnątrznie skłócony dom** [Prochaska, Norcross 2006: 155] [we become as a house at variance with itself].

Neither in the original nor in the published translation is it marked in any way that we encounter here a paraphrase of a Biblical quotation. The authors’ idea was not to

<sup>11</sup> Each text in bold is emphasized by me, also literal translations in square brackets are mine.

<sup>12</sup> I would like to express my gratitude to Ms Anna Strzałkowska, the editor in the publishing house of Instytut Psychologii Zdrowia which published the Polish version of book discussed, for allowing me access to the material from the editorial stages of the publishing process.

draw the readers' attention to the Christian teaching, but rather using a well-known metaphor, to depict a very complex mental state, thus making it more comprehensible. Whether the target reader notices the original source of the hidden quotation is immaterial to the arguments of the psychopathologists. Yet, it was crucial for the translator to recognise the fragment as Biblical to interpret it correctly.

When the authors discuss the building of assertive skills, they summarise their ideas as follows:

(2) Candidates for assertiveness (or assertion) training include people who are afraid of complaining about poor service in a restaurant because of anxiety over hurting the waiter's feelings, people who are unable to leave a social situation when it is boring for fear of looking ungrateful, people who are unable to express differences of opinion because they are afraid others will not like them [...] and people who are unable to participate in competitive games for fear of loosing. **The meek will not inherit the earth. The meek** will frequently find that all they inherit is bad feelings because they are inhibited by anxiety from standing up for their rights [Prochaska, Norcross 2003: 289].

Here the situation is quite different. The text clearly is at odds with Biblical ideology as it negates one of the most famous quotations from St. Matthew (5: 5): "Blessed are the meek, for they will inherit the earth." Again the reference is not indicated graphically and it is up to the reader to notice the game between the authors and the Holy word, where the psychologists obviously do not agree with the indoctrination which makes people give up their inherent drive to fight for their rights. Thus the Word is undermined. The translator, who did not recognise the ideological dialogue in which the two texts entered, paraphrased the reference:

(2a) **Do pokornych świat nie należy** [the world does not belong to the meek]. **Ludzie pokorni** często przekonują się w końcu, że zostają tylko ze złym samopoczuciem, a to dlatego, że lęk powstrzymuje ich od walki o swoje prawa [translator's version].

It is a creative domestication of the Polish idiom 'Do odważnych świat należy' [the world belongs to the courageous] which the translator used in the negative and substituted 'the courageous' with one of possible equivalents of 'meek' to keep the original meaning. The text is fully comprehensible, however, the game with the Bible is lost whereas it was not accidental in the original. The authors draw the reader's attention to it by the repetition of the key adjective (which functions as a noun here) as well as the verb, not only providing the text with coherence but also pointing to the foreign origin of the phrase as the verb clearly 'stands out' in this particular context<sup>13</sup>. The inability to decipher the reference and, consequently, to provide the TT with it,

<sup>13</sup> To 'inherit bad feelings' is not a common collocation and scientific texts avoid unusual, innovative structures striving for absolute clarity. The Polish translation also 'stands out' but for quite a different reason. The translator creates a new collocation 'zostać ze złym samopoczuciem' [be left with bad physical/ mental state], which is not at all natural as generally one would say 'mieć złe/ dobre samopoczucie' being equivalent to 'feel bad'. Such linguistic innovativeness is not at all welcome in scientific texts and may be treated as a mistake.

fails to recreate the intention of introducing it into the original text. It seems that the psychologists attempt to show here in what way behaviour imposed by religion may inhibit an individual and limit one's development.

The corrected version takes into consideration the origin of the reference:

(2b) **Wprawdzie „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiadą ziemię”, ale owi pokorni „cisi”** często odkrywają, że wszystko, co posiadli, to negatywne uczucia, ponieważ lęk powstrzymuje ich od walki o swoje prawa [Prochaska, Norcross 2006: 316] [Although “Blessed are the ‘quiet’, for they will inherit the earth”, these meek ‘quiet’ often find out that all they inherit is...].

Unlike in (1), a totally different strategy is used. The Biblical quotation reversed for the sake of the context and hidden in the original is graphically marked in the TT and is not changed as such<sup>14</sup>. The structure of the utterance, however, is modified. Although the source is not indicated, the reader may easily guess that it is Biblical discourse. Beginning the sentence with ‘wprawdzie’ [although] suggests that the authors are aware of the quoted ideology, yet they do not really share it which is signalled with the conjunction ‘ale’ [but]. The corrected version of the translation, in a stylistically coherent way, explicates negative psychological outcomes of adhering to truths rooted deeply in the society due to religious indoctrination.

American authors often treat the Bible as a source of quotations (variously used in their texts) which is connected with the tradition of reading it dating back to the Pilgrim Fathers. Because of their specificity, issues connected with psychotherapy allow them to refer to tradition, whether folk or religious. Psychological books abound in case studies and descriptions of complex mental states depicted by means of culturally rooted metaphors or similes so as to make the complicated issues more comprehensible. The language of such works definitely differs from the dry jargon typical of other scientific texts. The translator must be aware of the presence of other texts and his cultural competence cannot be limited to the general knowledge and that of psychology as such. It must also include intertextual competence, in that case being able to notice ‘textual anomalies’<sup>15</sup>, or to use Riffaterre’s terminology “ungrammaticality”, that is such places whose meaning cannot be explained by the immediate context but which acquire sense through actualising the meaning of the ‘outside’ text. Furthermore, the translator must analyse the function which a given reference plays as this will influence the choice of the translation technique. In example (1), the function was to provide a transparent metaphor thus it was possible to ignore the original quotation and introduce some other metaphor instead. In example (2), however, such a procedure would lead to the distortion of the

<sup>14</sup> In the Polish translation of the Bible what is expressed by ‘the meek’ in English is articulated by a synonymous adjective ‘cichy’ [quiet], thus the editor decided to introduce the lexeme ‘pokorny’ [meek] to achieve a version closer to the original at the linguistic level and to signal the meaning of ‘quiet’ in this context.

<sup>15</sup> This term is used by Nycz, who emphasizes that a grammatical, semantic and pragmatic violation of Grice’s conversational implicatures as well as of norms and conventions signals an intertextual reference [Nycz 1990].

intended dialogue with the outside text, since the function of introducing the intertextual relationship was to contrast two different outlooks.

In the analysed examples the Biblical references were valid in their immediate context, i.e., a paragraph. That is, they had an impact on the explanation of a particular, singular issue, and their sense was to be attributed solely to it rather than the entire book. They need not have been interpreted within the structure of the entire work. It is quite different in the case of literature. In G.K. Chesterton's stories references interwoven within the text often acquire meaning in the context of the entire story and play various functions. In *The Blue Cross* Father Brown summarises his conversation with the thus far unidentified 'priest' as follows:

(3) Reason and justice grip the remotest and the loneliest star. Look at those stars. Don't they look as if they were single diamonds and sapphires? Well, you can imagine any mad botany or geology you please. Think of forests of adamant with leaves of brilliants. Think the moon is a blue moon, a single elephantine sapphire. But don't fancy that all that frantic astronomy would make the smallest difference to the reason and justice of conduct. On plains of opal, under cliffs cut out of pearl, you would still find a notice-board, '**Thou shalt not steal**' [Chesterton 1911/2001: 12].

Not only is the reference openly marked through single quotation marks but also its anachronism is evident. Whilst in this fragment Brown's language is metaphorical, the archaic form of the pronoun and verb is clearly recognizable, as well as the source of the citation. Such an explicit form of introducing other texts into the target structure is not problematic for the translator at all, since a recognised translation of the quotation may be used without changing the function of the intertext. In this case the Eighth Commandment not only reveals the thief (thus foreshadowing his own 'coming out') but also the philosophy of the priest, obviously consistent with his creed.

In the translation the reference is also clearly evident:

(3a) Wszędzie – na równinach z opalu, pod skałami ciosanymi z pereł, znajdziesz zawsze ostrzeżenie: „**Nie kradnij**” [Chesterton 1951: 30].

The citation is so self-explanatory that even if translated to other cultures, where other religions predominate, it would still be fully comprehensible both in the context of the story and as an ideological statement.

However, there are cases in which allusions are less obvious and require more knowledge both of the reader and the translator. Such is the case of *Queer Feet* which abounds in more or less explicit references to the Bible<sup>16</sup> or *The Strange Crime of John Boulnois* in which in the course of one conversation various texts are recalled:

(4) Champion would burst in on John's shabbiest hours or homeliest meals with some dazzling present or announcement or expedition that made it like **the visit of Haroun**

---

<sup>16</sup> For a detailed analysis of the Biblical sources and the pertinent fragments of Chesterton's story, see: [Kujawska-Lis 2007: 255–258].

**Alraschid** [...]. After five years of it John had not turned a hair; and Sir Claude Champion was a monomaniac”.

“**And Haman began to tell them**” said Father Brown, “**of all the things wherein the king had honoured him, and he said: ‘All these things profit me nothing while I see Mordecai the Jew sitting in the gate’**”.

“The crisis came,” Mrs Boulnois continued, “when I persuaded John to let me take down some of his speculations and send them to a magazine. [...] **When Champion** [...] heard of this late little crumb of success falling to his unconscious rival, the last link snapped that held back **his devilish hatred**” [Chesterton 1914/2001: 110].

Mrs Boulnois compares the protagonist’s behaviour to that of one of the best known caliphs, Harun-Al-Rashid<sup>17</sup> (764?–809) who was enormously rich (like Champion in the story), whilst during the time of his ruling in Baghdad science, religion and culture flourished (which is what Champion strives for, hence the staging of *Romeo and Juliet* in his garden, yet he is not quite successful). In *The Arabian Nights* Harun-Al-Rashid is portrayed as a legendary ruler whose court is rich beyond imagination. His surname recalled in the story is to contrast Sir Champion’s riches with John Boulnois’s poverty, thus the name itself functions as a metonymy. Mrs Boulnois’s narrative is, however, interrupted by Father Brown who evidently uses the Book of Esther, though only the second part of his utterance is graphically marked as a quotation. Typically for Chesterton, the reference to the Bible summarises a given situation and foreshadows further events. The Biblical characters parallel those in the text, thus Champion mirrors Haman in his hatred (which is demonstrated by Mrs Boulnois’s words), whereas John as the object of adverse feelings becomes like the hated Mordecai. Another clear parallel is the location (the gate) as John lives in Grey Cottage situated near the main gate of Pendragon Park, Champion’s residence. Specifying hatred as the driving force is the main function of the intertext, as it provides a motive for the crime (Champion’s suicide which is to be blamed on Boulnois). Father Brown as a detective usually works on the verge of the rational and irrational. Rationally, he can understand why Champion might have wanted to accuse John of murdering him which is evidenced by the Biblical quotation as chosen properly to fit in the context. It shows Brown’s train of thoughts. Yet he still does not understand what actually happened in the park and so the epiphany must necessarily follow<sup>18</sup>. The quotation may be considered ‘a retribution’ in that both Haman and Champion die mostly because of their uncontrollable feelings, as well as a foreshadowing: Mordecai takes up Haman’s place, i.e., John Boulnois is to achieve fame and, perhaps, prosperity.

Understanding Brown’s intrusion into Mrs Boulnois’s narrative depends to a large degree on the reader’s knowledge of the Book of Esther. The remark seems to come ‘out of the blue’, new names are introduced (in a detective short story, according to the genre conventions the number of characters should be limited so as to allow the

<sup>17</sup> There exist various spellings of this name.

<sup>18</sup> This is Mrs Boulnois’s statement that they do not keep a butler. At this point Father Brown clearly ‘sees’ the crime. He understands that John Boulnois was never in the Park as he had pretended to be his own butler in order to get rid of the inquisitive journalist and stayed in his cottage.

reader to follow the intrigue), yet the reader already familiar with Father Brown, his profession and idiosyncratic way of commenting should be aware of the intertextuality at play.

The translator might easily paraphrase the entire passage and put into Father Brown's mouth the utterance elucidating Champion's hatred. Yet that would seriously distort the image of Father Brown as a character. Ignoring the play between the Bible and the story would not influence the understanding of the latter, yet there would be a loss in the way Father Brown is constructed and in some structural elements.

Polish translators, whilst recognising the source of the intertext, somewhat change it:

(4a) A Haman powiadał im [...] o wszystkich zaszczytach, jakimi król go obdarzał: Nic mi do tych spraw, jeżeli widzę **żyda Mardocheusza, siedzącego przy mych wrotach** [Chesterton 1928: 277] [Jew Mordecai sitting at **my door**].

(4b) I powiadał im Haman [...] o sławie bogactw swoich i jako go wywyższył król nad innych. I nadto rzekł: ale to mi wszystko za nic, dopóki ja widzę **Mardocheusza, siedzącego u bramy królewskiej** [Chesterton 1951: 81] [Mordecai sitting at **the king's gate**].

(4c) A Haman jął prawić im o niezmiernych zaszczytach, jakimi król go obsypywał, i rzekł: Wszystko to nic nie warte, póki **Żyd Mordohej siedzi u mojej bramy**, a ja spoglądać nań muszę [Chesterton 1969: 157] [Jew Mordecai sitting at **my gate**].

Both Zydlarowa (4a) and Dehnel (4c) make the same mistake as using the pronoun 'my' suggests that the gate belongs to Haman, whereas in the Bible and in (4b) it is the King's Gate that Mordecai sits at. However, the change of the 'gate's ownership' may be caused by the translators' wish to make the Biblical text clearly correspond with the detective story and through the pronoun they allow the reader to create the relationships between the Biblical and fictional characters, thus contributing to the comprehensibility of the fragment in the context of the story<sup>19</sup>. What is also of interest is the fact that the translation (4b) omits the word 'Jew', making the Biblical origin of the quotation less explicit for the empirical reader not familiar with the Old Testament<sup>20</sup>. Since in the conversation exotic names are used, the reader may mistakenly associate 'the king' mentioned by Father Brown with Al-Rashid referred to by Mrs Boulnois, as if the priest was continuing the comparison initiated by the lady.

Irrespective of theoretical deliberations on what actually constitutes intertextuality, the translator of any kind of text, whether literary or non-literary, must be sensitive to what Nycz calls 'dark places', i.e., ungrammatical, incomprehensible, or incoherent

<sup>19</sup> In the Polish translation of the Bible the fragment actually does not specify what gate is referred to: "I mówił Aman [...] Lecz wszystko to jest dla mnie niczym, jak długo patrzę na Mardocheusza, Żyda siedzącego w Bramie" (Księga Estery 5: 13); nevertheless it is clear from the context of the Book of Esther.

<sup>20</sup> It is difficult to establish why this omission takes place as in translations of the Book of Esther into Polish the lexeme is used. It may have been imposed by the censorship as the translation was published in 1951. Since it was issued by a Catholic publishing house (PAX) it is improbable that it was a mistake (even more so that it is the only translation in which the reference to the gate is consistent with the Biblical passage). The noun 'Jew' returns in the 1969 version also published by PAX, i.e., after the so-called March events in 1968 and massive emigration of Jews from Poland to Israel.

as they will signal the interplay with outside texts as well as to ‘signed calques’ in Riffaterre’s terminology, i.e., quotations. It is not necessary in each case to provide the target reader with a mirror image of the interplay between two texts, as an allusion or quotation may be used simply as a convenient way to express some idea. In such cases the borrowed element may be usually paraphrased without incurring a semantic loss to the text. Nevertheless, the paraphrase must be preceded by an understanding of the borrowed element and the way it functions in its original structure, otherwise the translator may fall into the trap of literal translation which may result in unmotivated ambiguity or a change of meaning. Whenever two texts enter into a dialogic relationship, the translator should allow such an interplay in the newly created text in the target language, which may be done variously: by making the intertextual element more explicit than in the original (marking it graphically or even hinting at its source). Obviously the issue is much more complex in a case in which we consider a text – genre or text – text relationship where the presence of the hypotext in the hypertext is not clearly marked by allusions, citations or similar elements. This, however, touches upon issues such as the extent to which the translator is to interpret the text for the sake of the reader. In the case of Biblical references it is simply a matter of deciding whether a given phrase needs to be transferred to the TT or whether ignoring its origin and providing its meaning fulfils the functions it is endowed with in the source text.

### Bibliography

- Balbus, S. (1996). *Między stylami*. Kraków, Universitas.
- Baker, M. (ed.) (2005). *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*. London New York, Routledge.
- Chesterton, G.K. (1928). *O mądrości ojca Browna*. Transl. J. Zydlarowa. Warszawa, Biblioteka Groszowa.
- Chesterton, G.K. (1951). *Przygody księdza Browna*. Transl. editorial team. Warszawa, PAX.
- Chesterton, G.K. (1969). *Przygody księdza Browna*. Transl. T.J. Dehnel. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.
- Chesterton, G.K. (1911/2001). *The Innocence of Father Brown*. USA, Quiet Vision Publishing.
- Chesterton, G. K. (1914/2001). *The Wisdom of Father Brown*. USA, Quiet Vision Publishing.
- Dąbmska-Prokop, U. (ed.). (2000). *Mała encyklopedia przekładoznawstwa*. Częstochowa, Educator.
- Głowiński, M. (2000). *Intertekstualność, groteska, parabola*. Kraków, Universitas.
- Hatim, B., Mason, I. (1997). *The Translator as Communicator*. London and New York, Routledge.
- Hatim, B., Munday, J. (2004). *Translation. An Advanced Resource Book*. London and New York, Routledge.
- Ilek, B. (1975 ). *Granice ścisłości znaczeniowej w tłumaczeniu literatury pięknej*. Transl. M. Erhardt-Gronkowska. In: S. Pollak (ed.). *Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga*. Wrocław, Ossolineum, pp. 99–108.
- Ingarden, R. (1955). *O tłumaczeniach*. In: M. Rusinek (ed.). *O sztuce tłumaczenia*. Wrocław, Ossolineum, pp. 127–192.
- Kozłowska, Z. (2003). *Zasada stopniowania trudności przy doborze tekstów do nauczania tłumaczenia pisemnego tekstów nieliterackich*. In: K. Hejwowski (ed.). *Teoria i dydaktyka przekładu*. Olecko, Wszechnica Mazurska, pp. 159–176.



- Krzeczkowski, H. (1975). *Kilka uwag o odpowiedzialności tłumacza*. In: S. Pollak (ed.). *Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga*. Wrocław, Ossolineum, pp. 139–148.
- Kujawska-Lis, E. (2007). *Translator's nightmare: G.K. Chesterton's "Queer Feet" and its cultural references*. In: A. Blaim, J. Kokot (ed.). *Texts in/of Texts*. Lublin, Maria Curie-Skłodowska University Press, pp. 239–265.
- Lefevere, A. (1982/2003). *Mother Courage's Cucumbers. Texts, systems and refraction in a theory of literature*. In: L. Venuti (ed.). *The Translation Studies Reader*. London, New York, Routledge, pp. 233–249.
- Mitosek, Z. (1995). *Teorie badań literackich*. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Newmark, P. (1988). *Approaches to Translation*. New York and London, Prentice Hall.
- Nycz, R. (1990). *Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy*. In: *Serwis Polonistyczny Hamlet*, online <<http://www.hamlet.pro.e-mouse.pl>>, 30th May 2007.
- Ortega y Gasset, J. (1937/2003). *The misery and splendor of translation*. In: L. Venuti (ed.). *The Translation Studies Reader*. London, New York, Routledge, pp. 49–63.
- Pieńkos, J. (1993). *Przekład i tłumacz we współczesnym świecie*. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Pisarska, A., Tomaszewicz, T. (1998). *Współczesne tendencje przekładoznawcze*. Poznań, Wydawnictwo UAM.
- Prochaska, J.O., Norcross, J.C. (2003). *Systems of Psychotherapy. A Transtheoretical Analysis*. Pacific Grove, CA, Thomson Learning.
- Prochaska, J.O., Norcross, J.C. (2006). *Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna*. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia.
- Reiss, K. (1971/2003). *Type, kind and individuality of text. Decision making in translation*. In: L. Venuti (ed.). *The Translation Studies Reader*. London, New York, Routledge, pp. 160–171.
- Voellnagel, A. (1973). *Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych*. Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
- Zgorzelski, A. (2007). *Texts from texts; texts in the text (some conceptual considerations)*. In: A. Blaim, J. Kokot (ed.). *Texts in/of Texts*. Lublin, Maria Curie-Skłodowska University Press, pp. 7–14.

## Summary

### Translation of Biblical References in Literary and Non-literary Texts

The division of texts for the purpose of translation into literary and non-literary ones, based mostly on the dominant language function in a given text type, often leads to a stereotypical understanding of the stance of the translator's competence. Non-literary text translators who focus entirely on that branch of knowledge that a given text refers to and on related terminology may overlook the cultural and intertextual elements. This not only ignores the intention of introducing them into the text, but also may change the meaning of passages in which they are included.

The analysis of a book concerning psychology and psychotherapy: *Systems of Psychotherapy. A Transtheoretical Analysis*, as representing non-literary texts, and G.K. Chesterton's detective stories, being examples of literary texts, provides some examples of introducing more or less implicit references to the Bible into psychological discourse and literature respectively. Despite the label of scientific texts, American psychological literature is characterized by numerous hidden quotations from other sources which serve various functions: using the already lexicalised phraseology or entering into a polemic with the religious doctrine. Consequently, in translating such

texts, translators cannot limit themselves to a thorough knowledge of psychology, psychotherapy and terminology connected with those areas, but must also be observant enough to notice intertextual traces and then be able to localize them and interpret them correctly. Otherwise the translation may alter the original meaning or introduce an ambiguity which is not welcome in such texts. Thus 'intertextual competence' is by no means reserved for literary text translators for whom this type of expertise is obviously of primary importance.

**Marek Krawiec**

Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna  
Jarocin

## ENGLISH WORDS IN THE TALK OF POLISH TEENAGERS. A REVIEW OF SOCIOLINGUISTIC ASPECTS

**Key words:** linguistic code of teenagers, lexical borrowings, English loanwords, reasons for use, means of transmitting English loanwords

The following article mainly deals with the process of lexical borrowing. It presents a group of English loanwords which are commonly adopted and used by Polish teenagers and specifies a division of these items within certain semantic categories. One of the prior tasks of this paper is to provide exemplary sentences which are to illustrate the mechanism of lexical borrowing among young Poles who seem to excessively incorporate English words to their speech, thus leading to a variety of linguistic combinations and modifications.

An issue of concern here is also specification of the reasons for this sort of adaptation which is followed underneath by identification of the factors which influence such lexical choices of young Poles. In order to delineate a more thorough picture of the whole phenomenon, the article quotes the results of the research which was conducted among Polish teenagers in March 2007. However, before presenting the research data, it is worth featuring first the general frame of reference which depicts the youth as a special social group with its own system of communication in which lexical borrowings seem to actively participate.

### **Young people and their linguistic code**

Young people appear as a very inventive and expressive group which produces their own strategies of communication. These strategies allow them for performing a number of linguistic modifications that help them to signal their sense of belonging and to present their own worldviews, beliefs and opinions. Particularly creative in this sphere are teenagers who by their sociolect contribute significantly to the transformation of the language and as a result to the enrichment and diversification of linguistic systems of many cultures.

Nowadays teenagers form a dictionary of their own words, phrases and usages which they treat as an important element of their social milieu and as a sign of their identification with the group. Since they want to be more “adventurous” in what they are saying, they perform a great deal of transformations which result in the creation of some sort of a discreet code which is to be hardly understood by others (especially by the older generation; see also [Garcarz 2005]). They adopt to their practices the mechanisms of word formation, code-switching and “semantization”. By doing so, they lead to the establishment of a special kind of language which is often called a sociolect [Satkiewicz 1994]. Such a language appears as an effective means of communication which allows all group members to exchange information and ideas in a similar way and to develop certain forms of expressing themselves and their reality. One may define a sociolect as a distinctive variety of language which enables its speakers to reflect anything as well as in standard language, or sometimes even better, though in many cases by different means. A sociolect comes out as a specific language system which may be used to refer to the conceptual, emotional and cultural world of young people (references in [Garcarz 2005]).

An important aspect to be mentioned with regard to this system refers to teenagers’ tendency of looking for the words which can fully express their attitudes towards things, people and ways of behaviour. Their main aim in this respect is to sound novel and more adventurous and to provide new forms of communication and reflection. In order to achieve it, young people combine various words in unusual structures, apply mechanisms of affixation and refine the meanings of lexical items. In fact, they change words in extraordinary ways. Some of the items are modified by them significantly, others only partially, whereas still others totally replaced by foreign words. This last process is very characteristic of the talk of Polish teenagers for whom the English language with its vulgar and obscene vocabulary functions as a source of lexical enrichment. Since swearing is considered to be a normal part of teenagers’ interaction, many English slangy words and colloquial expressions are actually incorporated to the informal speech of Poles who in this way make it vivid and colourful.

Crucial to the above discussion are the observations of Michał Garcarz [Garcarz 2005] who indicates that the language of the Polish youth is becoming more English-language-oriented. He argues that grammatical simplicity and lexical universality of English make this language a convenient and an economic means of communication for people coming from different cultures. In his view the omnipresence of English in Poland results from young people’s susceptibility to every language innovation, conformity to the model of communication practiced by the group as well as eagerness to adapt English language standards for individual purposes. The idea which comes to the fore in his considerations is that English is an irreplaceable ingredient of the Polish language culture which is estimated to possess a considerable number of English loanwords, especially the ones of colloquial or slangy character.

The same opinion is shared by other researchers such as, for instance, Anna Duszak [Duszak 2002] who presents Poland as a country with an unprecedented influx of English words and values. Touching upon this subject, A. Duszak points out that the

use of foreign words, especially the ones from socially sensitive domains, is relevant for the construction of social identities of speakers of the receiving language. In her considerations she particularly accentuates the role of English borrowings which are used to refer to new objects and processes for which the Polish language does not have any good equivalents. Duszak also highlights the applicability of English in various language games which aim to shock, provoke, persuade or guarantee fun. In her estimation, this language plays a strategic function in the textual and social world of contemporary Poles.

The line of reasoning presented above suggests that young people, especially teenagers, are a specific group of people who create their own linguistic code through certain changes in the lexical-semantic sphere of language.

### **The process of lexical borrowing**

Borrowing is viewed as the process thanks to which a language acquires some property, item or rule from another language [Tomaszczyk 1993]. Its most common form is lexical borrowing which is seen as one of the important sources of enriching one's and society's lexicon. It usually refers to taking over lexical items which are assimilated according to the phonological, morphological, syntactic, semantic and pragmatic rules of the recipient language [Burkhanov 1998]. As Tomaszczyk [1993] indicates, borrowing is a mechanism which is activated by speakers as a response to new communicative needs and as a sign of vitality in language. Thus, the term is used to denote the process of adopting a foreign element to a given linguistic system, the result of which is a special group of words which are called "loanwords" or "borrowings" [Burkhanov 1998; Lopatkin-Easton 1993]. Lester Jacobson [Jacobson 1994: 185] identifies several reasons for the occurrence of such words in a linguistic system. He particularly accentuates the importance of contact between speakers of different languages, the role of bilingual communities and the dominance of a people in a given area of science, technology or social life whose lexis seems to function as a crucial source for other speech communities.

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld [1995] also enumerates the reasons why people introduce loanwords into their language. Among the extra-linguistic factors mentioned by her is the need-filling motive which involves finding new designations that are more economical and less artificial than native expressions. Another factor is the so called prestige motive which requires adopting items from the language which has high standing and prestige. Worth noting here are also some intra-linguistic factors which are related to the low frequency of occurrence of certain words, the loss of expressiveness of some native lexemes and insufficient differentiation of specific semantic fields in one's own language (as contrasted with the source language). The need of being trendy is another determining factor which exerts influence on the adaptation of foreign words, especially the ones which originate from the culture, science and technology of a supreme and highly valued speech community such as, for instance, of the

English-speaking countries which nowadays contribute significantly to the social, cultural and technological development [Mańczak-Wohlfeld 1995: 18–19; see also Krawiec 2007].

The general framework presented above is to be supplemented by the typology of borrowing processes. As far as this sphere is concerned, it is possible to distinguish such categories as:

- straightforward adoption – in which the borrowed item does not undergo any changes in the form;
- loan blending – which refers to the alteration of the word so that it could fit the vocabulary of the recipient language, this type of borrowing involves combination of foreign and native morphemes, in such a formation one part of the word is adopted whereas the other one belongs to the original language;
- loan translation (often called calque) – is a process in which an item from the foreign language is translated piece by piece into the recipient language, it is performed by the use of the native elements of the recipient language;
- loan shift (also identified as semantic extension) – involves an extension of the meaning of a word in one's native language so that it corresponds to that of a word in the other language, it refers to rearranging words in the base language according to the pattern provided by the other, the result of the process is the creation of a new meaning [Burkhanov 1998; Mize 2006; Romaine 1995; Tomaszczyk 1993].

Another important aspect to be discussed in this paper is the association of lexical borrowings with the cultural development. This point is mirrored in the considerations of some scholars [e.g. Sapir 1921, Cienkowski 1964] who suggest that loanwords should be treated as a supplement to the history of culture and as an indicator of contacts between different populations. In this approach, lexical borrowings appear as a cultural map which informs about what one nation has taught another one (Bloomfield cited by Mańczak-Wohlfeld [1995: 14]). The above line of reasoning does not, however, find reference in the discussions provided by the majority of linguists who rather examine borrowings in isolation from the development of culture, thus treating them only as the linguistic phenomena [Mańczak-Wohlfeld 1995: 14]. This is not to be the case in the following article whose main aim is to investigate both the semantic-lexical nature of loanwords and the socio-cultural factors underlying the linguistic choices of Polish teenagers. Such a link of perspectives is presented in the passages of the section to come where certain research data is provided and analysed with regard to English words adopted and used by Polish teenagers.

### **Adaptation of English words by Polish teenagers**

As Anna Duszak [2002] indicates, Poland, similarly as many other cultures, is nowadays witnessing an unprecedented influx of English words and values. Due to the scope and the intensity of this influence, English starts to become a system which has high social and linguistic relevance for the Polish society and their patterns of interac-

tion. She notes that English borrowings, whether lexical, grammatical or textual, are used to reflect the changes which are taking place in the social, cognitive and linguistic sphere of Polish life. The use of English in Polish conditions is in her opinion determined by the need of referring to new objects and processes for which the Polish language does not have any good equivalents, or by the in-group tactic which refers to the notions of solidarity and discreetness. One of the problems identified by Duszak in this matter is, however, the expansion of colloquial communication patterns which is followed by the tendency of vulgarization of speech, growth of verbal aggression and a general desire to shock at any price. Duszak points out that the growing presence of English in the Polish language may be perceived in a variety of ways. It can be seen as disgraceful, dangerous, useful or sometimes funny, which proves of different evaluations of English loans by the society. The differences also occur in the abilities of Poles to understand such intrusions. Comprehension of and a positive attitude to English is very characteristic of the groups which through a new linguistic repertoire want to express their needs, goals, interests, lifestyles or worldviews as well as to project their new social images. By resorting to the items from this language, they try to transmit some special meaning and to construct intra- and inter-group discourses which are to be understandable and pragmatically acceptable for their effectiveness and efficiency. What is implied by Duszak is that English functions as a form of reflection which is used in some subsystems of the Polish social and linguistic domains and which is imported with the help of certain groups of speakers of the Polish language.

Further considerations of Duszak stress the need of integrating lexical-semantic studies of loans within an interactive and functional model of discourse processing. In her estimation, such a line of investigation may provide important data on the actual functioning of loan words in their new semiotic environment. The approach presented by Duszak in fact adds to the coverage of the semantic and morphosyntactic character of English borrowings which so far has been extensively dealt with by scholars [e.g. Fisiak 1970; Mańczak-Wohlfeld 1995]. The idea which comes to the fore here is that the functioning of English in the Polish language may provide vital sociolinguistic data which may offer an insight to the phenomenon of code-alteration, social identification and lexical diversification.

The above line of reasoning is to be supported by the arguments put forward by Michał Garcarz [2005] who points out that English vocabulary constitutes an indispensable element of the Polish language culture in which certain groups of people adopt loanwords for their own purposes. In his opinion, a social group which is most susceptible to language innovations are young people who eagerly adapt English language standards, thus creating a hermetically closed speech community. It is therefore necessary to take a close look at the glossary of Polish teenagers and to examine the items which are adopted by them from the English language and to find the reasons for doing this.

In order to project the subject matter under discussion, it is essential to turn to the results of the survey which was conducted among Polish teenagers in March 2007. The survey was based on a questionnaire which was distributed in the group of 255 young

people (138 females and 117 males) at the age of 14–19 who responded by referring to the process of incorporating English words to their speech. The obtained data is presented in the passages below and characterized with regard to some sociolinguistic aspects. At this point it must be emphasized, however, that although the main aim of this study is an analysis and classification of English loanwords used by Polish teenagers, some attention is also given to the identification of motives for adopting English vocabulary by young Poles. In fact, the investigation seeks to answer the questions of what items are borrowed from the English language, how they function in the Polish system and what effect they have on the process of communication. It is also the goal of this study to distinguish the most influential channels by means of which the transmission of lexical borrowings takes place. Besides, a task of high priority is a differentiation between the words and expressions adopted by males and females as well as gymnasium and secondary school students.

Addressing these issues, let us first establish a list of items most frequently quoted by Polish teenagers who participated in the research and who illustrated the use of English loanwords in certain exemplary sentences. The obtained data is in fact possible to be classified into certain semantic categories which are more or less concerned with sex, insulting, abusing, greeting, confirming, refusing and apologizing. These aspects of life are particularly likely to be represented in the English words transmitted by Polish teenagers whose mechanisms of adaptation are specified here according to the female-male distinction as well as the division of teenagers into gymnasium and secondary school students. A group of English words and phrases most frequently adopted and used by young Poles is presented in the following tables:

Table 1

English words adopted by gymnasium students (125 respondents)

of students	quoted lexical items	%*	use of English loanwords
1	2	3	4
Girls (74 respondents)	1. ok/oki/okey/okej	95	– Ok, nie ma sprawy. – Okey, zaraz przyjdę. – OK, to do jutra.
	2. sorry/sory/sorki	66	– Sorry/sorki, ale nie mogę przyjść. – Sorry, możesz się przesunąć?
	3. hey/hej/heya	32	– Hej, Anka! – Heya, co słyhać?
	4. yes	22	– Yes, pożyczę ci zeszyt. – Możesz zadzwonić do mnie później? Yes, nie ma sprawy.
	5. fuck you/fak ju	20	– Fuck you młody! – Zjeżdżaj, fuck you.
	6. shit/shiet	20	– Ta muza to shit! – To wszystko to wielkie shit!
	7. cool/kul	18	– Gośka, wyglądasz cool! – Tu jest kulowo.
	8. the best	18	– Jesteś naprawdę the best. – Ta piosenka jest the best.



cont. table 1

1	2	3	4
	9. thanks/thex/fenks	6	– Thanks, bardzo mi pomogłaś. – Fenks za zadanie. Wielkie thanks.
	10. fakaj się	10	– Fakaj się Michalina! – Fakaj się młocie!
	11. fuck/fack	10	– Masz zadanie domowe? O fuck, zapomniałam! – Fuck, znowu zapomniałam kluczy do mieszkania.
Boys (51 respondents)	1. ok/okey/oki	92	– Daj zadanie z matmy! – OK. – Okey, to da się zrobić.
	2. sorry/sorki	47	– Sorry, nie chciałem! – Sorki, że czekałeś.
	3. cool/kul	29	– Jesteś kul gość! – Gdyby nie ta zdzira byłoby coolowo i odjazdowo.
	4. yes/yeah	27	– Yo gościu, masz szlugi. – Yes, yes, mam, zara ci dam. – Masz hajs? - Yeah!
	5. fuck you	25	– Ej debil, fuck you! – Ty zjebie genetyczny, fuck you popaprańcu.
	6. fakaj się/fuckaj się	23	– Fakaj się lebero! – Ty kurwa lamusie zajebany fakaj się.
	7. fuck	23	– Fuck, ale bałagan. – Kurwa już mam dosyć tego twojego pierdolonego freda, kurwa jego mać dzwoni do mnie o 6 rano i pyta o kasę, fuck!
	8. yo/joł	23	– Yo ziomal! Jak leci? – Yo madafaka jedziemy na bitchiska.
	9. shit/szit	21	– O shit, nauczyciel widział mnie, jak palę papierosy. – Shit, stara znalazła test.
	10. no	19	– No way ziommm, kurwa za chuja nie dam ci numeru do tej niuni. – Nie czaisz kurwa, no money no money to nie ćpamy.
	11. bitch/bycz	17	– To jest ta bitch, która spierdoliła. – Ty stary jechaliśmy kurwa wczoraj na spidzie i kurwa takie rozjebane bitches stały, że kurwa kutas szyberdachem wystawał.
	12. motherfucker/madafaka	17	– Pożycz mi zeszyt madafaka! – Ale ten gościu jest madafaka, wyjechał 10 piw w 20 minut!
	13. babe/baby	13	– Jak dla mnie baby jesteś cool i tyle! – Komm zu mir baby!

\* The percentages given in the table specify a number of students from the group who quoted particular items.

Table 2

English words adopted by secondary school students (130 respondents)

of students	The most frequently quoted lexical items	%*	Exemplification of the use of English loanwords
1	2	3	4
Girls (64 respondents)	1. ok/oki/okey	76	– Oki, zrobię to! – OK, pójdę tam z tobą!
	2. sorry/sorki	45	– Sorry, ale nie czuję tego. – Nadepnęłaś mi na nogę! – Sorki!
	3. cool	28	– Na tej imprezie jest cool!
	4. fuck you	23	– Wow, jaką masz coolową bluzkę. – Daj mi kasę! – Fuck you! – Daj zadanie z matmy! – Fuck you!
	5. yes	23	– Yes, yes, yes! To jest to! – Yes, of course pojedzie tam.
	6. no	21	– No, no, no kochana, ten chłopczyk będzie mój. – Oh no, jak ten bydlak mógł zerwać ze mną.
	7. fuck (fucking world)	15	– Oh fuck! Co ja zrobiłam? – Fuck, ale to zadanie trudne.
	8. please/plis	15	– Zrób to dla mnie, plis.
	9. the best	12	– Please, mogę na chwilę pożyczyć tę płytkę? – On jest the best.
	10. I don't know	10	– Aśka jest the beściara. – Gdzie jest Baśka? I don't know. – I don't know. Pewnie namierzyła pewnego gościa i pognała za nim.
	11. I love you/lovciam cię/ /lovusiam cię	10	– Lovciam cię jak nikogo na świecie. – Wiesz, że I love you.
	12. shit	10	– Oh shit, ale zimno. – Shit, kartkóweczka!
Boys (66 respondents)	1. fuck	59	– Zjechałem to, fuck! – Fuck, ale boli mnie noga.
	2. ok/oki/okey	51	– Ok, przyjdę po ciebie o piątej. – Ok, nie ma sprawy.
	3. sorry	40	– Sorry, ale na serio zjechałem. – Sorry za spóźnienie.
	4. motherfucker/madafaka	24	– Ale z ciebie jebany madafaka! – Wał się na ryj, madafaka!
	5. fuck you	22	– Fuck you, you dumb fuck! – Fuck you, ty wyrwidole osrany.
	6. shit/holy shit	21	– Kurwa, ale to jest shit! – Ja pierdole, ale odjebaliście shit.
	7. bitch	18	– Co jest bitches? – Ooooo... ale bitch! – Kręćcie dupciami, bitches!
	8. fuck off	16	– Fuck off, koleś, nie denerwuj mnie, bo oberwiesz! – Fuck off, ty mały okurwieńcu.
	9. nigga	16	– Wossup nigga! (to one's friend) – Co tam nigga?
	10. cool	15	– Cool, jest impreza. – To jest naprawdę cool. W życiu takiego czegoś nie widziałem.

cont. table 2

1	2	3	4
	11. what's up dog/man	15	– Wossup dog! Co robisz? – What's up dogs! Wy przejebane gówna, co u was?
	12. lookać/lukać/oblukać	13	– Idziemy polukać, jak grają w piłkę. – Looknij na tą stronę. – Fajne fureksy, lukniemy do środka.
	13. fakaj się/fuckaj się	10	– Fakaj się, pedale. Jesteś zwykły frajer. Pierdol się. – Fuckaj się, ty rusko kurwo!
	14. suck my dick	10	– Suck my dick, chuju jebany! – Suck my dick, ty kapiszonie pierdolony!
	15. baby/babe	10	– Fajny tyłeczek, baby! – Pa, baby!

\* The percentages given in the table specify a number of students from the group who quoted particular items.

Comparing the above lists of loanwords, one may come to the conclusion that Polish teenagers at the gymnasium and secondary school level reveal a great tendency for adopting and using in their speech a similar set of English words and expressions which are sometimes modified in their spelling and pronunciation and which are blended with Polish elements in order to suit the youth's communicative needs. An observation to be made at this point is that teenagers of both sexes turn to vulgar and obscene words in their talk, which is also proven by the findings of other researchers [e.g. Garcarz 2005]. Elaborating on this observation, one should, however, note that the growth of slangy expressions, swearwords and derogatory terms is very characteristic of the language used by secondary school males who have a considerable number of English lexical units at their disposal and who operate these items more frequently than other examined groups, as it is signalled by the responses gathered in the table below:

Table 3

The frequency of use of English words in the examined groups

Level	Group	The frequency of use of English words*		
		very frequent	frequent	rare
Gymnasium	girls	22%	44%	34%
	boys	27%	53%	20%
Secondary school	girls	15%	44%	41%
	boys	38%	41%	21%

\* The percentages provided in the table present an approximate number of teenagers giving a particular response.

One of the most interesting dimensions in relation to the subject matter is also specifying the reasons for adopting English loanwords by Polish teenagers. Considering this issue one should turn directly to the responses of the examined groups which particularly emphasize the need of young people to be trendy, funny, original and very

expressive. Young people claim that thanks to the adaptation of foreign words to their speech, they can sound better, communicate more easily, reflect their thoughts and feelings more efficiently and exchange information with other group members in a faster way.

As for the channels of transmitting English words to the language of the Polish youth, the respondents accentuate the importance of such means as television, the internet, films, computer games as well as song lyrics. They also stress the influence of one's social environment, in particular, friends who appear to contribute significantly to the adaptation of English by teenagers. Bearing these in mind, it is essential now to provide some concluding remarks to the subject under discussion, which is a notion to be dealt with in the passage below.

### Concluding remarks

The variety of a linguistic code presented above with its loanwords (e.g. *cool*, *sorry*), foreign and native slangy and vulgar expressions (e.g. *fuck*, *shit*, *kurwa*, *rozjebany*), neologisms (e.g. *fureksy*, *bitchiska*) and a set of added prefixes and suffixes (e.g. suffix *-owy* in *coolowy*), turns out to be an efficient and powerful system for its speakers. It can convey anything that standard language can, although it may do so by different means. This is why teenage speech with English loanwords should be seen not as a problem but as a part of the linguistic diversity which enriches modern life. It plays an important role in expressing the concepts, ideas and ways of behaviour of the young generation. Thus, it should be treated as a phenomenon which makes human communication fresh and "full of flavour". The words, phrases and sentences presented above seem to hold a significant position in teenagers' speech and function as a useful source of expressing young people's feelings and emotions.

### Bibliography

- Burkhanov, I. (1998). *Lexicography. A Dictionary of Basic Terminology*. Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, pp. 32–33.
- Cienkowski, W. (1964). *Ogólne założenia metodologiczne badania zapożyczeń leksykalnych*. *Poradnik Językowy*: 417–429.
- Duszak, A. (2002). *Words and Social Identities*. In: A. Duszak (ed.). *Us and Others*. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, pp. 213–231.
- Fisiak, J. (1970). *The Semantics of English Loanwords in Polish*. *Studia Anglica Posnaniensia* 2: 41–49.
- Garcarz, M. (2005). *English in the Polish Mouth. A Sociolinguistic Analysis of the English Slangy Words and Phrases Used by Young Poles*. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 2782: 83–94.
- Jacobson, L. (1993). *Language Change and Language Types*. In: B. Lewandowska-Tomaszczyk (ed.). *Ways to Language*. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 168–190.
- Krawiec, M. (2007). *English Words Adopted and Used by Polish Graffiti Writers. A Review of Socio-Linguistic Aspects*. *Acta Neophilologica* IX: 53–63.

- Lopatkin-Easton, E. (1993). *In the Russian-English Lexis. The "Recognizability Factor" as a Tool for Teaching ESL to Russian-Speaking Adults*. Online <[www.eleaston.com/re1/re11.html#2](http://www.eleaston.com/re1/re11.html#2)> (February 2006).
- Mańczak-Wohlfeld, E. (1995). *Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim*. Kraków, Universitas.
- Mize, B. *History of The English Language: Loanwords*. Online <[www.unc.edu/~bmize/hel/loanwords/](http://www.unc.edu/~bmize/hel/loanwords/)> (February 2006).
- Romaine, S. (1995). *Bilingualism*. Oxford, Blackwell.
- Sapir, E. (1921). *Language. An Introduction to the Study of Speech*. New York.
- Satkiewicz, H. (1994). *Norma polszczyzny ogólnej a języki subkultur*. *Język a kultura* 10: 9–17.
- Tomaszczyk, J. (1993). *Languages in Contact*. In: B. Lewandowska-Tomaszczyk (ed.). *Ways to Language*. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 249–288.

## Summary

### English Words in the Talk of Polish Teenagers. A Review of Sociolinguistic Aspects

The following article primarily deals with the notion of lexical borrowing. It particularly emphasizes the process of adopting English loanwords by Polish teenagers who in this way reflect their views, beliefs and feelings as well as accentuate their sense of belonging and their presence in the society.

Apart from encapsulating opinions and observations of scholars on this subject, the article provides an extensive amount of empirical data which comes from the survey conducted among young Poles in March 2007. This data is presented by the author with the aim of issuing a list of English loanwords commonly adopted by Polish teenagers for whom these words function as an important part of their daily communication. The use of these items is exemplified in the article by various sentences which were quoted by teenagers participating in the research. The sentences in fact illustrate how foreign units are incorporated to the Polish system and in what social contexts they are applied by the youth.

An analysis of the data is also carried out here to assist the author in classifying English loanwords into certain semantic fields and in distinguishing and comparing the codes developed by boys and girls at the gymnasium and secondary school level.

The article in the final part enumerates the reasons for adopting English words by Polish teenagers and discusses the most influential channels by means of which the transmission of lexical borrowings takes place.



**Joanna Nawacka**

Instytut Neofilologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

## CHARAKTERYSTYKA SEMANTYCZNA I STRUKTURALNA FRAZEOLOGIZMÓW NOMINUJĄCYCH KONCEPTY MIŁOŚCI, EROTYKI I SEKSU WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM ŻARGONIE MŁODZIEŻOWYM

**Key words:** semantic classification, lexical-grammatical classification, structural-semantic classification, fixed phraseological units (idioms), set phrases

Nowe frazeologizmy, czyli nowe ustabilizowane połączenia wyrazowe, powstają nieustannie w toku codziennych kontaktów językowych. We współczesnym języku rosyjskim można odnotować ich wiele; wywodzą się głównie z gwar środowiskowych, m.in. z żargonu młodzieżowego. Dzięki swej wyrazistości i obrazowości związki te mogą wchodzić i wchodzić do powszechnego obiegu. Młodzieżowy żargon rosyjski nazywający miłość, erotykę i seks także odnotowuje wśród swych zasobów wiele frazeologizmów. W obrębie haseł określających miłość, erotykę i seks (wyekscerpowanych z następujących słowników żargonowych: *Большой словарь русского жаргона* W.M. Mokijenki i T.G. Nikitiny<sup>1</sup>, *Словарь московского арга* W.S. Jelistratowa<sup>2</sup>, *Словарь русского арга (материалы 1980–1990-х гг.)* W.S. Jelistratowa<sup>3</sup>, *Словарь русского сленга* I. Juganowa i F. Juganowej<sup>4</sup>, *Так говорит молодёжь. Словарь молодёжного сленга* T.G. Nikitiny<sup>5</sup>, *Молодёжный сленг. Толковый словарь* T.G. Nikitiny<sup>6</sup>) znajduje się 685 frazeologizmów.

Klasyfikacja semantyczna, uwzględniająca stopień łączliwości wyrazów, rozróżnia związki frazeologiczne luźne, związki frazeologiczne łączliwe i związki frazeologiczne stałe.

<sup>1</sup> В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина, *Большой словарь русского жаргона*, Санкт-Петербург 2000.

<sup>2</sup> В.С. Елистратов, *Словарь московского арга*, Москва 1994.

<sup>3</sup> В.С. Елистратов, *Словарь русского арга (материалы 1980-1990-х гг.)*, Москва 2000.

<sup>4</sup> И. Юганов, Ф. Юганова, *Словарь русского сленга*, Москва 1997.

<sup>5</sup> Т.Г. Никитина, *Так говорит молодёжь. Словарь молодёжного сленга*, Санкт-Петербург 1998.

<sup>6</sup> Т.Г. Никитина, *Молодёжный сленг. Толковый словарь*, Москва 2003.

Związki frazeologiczne luźne to swobodne związki składniowe wyrazów łączonych doraźnie; jest to „zwykle zestawienie wartości znaczeniowej członów składowych”<sup>7</sup>. Nominacje nazywające miłość, erotykę i seks, które nie mają określonej łączności i nie wchodzą w skład stałych związków frazeologicznych, mogą tworzyć za każdym razem nowe luźne związki wyrazowe. Na przykład nazwy czynności seksualnych *баратся, барaxтаться, бодаться, бороться, впаривать, впарить, впендюрить* mogą być określone przysłówkami *круто, офигенно, охрененно, по чёрному, смачно*. Połączenia *круто баратся, офигенно барaxтаться, охрененно бодаться* to przykłady luźnych związków frazeologicznymi.

Kolejny typ związków to „związki frazeologiczne łączliwe, których stopień spistości jest duży, ale jest możliwa wymiana jednego lub kilku elementów w obrębie ograniczonej liczby wyrazów, zwykle bliskoznaczących”<sup>8</sup>. Frazeologizm *братъ на клык* – ‘odbyć oralno-genitalny stosunek płciowy’ jest związkiem łączliwym, gdyż czasownik *братъ* można zamienić czasownikami *принимать, кидать* i *давать*. Przykładami związków łączliwych są także kolejne frazeologizmy z podanymi w nawiasach wariantami łączliwości: *кинуть (бросить, вбить, забить, засунуть, вправить, вставить, поставит) палку* – ‘odbyć stosunek płciowy’; *игра на дудке (кларнете, флейте)* – ‘homoseksualny oralno-genitalny akt płciowy’; *красный богатырь (карандаш, партизан)* – ‘męski organ płciowy’; *наставит (насадит, настроит, нарисовать) рога* – ‘zdradzić, uwieść męża lub żonę’; *пролетарский (рабоче-крестьянский) болт* – ‘duży męski organ płciowy’; *скакать (ползать, вертеться) как вошь на гребешке* – ‘zachowywać się wyzywająco’; *шоколадная дырка (дырка, пятно, пятнышко)* – ‘odbyt’ (w języku homoseksualistów).

Związki frazeologiczne łączliwe są połączeniami pośrednimi pomiędzy związkami luźnymi i stałymi. Stałe związki frazeologiczne, czyli idiomy lub idiomatyzmy, to „związki wielowyrazowe o skostniałej formie gramatycznej i ustabilizowanym składzie słów”<sup>9</sup>. Idiomy są nieprzetłumaczalne na inne języki, są charakterystyczne dla danego języka. „Ich znaczenie jest zupełnie inne, niż wynika ze znaczeń każdego ze składników i z sumy tych znaczeń”<sup>10</sup>. Wśród nominacji odnoszących się do miłości, erotyki i seksu występują idiomy różnego rodzaju. W żargonie młodzieżowym używane są przede wszystkim idiomy rdzennie rosyjskie, np.: *ёлки зелёные, ёлки-палки* (wykrzykniki wyrażające emocje), *два брата акробата* – ‘para homoseksualistów’.

Idiomy stanowiące wykrzykniki wyrażające dowolne, różne emocje to swobodne przeróbki – trawestacje idiomów już istniejących w języku ogólnonarodowym: *ёлки-палки лес густой, ходит ванька холостой, ёлки-моталки*, lub trawestacje wulgaryzmów: *ё-моё, ё-твоё, ё-кэ-лэ-мэ-нэ, ё-кэ-лэ-мэ-нэйка, едрить тебя некому, ёж твою двадцать, ёж твою за ногу, ёж твою в дышло, ёж твою маму, ёксель-моксель, ёрики-маморики*, a także innowacje na wzór już istniejących: *ёк-макарёк, ёжки-мошки, ёлы-палы*.

<sup>7</sup> P. Müldner-Nieckowski, *Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego*, Warszawa 2003, s. 20.

<sup>8</sup> P. Müldner-Nieckowski, op. cit., s. 20.

<sup>9</sup> D. Podlaska, I. Pióciennik, *Leksykon nauki o języku*, Bielsko-Biała 2002, s. 144.

<sup>10</sup> P. Müldner-Nieckowski, op. cit., s. 15.



Idiomami są też spersonifikowane nominacje określające męski organ płciowy: *Василий Алибабаевич, Василий Гордеич, Дядя Фёдор, Демис Русос, Клим Садылыч, Луис Альбертович, Луис Альберто (Альбертович), Луис Альберто, Отец Онуфрий, Старик Гордеич, Старик Хоттабыч*, onanizm: *Дунька Кулакова*, aktywnego homoseksualistę: *Солидол Иванович*, dziewczęce: *Клара Целкин*, kobietę uczestniczącą w oralno-genitalnym akcie: *Вафлентина Защечкина*.

Przy tworzeniu nowych idiomów zostały wykorzystane także słowa obcojęzyczne, np. *айзы горят* (o czymś upragnionym), z ang. *eyes* – ‘oczy’; *выйти на палкин штрассе* – ‘zająć się miłością’, z niem. *Strasse* – ‘ulica’; *ловить/словить (поймать) кайф* – ‘odczuwać zadowolenie, rozkoszować się czymś’, z arab. *кейф* – ‘święto, odpoczynek’; *дальний бой* – ‘ prostytutka, obsługująca kierowców dalekich kursów’, z ang. *boy* – ‘chłopiec’; *стритен-гёрл* – ‘dziewczyna lekkich obyczajów’, z ang. *street-girl* – ‘uliczna dziewczyna’; *сэконд-хэнд* – ‘żonaty mężczyzna’, z ang. *second-hand* – ‘z drugiej ręki’; *фанфан-тольпан* – ‘męski organ płciowy’, od tytułu francuskojęzycznego filmu i przezwiska jego głównego bohatera.

Uwzględniając aspekt strukturalno-semantyczny frazeologizmów, w rosyjskiej klasyfikacji wyróżnia się<sup>11</sup>:

1) frazeologizmy konwersyjne (*конверсивные*), w których następuje przeciwstawienie, zaprzeczenie znaczenia pierwszego słowa drugim słowem, np. *мять – топтать* – ‘odbyć z kimś homoseksualny stosunek płciowy’, *оторвать и бросить* (o kobiecie lekkich obyczajów), *кино и немцы* (wyrażenie zachwytu, przyjemnego zdziwienia);

2) frazeologizmy – meronimy (*меронимные*), zawierające nazwy części pewnej całości (tu: twarzy i ręki), np. *засадить леденца за щеку* – ‘odbyć z kimś oralny stosunek płciowy’, *каменное лицо* (rodzaj gry seksualnej), *аж/ажник зубы вспотели* (o mocnym wrażeniu), *глаза в пучок, глаза по семь копеек* (o mocnym wzburzeniu, zdumieniu), *двадцать первый палец* – ‘męski organ płciowy’;

3) frazeologizmy przeciwstawne (*контрадикторные*), których znaczenie jest zaprzeczeniem znaczenia poszczególnych wyrazów, np. *и вся любовь* – ‘krótkotrwałe kontakty seksualne’;

4) frazeologizmy – mezonimy (*мезонимные*), podkreślające wypośrodkowane cechy nominacji, np. *на полшестого (стоять)* (o osłabionej, niepełnej erekcji), *на полишишечки* (o nieintensywnych stosunkach płciowych);

5) frazeologizmy gradualne (*градуальные*), wyrażające stopień nasilenia cechy nazwanego zjawiska, np. *глаза по семь копеек* (o mocnym wzburzeniu, zdumieniu), *грелка во весь рост* – ‘ prostytutka’, *брат меньшей* – ‘męski organ płciowy’;

6) frazeologizmy eufemiczno-kontra dyktoryjne (*эвфемически-контрадикторные*), składające się z co najmniej dwóch przeciwstawnych eufemistycznych członów, często charakteryzujące się gumentem, np. *висит груша, нельзя скушать* (o męskim organie płciowym), *два брата акробата* – ‘para homoseksualistów’, *кончил в тело – гуляй смело, кончил дело – слезай с тела* (o stosunku płciowym), *ни кола*

<sup>11</sup> Patrz: L. Mironiuk, referat wygłoszony na konferencji w Bratysławie w 2003 roku.

ни двора – ‘impotent bez mieszkania’, *сунул, вынул и пошел* (o nieodpowiedzialności mężczyzny w stosunkach płciowych), *что (есть) на проезд?* (pytanie o rozmiar członka);

7) frazeologizmy synonimiczne (*синонимические*), np. *быть в откиде, быть в отпаде, быть в (полном) обалдайсе, быть в откате* – ‘mocno się zdumieć, zadziwić’, *полный апофегей (апофигей), полный обсад, полный оттяг, полный улёт* (o czymś bardzo dobrym, pięknym, wywołującym zachwyt), *забить палку, забить пулю, забить сваю, забить шайбу* – ‘odbyć z kimś stosunek płciowy’;

8) frazeologizmy tautologiczne (*тавтологические*), w których powtarzają się takie same sylaby lub słowa, np. *ав-ав* – ‘oralno-genitalne stosunki’, *агу-агу* – ‘miłość, romans’, *вась-вась* – ‘bliskie stosunki, amory’, *делать динь-динь* – ‘zajmować się seksem’, *кис-кис* – ‘wzajemny pocałunek’, *кис-кис-мяу* – ‘dziecinna zabawa erotyczna’, *мур-мур* – ‘aktywny partner homoseksualny’, *па-де-де* – ‘homoseksualny akt płciowy’.

Zgodnie z klasyczną klasyfikacją frazeologizmów uwzględniającą budowę połączeń wyrazowych, wprowadzoną przez Stanisława Skorupkę w 1967 roku<sup>12</sup>, w wyeksponowanym materiale badawczym można wyróżnić frazy, zwroty i wyrażenia. Związki wyrazowe mające postać zdania lub równoważnika zdania, czyli frazy (14 haseł wynotowanych ze słowników żargonowych), to m.in. żartobliwe powiedzenia zachęcające do zawarcia znajomości, np. *измени походку, трусы жуешь*, określenie męskiego organu płciowego *висит груша, нельзя скушать* i dużego męskiego organu płciowego *десять раз вокруг ноги, через жопу в сапоги и на шею бантом*.

Interesującym frazeologizmem jest fraza *Вы слыхали, как поют слоны?*, będąca pytaniem – propozycją odbycia stosunku płciowego. Jest to żartobliwa przeróbka tytułu piosenki *Вы слыхали как поют дрозды?*, zrozumiała dla młodzieży znającej określenie dużego męskiego organu płciowego – *слон*.

Frazy występują także wśród frazeologizmów odnoszących się do nazw mężczyzn i kobiet. Fraza *баба должна быть с хорошими грудями, а мужик – с хорошими мудями* podkreśla zalety obojga płci, *понесло kota на случку* określa mężczyznę rozpustnika, *сунул, вынул и пошел* podkreśla nieodpowiedzialność mężczyzny po odbyciu stosunku płciowego, a *женщина, которая даёт* nazywa kobietę, która chętnie godzi się na stosunek płciowy. Ostatnia fraza jest trawestacją tytułu filmu muzycznego, w którym wystąpiła znana rosyjska piosenkarka Агла Pugaczowa: *Та женщина, которая поёт*. Natomiast stare porzekadło *наше дело не рожат* – *сунул, вынул и бежать* posłużyło za podstawę do utworzenia cytowanej już frazy *сунул, вынул и пошел*.

Trawestacją popularnego przysłowia *кончил дело – гуляй смело* są hasła mówiące o stosunku płciowym: *кончил в тело – гуляй смело* i *кончил дело – слезай с тела*, tak zwane antyprzysłowia. Ironiczna fraza *Дунька Кулакова приходит* odnosi się do onanizmu. *Дунька* to rosyjskie popularne imię rzekomej kobiety, a *Кулакова* – nazwisko

<sup>12</sup> S. Skorupka, *Słownik frazeologiczny języka polskiego*, Warszawa 1967.

od słowa *кулак* – w znaczeniu ‘pięść’. Frazy wyrażające emocje to: *мелочь в карманах плавится* i *выкрикиковые забодай меня комар!*

Kolejna strukturalna grupa frazeologizmów to zwroty – związki czasowników lub imiesłowów przysłówkowych z innymi wyrazami. Są to przede wszystkim hasła określające czynność odbycia stosunku płciowego: *бросить палку, буром переть, винт нарезать, иметь/поиметь харево*, ale także nazywające czynności zapoznawania się, zalecania: *лямуры крутить, лямуры разводить, подбивать клинья*, stan zakochania: *в западе быть*, stan odczuwania pozytywnych emocji: *быть в откате, быть в откиде, быть в отпаде*. Wśród wynotowanych zwrotów znajdują się także zwroty szeregowy: *мять – топтать* – ‘odbyć stosunek seksualny’ i *оторвать и бросить* (o kobiecie prostytutce).

Licznie reprezentowana grupa frazeologizmów to wyrażenia – związki wyrazów mające charakter rzeczownikowy (nominalny, imienny), a także połączenia przyimkowe, przysłówkowe i spójnikowe:

– rzeczownikowe: *аграрный вопрос, божий леденец, брат меньшей, каменный гость* – ‘męski organ płciowy’; *бляха медная, железная тёлка, ночная бабочка, уличная фея* – ‘prostitutka’;

– przyimkowe: *по-офицерски, по-чёрному* (w znaczeniu: ‘bardzo mocno’), *на полишищечки на шампур* (o stosunku płciowym);

– przysłówkowe: *чисто тайд* – ‘w porządku, doskonale’;

– spójnikowe: *ни кола ни двора* – ‘impotent bez mieszkania’.

Wśród wyrażeń frazeologicznych zdarzają się też połączenia wyrazów tej samej kategorii, zwane wyrażeniami szeregowymi, np. *обалдемон и мелкий потряс* – ‘silne emocje’, *кино и немцы* (wyrażenie zachwytu, przyjemnego zdziwienia).

Leksykalno-gramatyczna charakterystyka frazeologizmów uwzględnia treść frazeologizmu, tj. jego leksykalne znaczenie i kategorie gramatyczne. W rosyjskiej klasyfikacji, podobnie jak w polskiej, wyróżnia się następujące rodzaje frazeologizmów<sup>13</sup>:

1) nominalne (*именные*), np. *аграрный вопрос, аленький цветочек, анютина глазка, белый клык, брат меньшей, гусья шея, железный дровосек, кожаная игла, кожаный движок, кукуши волосатый* – ‘męski organ płciowy’, *бановая бикса, бановая герла, бляха медная, валютная девочка, девочка 96-й пробы, лёгкая девочка* – ‘prostitutka’;

2) czasownikowe (*глагольные*), np. *быть в засаде, быть счастливым, взять на таран, взять (натянуть, сажать / посадить) на болт, винт нарезать, впрыснуть (дать) в прелку (в прелку), вставить / вставлять фитиль, дать в кукушку, дать в соседку, дать прикурить сырую сигаретку, дать / давать туда, делать смоктунковского, забить палку, забить пулю, забить сваю, заехать в коричневое, заехать в шоколадный цех, заехать в коричневое, закинуть в топку, закинуть удочку, играть на дудке, играть на гитаре, кидать палку* – ‘odbywać z kimś stosunek płciowy’, *балду гонять, гоняться за двумя яйцами*,

<sup>13</sup> *Фразеологический словарь русского языка*, под ред. Ф.И. Молоткова, Москва 1978, s. 7.

*гонять шары, гонять шершавого, гонять шкурку, гонять дуньку кулакову, дёргать гуся* – ‘onanizować się’;

3) przymiotnikowe (*адъективные*), np. *один в Одессе* – ‘piękny, wspaniały’;

4) przysłówkowe (*адverbium, адвербиальные*), np. *в ауте* – ‘silne zdziwienie, zdumienie’, *в оттяг, в покат* – ‘dobrze, doskonale’, *в кайф, в тягу, по кайфу* – ‘przyjemnie, z radością’, *на полиестого (стоять)* (o osłabionej, niepełnej erekcji), *на полишиечки* (o nieintensywnych stosunkach płciowych), *на приходе* – ‘przed ejakulacją, przed orgazmem’, *не в маяк* – ‘bez pociągu seksualnego’, *не отходя от кассы* – ‘w trakcie stosunku płciowego’, *по-офицерски, (по-офицерски) на шампур* (pozycja podczas stosunku płciowego), *по-собачьи* (o homoseksualnym akcie płciowym w wejściu, na ławce), *по тяге* – ‘z zadowoleniem’, *по-чёрному* – ‘bardzo mocno’, *у катки* – ‘na skwerze przed Teatrem Aleksandrowskim w Sankt-Petersburgu’;

5) czasownikowe (*глагольно-пропозиционные*), znaczeniowo nazywające czynności i stany, strukturalnie zbudowane jak zdania, np. *аж/ажник зубы вспотели* (o mocnym wrażeniu), *баба должна быть с хорошими грудями, а мужик – с хорошими мудями* (o zaletach płci), *баба смотрит не на рубаху, а на забабуху* (o walorach mężczyzny), *без артикля не употребляется* (o człowieku seksualnie zaniepokojonym), *висит груша, нельзя скушать* (o męskim organie płciowym), *все виды на улице* (o obnażonych organach płciowych), *десять раз вокруг ноги, через жопу в сапоги и на шею бантом* (o dużym męskim organie płciowym), *измени походку, труссы жуешь* (zaproszenie do zawarcia znajomości), *орехи звенят* (o silnym stanie podniecenia seksualnego), *пень дымит* (o erekcji), *понесло кота на случку* (o mężczyźnie oddającym się rozpuszcieniu, rozpasaniu, hulance), *радости полные штаны* (wyrażenie radości, zachwytu), *расслабон хляет (хлябает)* (o relaksacji, pełnym rozluźnieniu w czasie odpoczynku), *рейтинг упал* (o niepełnej erekcji, o impotencji), *что (есть) на проезд?* (pytanie o rozmiar członka), *шуба заворачивается* (o stanie zadowolenia, rozkoszy);

6) wykrzyknikowe (*междометные*), np. *я тащусь!* (wyrażenie zachwytu, podziwu), *смерть птенцу!* (wyrażenie zachwytu, uniesienia), *эх, Морозова!*, *ёлки-моталки, ёлы-палы, ёлки-палки, ё-кэ-лэ-мэ-нэ, ё-кэ-лэ-мэ-нэйка, ёк-макарёк, ёксель-моксель, ёжки-мошки* (wyraża każdą emocję), *гаси (туши) свет!* (wyrażenie zdziwienia, zdumienia, zachwytu).

Wśród nominacji ponadwyrazowych znajdują się także nominacje, w skład których wchodzi zapożyczenia. Są to frazeologizmy, w których jeden człon stanowi zapożyczenie z języka angielskiego: *лежать в тугезе* – ‘odbywać stosunek w pozycji leżącej’, z ang. *together* – ‘razem’; *рейтинг упал* (o niepełnej erekcji, o impotencji), z ang. *rating* – ‘wskaźnik, oznacznik’; *чисто тайд* – ‘w porządku’ (od nazwy znane-go z reklam proszku do prania Tide), i z języka niemieckiego: *палкин страссе* – ‘akt płciowy’, od *палка* + *Strasse* – ‘ulica’.

Przeprowadzona analiza semantyczna i strukturalna materiału badawczego pozwala na wysunięcie następujących wniosków:

1. Nominacje ponadwyrazowe to przede wszystkim frazeologizmy nominalne i czasownikowe; wynotowane spośród nominacji określających miłość, erotykę i seks

stanowią najliczniejsze formacje. Frazeologizmy przysłówkowe i wykrzyknikowe stanowią zdecydowanie mniejsze grupy, natomiast przymiotnikowy frazeologizm jest tylko jeden.

2. Z uwagi na ilość nominacji frazeologicznych badany socjolekt wykazuje wyjątkową dynamikę, jest językiem świeżym i odkrywczym. Rodzi to jednakże problemy komunikacyjne w obrębie nosicieli socjolektu. Żargon młodzieżowy jest w tej sytuacji językiem kontekstualnym, zrozumienie przekazu, użytych pojęć zależne jest od sytuacji, częstokroć przekazu niewerbalnego.

3. Wielość frazeologizmów wskazuje, że żargon młodzieżowy składa się z szeregu języków indywidualnych. Tworzony jest przez grupy, które częstokroć mają ograniczoną styczność ze sobą, w tym przez grupy nieformalne. Używanie wybranych żargonizmów ma charakter integrujący w obrębie grupy. Nominacje, w zależności od ich atrakcyjności, wykazują mniejszy lub większy zasięg terytorialny, jak również trwałość. Część omawianych w rozprawie nominacji w chwili obecnej może już zatem nie funkcjonować.

### **Summary**

#### **The Semantic and Structural Description of Phraseologisms Nominating Concepts of Love, Eroticism and Sex in the Contemporary Russian Youth Jargon**

This article presents the description of phraseologisms nominating concepts of love, eroticism and sex in the contemporary Russian youth jargon. The analysis is based on 685 dictionary entries chosen from the contemporary jargon dictionaries.



**Monika Piotrowska-Mazurowska**

Instytut Neofilologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

## O FRAZEOLOGIZMACH WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM ŻARGONIE NARKOMANÓW

**Key words:** phraseologism, jargon, semantic classification, synonymous variants, lexical-grammatical classification

Chociaż „jedną z mniej zbadanych sfer funkcjonowania frazeologii jest dziedzina codziennej ustnej komunikacji ludzkiej, gdyż za frazeologią stoi przede wszystkim tradycja tekstów pisanych” [Chlebda 1996: 15], przedmiotem niniejszego artykułu uczyniono właśnie ponadwyrazowe nominacje narkotyczne, zakładając, że każdy żargonizm narkotyczny zbudowany z dwóch lub więcej członów jest frazeologizmem. Na pewno część badanych frazeologizmów to frazeologizmy krótkotrwałe i ograniczone w zasięgu do osobistych kontaktów narkomanów między sobą. Jeśli jednak dane grupy ludzi posługiwały się pewnymi wyrażeniami w określonym czasie i w określonych sytuacjach, to te „wyrażenia były frazeologiczne [...] *względem* danych grup ludzi i *względem* danych odcinków czasowych, czyli wszędzie i zawsze tam, gdzie były faktycznie używane; mówiąc inaczej, wszędzie i zawsze tam, gdzie były używane, były odtwarzane, a więc frazeologiczne” [Chlebda 1996: 23]. Warto także pamiętać o tym, że „frazeologiczność jest wartością względną” [Chlebda 1996: 23].

Podstawą analizy stały się 274 związki frazeologiczne, wyekscerpowane z następujących publikacji leksykograficznych: *Словарь московского арга* W.S. Jelistratowa [Елистратов 1994], *Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона* O.P. Jermakowu, J.A. Ziemskiej i R.I. Roziny [Ермакова, Земская, Розина 1999], *Большой словарь русского жаргона* W.M. Mokijenki i T.G. Nikitiny [Мокиенко, Никитина 2000], *Так говорит молодёжь. Словарь молодёжного сленга* T.G. Nikitiny [Никитина 1998], *Сленг хиппи. Материалы к словарю* F.I. Rożan-skiego [Рожанский 1992], *Словарь русского сленга (сленговые слова и выражения 60-90-х годов)* I. Juganowa i F. Juganowu [Юганов, Юганова 1997].

W nominacjach narkotycznych dają się zaobserwować wszystkie rodzaje związków wydzielonych według kryterium semantycznego, tj. ze względu na stopień zespolenia znaczeniowego składników związku: związki luźne, łączliwe i stałe.

Po pierwsze, nominacje narkotyczne mogą tworzyć związki luźne, doraźnie wchodzić w dowolne połączenia z innymi żargonizmami, np. *ценануло движка*,

*нарка, наркошу, пыжика, таракана, торчка; обкуриться анашой, дрянью, дурехой, зеленью, планом, соломкой, травой; обкуриться в грязь, в говно, вдребадан, вдребезень; трескаться антрацитом, беляшкой, винтом, керосином, ширкой; бедой* вмолоться, двинуться, обсадиться, обширяться, промазаться.

Drugą grupę stanowią związki frazeologiczne łączliwe, „których stopień spoistości jest duży, ale jest możliwa wymiana jednego lub kilku elementów w obrębie ograniczonej liczby wyrazów, zwykle bliskoznacznych” [Müldner-Nieckowski 2003: 20], np. *пыль небесная, серебряная* – ‘kokaina’; *пятку свернуть, смять* – ‘podkreślić koniec dopalanego papierosa, aby ubić część zawierającą narkotyk i wypalić go do końca’; *яда заглотить, захавать* – ‘zażyć narkotyki’; *с иглы сойти, соскочить, прыгнуть* – ‘przestać wprowadzać sobie narkotyk dożylnie’; *до джефа дойти, доползти* – ‘udać się do apteki po efedrynę; udać się do apteki po tabletki, które mogą być wykorzystane jako narkotyki’; *вальты прилетели, катят* – ‘ktoś zachowuje się jak nienormalny’.

Można również wyodrębnić związki frazeologiczne stałe, których znaczenie nie wynika z sumy znaczeń poszczególnych elementów, np. *давать по мозгам* – ‘palić haszysz’; *джа экспресс* – ‘wdmuchiwanie dymu haszyszowego w usta kolejnej osoby’; *золотой укол* – ‘ostatnia (przed śmiercią) iniekcja narkotyku, dostarczająca narkomanowi szczególnie silnej rozkoszy’; *израть в ихтиандра* – ‘cierpieć z powodu torsji’; *морозить косяк* – ‘trzymać papieros z marihuaną nie paląc go, zgasić i zostawić „na potem” papieros z marihuaną’; *смотреть мультики* – ‘zażywać halucynogenne preparaty medyczne jako narkotyk’; *проехать по ушам* – ‘w czasie działania narkotyku emocjonalnie opowiadać rozmówcy coś niezbyt interesującego’.

Od strony semantycznej frazeologizmom narkotycznym właściwa jest polisemiczność i monosemiczność. Wieloznaczne stanowią nieliczną grupę (tylko 5,5% wszystkich związków frazeologicznych), jedna nominacja dotyczy nazw narkotyków: *Леди Хэмп* – 1) ‘marihuana’, 2) ‘haszysz’; jedna – nazw narkomanów: *наркота зеленая* – 1) ‘skończony narkoman, narkoman, którego czeka śmierć’, 2) ‘narkomani’. Pozostałe polisemiczne związki frazeologiczne określają nazwy stanów psychofizycznych oraz sposobów przyjmowania narkotyków: *быть в хумаре/в хумарах* – 1) ‘odczuwać syndrom abstynencyjny’, 2) ‘odczuwać stan głodu narkotycznego’, 3) ‘być w stanie euforii narkotycznej’; *горбатый приход* – 1) ‘wielokrotne przeżywanie stanu euforii narkotycznej po jednorazowym zażyciu środka psychotropowego’, 2) ‘długotrwały stan euforii narkotycznej, długotrwałe działanie środka psychotropowego’; *загибаться от вольного* – 1) ‘wachać kokainę na cudzy koszt’, 2) ‘znajdować się w stanie upojenia narkotycznego’; *заловить (словить) приход* – 1) ‘odczuć stan euforii wywołanej użyciem narkotyku’, 2) ‘zdobyć narkotyki’; *кум мучает* – 1) ‘o stanie syndromu abstynencyjnego’, 2) ‘o kiepskim настрою, depresji’; *подсадить на иглу* – 1) ‘siłą wprowadzić komuś narkotyk’, 2) ‘przyzwyczaić kogoś do zażywania narkotyków’; *сесть на иглу* – 1) ‘zacząć zażywać narkotyki’, 2) ‘wstrzykiwać narkotyk’, 3) ‘znajdować się w stanie upojenia narkotycznego’; *сидеть на винте* – 1) ‘regularnie robić sobie zastrzyki z perwityny’, 2) ‘być w stanie upojenia narkotycznego’.



Frazeologizmy wchodzą również w układy synonimiczne. Szeregi synonimiczne tego rodzaju nazw szczególnie obficie występują w sferze nominacji narkotyków oraz czynności związanych z przyjmowaniem narkotyków, np.: *божья коровка* – *божья трава* – *дурь центровая* – *дрянь большая* – *турецкий табак* – ‘haszysz’; *белая леди* – *белый кайф* – *коричневый сахар* – *чёрный сахар* – ‘heroina’; *белая пудра* – *небесная пыль* – *серебряная пыль* – ‘kokaina’; *быть на дозняке* – *захавать яда* – *нахвататься моли* – *сесть на препарат* – *сидеть на дозе* – ‘zażyć narkotyk’; *вмазать винтом по вене* – *знять (пустить) по вене* – *двигать по вене (в вену)* – *насос гудит (кому-либо)* – *двигать по вене* – *пихнуть колючего* – *разогнать комара* – *поймать ширево* – *сидеть на игле* – ‘wprowadzić/wprowadzać narkotyk przy pomocy iniekcji’; *взорвать косяк* – *запускать самолетик* – *общаться с Леди Хэмп* – *плыть по плану* – *просечься в зелень* – ‘palić narkotyki’; *бросить на кишку* – *глотать колеса* – *дружить с аптекой* – *сидеть на колёсах* – ‘przyjąć środek narkotyczny w tabletkach’.

Ponieważ problem rozgraniczenia synonimii i wariacji we frazeologii jest kwestią trudną, która dotychczas nie doczekała się zadowalającego rozwiązania, żadne z kryteriów podziału nie jest bezsporne i powszechnie przyjmowane [Buttler 1982: 31]. Przyjmujemy za A.M. Lewickim, że „wariantywność jest podtypem synonimii, a zbiór wariantów związku frazeologicznego jest podzbiorem jego synonimów” [Lewicki 1982: 38].

W analizowanych związkach frazeologicznych można wydzielić następujące typy wariantów synonimicznych:

#### 1. Warianty fonologiczne:

*долбить кумар* / *долбить кумор* – ‘przebywać w stanie głodu narkotycznego’; *замастырить косяк* / *замостырить косяк* – ‘napełnić papierosa substancją narkotyczną (marihuana, haszyszem)’.

#### 2. Warianty morfologiczno-gramatyczne:

*быть в тупняке* / *быть в тупняках* – ‘odczuwać stan głodu narkotycznego’; *быть в хумаре* / *быть в хумарах* – 1) ‘odczuwać syndrom abstynencyjny’, 2) ‘odczuwać stan głodu narkotycznego’, 3) ‘być w stanie euforii narkotycznej’; *ловить тупняка* / *ловить тупняки* – ‘odczuwać stan głodu narkotycznego’; *падать (упасть) на хвост* / *падать (упасть) на хвоста* – ‘zażyć, otrzymać dawkę narkotyku na cudzy rachunek’.

#### 3. Warianty słowotwórcze:

*божья трава* / *божья травка* – ‘narkotyki (np. haszysz)’; *забить коую* / *забить коуху* / *забить косяк* – ‘wypalić papierosa napełnionego narkotykiem’; *забить косяк* / *забить косячок* – ‘napełnić papieros substancją narkotyczną (marihuana, haszyszem)’; *находиться в замороке* / *находиться в заморочке* – ‘nie rozumieć czegoś, będąc pod wpływem narkotyku’; *пустить паровоз* / *пустить паровозик* – ‘palić papieros z narkotykiem w określony sposób’.

#### 4. Warianty leksykalne:

*бросить на кишку* / *кинуть на кишку* – ‘przyjąć środek farmakologiczny w tabletkach w celach niemedycznych’; *знять по вене* / *пустить по вене* / *двигать по*

*вене* – ‘wprowadzać narkotyki dożylnie’; *заглотить яда / захавать яда* – ‘zażyć narkotyki’; *коричневый сахар / черный сахар* – ‘heroina’; *небесная пыль / серебряная пыль* – ‘kokaina’; *Полина Ивановна / Полина Фёдоровна* – ‘politura, lakier spirytusowy z dodatkiem żywicznych substancji, wykorzystywany przez toksykomanów jako środek narkotyczny’; *свернуть пятаку / смять пятаку* – ‘podkreślić koniec dopalanego papierosa, aby ubić część zawierającą narkotyk i wypalić go do końca’; *смешной табак / турецкий табак* – ‘haszysz’; *сойти с иглы / соскочить с иглы / прыгнуть с иглы* – ‘przestać wprowadzać sobie narkotyk dożylnie’; *шнягу замутить / шнягу запоганить* – ‘wyprodukować narkotyk domowym sposobem’.

W nominacjach narkotycznych ze względów formalnych, tj. ze względu na postać gramatyczną wyrazów, wyróżniamy (za Stanisławem Skorupką) [por. Kania, Tokarski 1984: 209] trzy typy związków frazeologicznych: wyrażenia, zwroty i frazy.

Wśród 62 wyrażen wyodrębnić można frazeologizmy, w których ośrodkiem wyrażenia jest rzeczownik (54). Najczęściej są to związki dwuwyrazowe składające się: 1) z rzeczownika i przymiotnika, który może występować przed wyrazem określanym lub po nim, np.: *белая леди* – ‘heroina’; *божья трава* – ‘narkotyki (np. haszysz)’; *гусиные лапки* – ‘tabletki narkotyczne’; *золотой укол* – ‘ostatnia (przed śmiercią) iniekcja narkotyku, dostarczająca narkomanowi szczególnie silnej rozkoszy’; *кольмский глоток* – ‘ostatni duży łyk (zwykle bardzo mocnego naparu herbaty)’; *дырявая нитка* – ‘miejsce na granicy, przez które przerzuca się narkotyki’; *серебряная пыль* – ‘kokaina’; *коричневый сахар* – ‘heroina’; *центровое курево* – ‘haszysz’; *дрянь больная* – ‘haszysz niskiej jakości’; *дурь жената* – ‘marihuana, haszysz zmieszany z tytoniem’; *лягушка грязная* – ‘handlarz narkotyków, który chowa je pod ubraniem na brzuchu’; *наркота зеленая* – 1) ‘skończony narkoman; narkoman, którego czeka śmierć’, 2) ‘narkomani’; *шифер пухлый* – ‘handlarz narkotykami na dużą skalę’; *яма дурная* – ‘melina narkomanów’;

2) z dwóch rzeczowników, np. *кусок кайфа* – ‘porcja narkotyku’; *эликсир бодрости* – ‘bardzo mocny napar herbaty’; *лягушка с икрой* – ‘handlarz narkotyków z towarem’; *планочка с баном* – ‘puszka z haszyszem’; *джа экспресс* – ‘wdmuchiwanie dymu haszyszowego w usta kolejnej osoby’. Wśród tego typu wyrażen nieliczne, odnoszące się do nazw narkotyków, stanowią przykłady antonomazji: *Борис Федорович* – ‘klej „БФ”, wykorzystywany jako środek narkotyczny’; *леди Хэмп* – 1) ‘marihuana’, 2) ‘haszysz’; *Мария Ивановна* – ‘marihuana’; *Полина Ивановна* – ‘politura, lakier spirytusowy z dodatkiem żywicznych substancji, wykorzystywany przez toksykomanów jako środek narkotyczny’; *Полина Фёдоровна* – ‘politura, lakier spirytusowy z dodatkiem żywicznych substancji, wykorzystywany przez toksykomanów jako środek narkotyczny’.

W jednym przypadku wyrazem określanym jest liczebnik: *полтора глаза* – ‘tabletki cyklodolu wykorzystywane jako substancja narkotyczna’.

Do wyrażen zalicza się również wyrażenia przyimkowe (7):

*под балдой* – ‘w stanie euforii narkotycznej’; *под кайфом* – ‘w stanie euforii narkotycznej’; *на колесах* – ‘o człowieku znajdującym się pod wpływem narkotyków lub alkoholu’; *под колесами* – ‘o stanie upojenia narkotycznego’; *на присосках* –

‘o człowieku znajdującym się pod działaniem perwityny’; *под торчем* – ‘pod wpływem narkotyku, w stanie euforii narkotycznej’; *под феном* – ‘pod wpływem fenaminy’.

Najliczniej reprezentowane są związki o charakterze werbalnym, czyli zwrotu. Odnotowano ich aż 209, czyli ok. 76% wszystkich frazeologizmów. Są to głównie jednostki o ograniczonej łączliwości, np. *бомбить холодильник* – ‘wyjadać całą żywność z lodówki (przy silnym uczuciu głodu, pojawiającym się na końcu odurzenia haszyszem)’; *видеть бредульки* – ‘mieć halucynacje’; *вмазать винтом по вене* – ‘zrobić zastrzyk dożylny z perwityny’; *втыкать марашет* – ‘wachać kokainę’; *дать наколку на гонца* – ‘wskazać człowieka, u którego można kupić większą partię narkotyków’; *двигать по вене* – ‘wprowadzać narkotyki dożylnie’; *держатъ на поводке* – ‘utrzymywać członka grupy narkomanów w niewolniczej zależności z powodu długów’; *дружить с аптекой* – ‘używać środków farmakologicznych jako narkotyków’; *играть в ихтиандра* – ‘cierpieć z powodu torsji’; *косить трын-траву* – ‘zbierać plony konopi tych gatunków’; *ловить (поймать) глюки* – ‘mieć halucynacje’; *мучмарить фомку* – ‘zażywać LSD lub grzyby psylocybinowe’; *общаться (пообщаться) с Леди Хэмп* – ‘palić marihuanę’; *пихнуть колючего* – ‘zrobić zastrzyk z narkotyku’; *подлечить косяк* – ‘z naderwanego lub złamanego papierosa z marihuaną uczynić nadającego się do użycia’; *пойти похехекать* – ‘napalić się haszyszu’; *просечься в зелень* – ‘palić papierosy z substancją narkotyczną’; *пустить паровозик* – ‘palić marihuanę w określony sposób’; *смотреть мультики* – ‘zażywać halucynogenne preparaty medyczne jako narkotyk’; *тащиться в белом* – ‘zażywać fenaminy’; *щёлкнуть хвостом* – ‘umrzeć’.

W analizowanych przykładach występują również elementy zdolne do łączenia się z wieloma nazwami, np. czasownik *быть* posłużył do utworzenia aż 15 zwrotów, przede wszystkim określających stan głodu narkotycznego i syndromu abstynencyjnego lub upojenia narkotycznego, np. *в астрале быть* – ‘przebywać w stanie upojenia (pod wpływem narkotyków, alkoholu)’; *быть в бедности* – ‘cierpieć z powodu braku narkotyków, znajdować się w stanie głodu narkotycznego’; *быть в волокуше* – ‘być w stanie upojenia narkotycznego’; *быть на дозняке* – ‘stać zażywać narkotyki’; *быть на кумаре* – ‘odczuwać syndrom abstynencyjny’; *быть в куморе* – ‘znajdować się w stanie głodu narkotycznego’; *быть в минимундусе* – ‘odczuwać upojenie narkotykowe’; *быть в трубе* – ‘znajdować się w jakimkolwiek skrajnym stanie emocjonalnym’; *быть в отходняке* – ‘odczuwać syndrom abstynencyjny’; *быть в пожаре* – ‘znajdować się w stanie euforii narkotycznej’; *быть в тупняке (в тупняках)* – ‘odczuwać stan głodu narkotycznego’; *быть в хандре* – ‘odczuwać stan głodu narkotycznego’; *быть в хумаре (в хумарах)* – 1) ‘odczuwać syndrom abstynencyjny’, 2) ‘odczuwać stan głodu narkotycznego’, 3) ‘być w stanie euforii narkotycznej’.

Znaczną potencję zwrototwórczą wykazuje również czasownik *сидеть*, np. *сидеть на винте* – 1) ‘regularnie robić sobie zastrzyki z perwityny’, 2) ‘być w stanie upojenia narkotycznego’; *сидеть на дозе* – ‘regularnie zażywać narkotyki’; *сидеть на игле* – ‘wstrzykiwać narkotyk’; *сидеть на измене* – ‘wystraszyć się, poczuć strach, trwogę (zwykle w stanie syndromu abstynencyjnego)’; *сидеть на колесах* – ‘zażywać tabletki narkotyczne’; *сидеть на пыхе* – ‘regularnie palić narkotyki’; *сидеть на*

*траве* – ‘palić marihuanę, haszysz’, oraz czasownik *торчатъ*, np. *торчатъ на белом* – ‘zażywać fenaminę’; *торчатъ по колесам* – ‘zażywać tabletki narkotyczne’; *торчатъ глухо* – ‘być w stanie silnego upojenia narkotycznego’; *торчатъ по кайфу* – ‘zażywać narkotyki’; *торчатъ на черном* – ‘zażywać opiaty’.

Wśród zwrotów zarejestrowano ponadto konstrukcje nieosobowe, np. *баинню сняло* (odnosi się do wszystkich silnych wrażeń w trakcie działania narkotyku); *баинню рвет* (odnosi się do wszystkich silnych wrażeń w trakcie działania narkotyku); *люки заварило* (o działaniu narkotyku); *пробило на ха-ха* (tak nazywa się pierwsza reakcja prawie u każdego palacza marihuany – niepohamowany śmiech z byle jakiego powodu, a czasem i bez powodu), a także zwroty porównawcze, np. *дымить как паровоз* – ‘dużo palić’; *торчатъ как лом* – ‘odczuwać silne upojenie narkotyczne’.

W porównaniu z rozbudowaną grupą zwrotów frazeologicznych frazy prezentują się bardzo skromnie (trzy jednostki, czyli tylko 1,1% wszystkich frazeologizmów): *Любишь косить, люби и кумар ловить* (powiedzenie narkomanów); *Теме ханум совсем плохо* (umowna fraza sprzedawców i kupców narkotyków, która oznacza, że dostarczono narkotyk niskiej jakości); *ПИСК* (od: *пошел искать себе кукнар*) – ‘poszedł szukać sobie narkotyku’.

Analiza przytoczonego materiału frazeologicznego pozwala stwierdzić, że w nominacjach narkotycznych dają się zaobserwować wszystkie rodzaje związków podzielonych według kryterium semantycznego i kryterium formalnego. Tylko 15 formacji to związki wieloznaczne. Frazeologizmy tworzą również szeregi synonimiczne, nierzadko bardzo rozbudowane, np. znaczenie ‘odczuwać działanie narkotyku, przebywać w stanie upojenia narkotycznego, osiągnąć stan euforii pod wpływem narkotyku’ przekazuje 26 jednostek frazeologicznych. Dają się także wyodrębnić frazeologiczne warianty fonetyczne, morfologiczno-gramatyczne, słowotwórcze oraz leksykalne. Można również stwierdzić, że chociaż w żargonie narkomanów znajdziemy niewiele związków frazeologicznych z języka ogólnego, którym nadano nowe znaczenie (np. *под балдой* – ‘w stanie euforii narkotycznej’; *божья коровка* – ‘haszysz’; *гусиные лапки* – ‘tabletki narkotyczne’; *на колесах* – ‘o człowieku znajdującym się pod wpływem narkotyków lub alkoholu’; *сосать лану* – ‘znajdować się w stanie głodu narkotycznego’), to bazę dla większości jednostek stanowią wyrazy języka ogólnego.

## Bibliografia

- Елистратов В.С. (1994). *Словарь московского арга*. Москва.  
 Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. (1999). *Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона*. Москва.  
 Мокненко В.М., Никитина Т.Г. (2000). *Большой словарь русского жаргона*. Санкт-Петербург.  
 Никитина Т.Г. (1998). *Так говорит молодёжь. Словарь молодёжного сленга*. Санкт-Петербург.  
 Рожанский Ф.И. (1992). *Сленг хиппи. Материалы к словарю*. Санкт-Петербург–Париж.

- Юганов И., Юганова Ф. (1997). *Словарь русского сленга (сленговые слова и выражения 60-90-х годов)*. Москва.
- Buttler D. (1982). *Pojęcie wariantów frazeologicznych*. W: A.M. Lewicki (red.). *Statość i zmienność związków frazeologicznych*. Lublin.
- Chlebda W. (1996). *Frazeologia potocznych gatunków mowy (rozpoznanie wstępne)*. W: A.M. Lewicki (red.). *Problemy frazeologii europejskiej I*. Warszawa.
- Kania S., Tokarski J. (1984). *Zarys leksykologii i leksykografii polskiej*. Warszawa.
- Lewicki A.M. (1982). *Problemy metodologiczne wariantowości związków frazeologicznych*. W: A.M. Lewicki (red.). *Statość i zmienność związków frazeologicznych*. Lublin.
- Müldner-Nieckowski P. (2003). *Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego*. Warszawa.

### Summary

#### About Phraseologisms in the Contemporary Jargon of Russian Drug Addicts

This article focuses on the issue of drug nominations above the word level. It has been assumed that every jargon expression composed of two or more elements is a phraseologism. The analysis encompasses 274 phraseological expressions excerpted from the most recent lexicographic sources. Among the analyzed drug nominations there were observed all kinds of expressions divided according to semantic as well as formal criteria. Moreover, phraseological phonetic, morphological-grammatical, word-formation and lexical variants were distinguished.



**Светлана Смирнова**

Северодвинский филиал Поморского государственного университета имени  
М.В. Ломоносова  
Северодвинск

## ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СЛОВА „СВЯТОЙ”

**Key words:** word, saint, sanctity, Russian literary language, historical and interpretation dictionaries, quantitative and substantial changes

В конце 80-х – начале 90-х годов XX века на фоне событий, произошедших в политической, социальной и культурной жизни России, в речи носителей русского языка значительно активизировалось функционирование лексики религиозной и церковной сферы. Названные лексические единицы были существенно деформированы в период господства тоталитаризма, для которого характерна направленная идеологизация языка и формирование атеистического общественного языкового сознания. Подтверждением этого можно считать словари, издававшиеся до 1990 года. В настоящей статье предметом научного изыскания является лексема *святой*, задача статьи – рассмотреть объем и содержание данной лексемы, опираясь на исторические и современные толковые словари. Полагаем, что подобный подход позволит выявить различие между современным понятийным ядром данного слова и его понятийным ядром в языковой системе древнего периода.

К исследованию привлечены два исторических лексикографических источника – *Материалы для словаря древнерусского языка* И.И. Срезневского и *Словарь русского языка XI–XVII вв.* Отметим, что в статье не представлены данные *Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.*, так как работа над ним в настоящий момент еще не завершена (изданы шесть томов, последний – на букву «П»). В названных словарях анализируемая лексема описывается как многозначная: в *Словаре* И.И. Срезневского у данного слова отмечается 7 лексико-семантических вариантов (далее ЛСВ), в *Словаре русского языка XI–VII вв.* – 10 [Срезневский III: 307–310; Словарь XI–XVII XXIII<sup>1</sup>: 210–213]. Анализ словарных статей позволяет выявить в семантической структуре лексемы *святой* следующие значения:

<sup>1</sup> Здесь XXIII обозначает номер выпуска словаря.

- (1) 'Всесовершенный, исполненный святости (о Боге)': *Святой Дух, Святая Троица, Святый Боже, Отче святой, святые тайны* [Срезневский; Словарь XI–XVII];
- (2) 'обладающий святостью, чистый, непорочный, праведный': *Святая Богородица, святая дева, святые бесплотные силы, святой Василий, святой отец Иоанн Златоуст* [Срезневский; Словарь XI–XVII];
- (3) 'в знач. сущ. святой, праведник, угодник Божий': *святой, святая, иконы святых, умывать ноги святых* и др. [Срезневский – как подзначение 'чистый, непорочный, праведный' [Словарь XI–XVII];
- (4) 'священный (о предметах, относящихся к религии и богослужению, о святынях: реликвиях, предметах, постройках, местах)': *святое масло, святой сосуд, святое блюдо, святой потир, святые книги, святые слова, святые двери, святые места, святая земля, святая гора, святая святых* и др. [Срезневский; Словарь XI–XVII];
- (5) 'посвященный в духовный сан или принявший монашество': *святой владыко, святой патриарх, святой епископ, святой митрополит, святой монах* [Срезневский; Словарь XI–XVII];
- (6) 'ведущий к святости, освящающий': *святое крещение, святой путь* [Срезневский];
- (7) 'освященный': *святой хлеб, святые дары, святое тело* [Срезневский];
- (8) 'относящийся к учению православной церкви': *святая церковь, святой собор, святое правило* [Срезневский];
- (9) 'основанный на правилах веры; обладающий священным авторитетом, освящающей силой (о христианских догматах, заповедях, о событиях религиозной истории и связанных с ними периодах, праздниках, обрядах, таинствах и т.п.)': *святая неделя, святой день, святой символ, святое правило* [Словарь XI–XVII];
- (10) 'в названиях церквей, монастырей, икон, церковных праздников': *церковь Святой Богородицы, от пасхи до всех святых, святая пядница* и под. [Словарь XI–XVII – как подзначение 'в знач. сущ. святой, праведник, угодник Божий' и 'освященный, священный (посвященный Богу и освященный – о святынях: реликвиях, предметах постройках, местах и т.п.)'];
- (11) 'православный, крещеный': *святое людство* [Словарь XI–XVII];
- (12) 'чистый, свободный' (от какого-либо порока): *свят от лжи* [Словарь XI–XVII];
- (13) 'связанный с Богом, божественный': *святой свет, святая милость* [Словарь XI–XVII];
- (14) 'связанный со святым, принадлежащий святому; святой': *святые мощи* [Словарь XI–XVII].

Указанные значения закреплены за словом *святой*, определяемым как имя прилагательное, и только одно значение соотносится с именем существительным, именовавшим праведника, угодника божьего. В исторических словарях русского языка указание на грамматическую принадлежность включено



в толкование слова, например: «В знач. сущ. *Святой*, м. и *Святая*, ж.» [Словарь XI–XVII: 211].

Сравнительный анализ словарных статей позволил выделить следующие значения, не отмеченные И.И. Срезневским: (1) ‘православный, крещеный’, (2) ‘связанный со святым, принадлежащий святому, святой’, (3) ‘связанный с Богом, божественный’, (4) ‘основанный на правилах веры; обладающий священным авторитетом, освящающей силой’, (5) ‘чистый, свободный’, (6) ‘в названиях церкви, монастырей, икон’; а также выявить дополнительные компоненты в двух толкованиях *Словаря русского языка XI–XVII вв.*: ‘святой (как имманентный признак Бога, небесных сил)’ и ‘посвященный в духовный сан или принявший монашество’.

Согласно данным словарей, *святой*-прилагательное употребляется с различными именами существительными: это именованья Верховного Божества (*Дух, Троица, Божже*), Божьей Матери (*Богородица, дева*), небесной иерархии (*святые бесплотные силы*), церковной иерархии (*владыко, епископ, митрополит, монах* и под.), наименования церковной утвари и предметов поклонения (*дары, масло, сосуд, потир, двери, икона*) и т.д. Указанные единицы, сочетаясь с лексемой *святой*, образуют «составные наименования», значение которых формируется на основе семантики слов-компонентов, их составляющих. Так, значение ‘часть святых даров’ «выводится» из значения единицы *святой хлеб* в целом, значение ‘хлеб и вино, являющиеся символами Тела и Крови Иисуса Христа во время Евхаристии’ – из значения единицы *святые дары* и под.

В исторических словарях все ЛСВ слова *святой* соотносятся с одной логико-понятийной сферой – религиозной, компоненты которой могут быть дифференцированы и представлены в виде следующей семантической системы: источник святости – *Бог*; проводники святости – *Богородица, ангелы, апостолы, претечи, пророки*; воплощение святости – освященные предметы, признаки, ритуалы – *церковь, жертвенник, трапеза, праздник, хлеб* и пр.; свидетельства святости – священные предметы – *Евангелие, книги, молитва* и пр.; путь, ведущий к святости – *крещение, путь* и под.; святые Божии – *святой муж, святой старец, святой человек*. Отметим, что выявленная нами система подтверждает выводы В.В. Колесова о прилагательном *святой*, сделанные им на основании анализа текстов Кирилла Туровского [Колесов 2004].

Приведенная семантическая система предполагает наличие соотносимых смыслов и представляет собой иерархию<sup>2</sup>, которая, согласно Л.Г. Пановой, может быть обозначена как «Бог – человек» или, вслед за русскими религиозными философами, как «небесная (торжествующая) Церковь – земная (воинствующая) Церковь»; при этом единственной и абсолютной вершиной данной иерархии, ядерным смыслом является Бог.

<sup>2</sup> В современных гуманитарных науках в понятие «иерархия» вкладывается следующий смысл: «это вертикализированный порядок подчинения низших существ или объектов – высшим» [Панова 2003: 409].

Таким образом, в сознании средневекового человека лексема *святой* связывалась с «вечной и всеобъемлющей реальностью» – Богом. Подобная точка зрения представлена в библейских энциклопедиях и словарях, например: «*Святой* (евр. кадош) в самом глубоком смысле есть Бог, как абсолютно отделенный от всякого греха, как делающий только добро и ненавидящий зло» [Библейский словарь 1995: 395]. См. об этом также в [Мень 2002; Майер 2003; Вендина 2002 и др.]. Думается, что и семантический инвариант религионима *святой* может быть определен как ‘Всесовершенный, Бог’. В сочетании же с именами существительными это значение конкретизируется: *Святая Богородица (Дева)* – ‘имеющая непосредственное отношение к Богу’; *святой ангел, святой апостол, святой пророк* и др. – ‘служащий Богу’; *святой монах, святой владыка* и др. – ‘посвященный Богу, отмеченный Богом’; *святой муж, святой угодник, святой старец* и под. – ‘уподобившийся Богу’; *святой свет, святая милость* – ‘исходящий(-ая) от Бога’; *святая гора, святая святых, святые места* – ‘связанная(-ые) с Богом’ и т.п.

Отметим также, что на протяжении всего древнерусского периода, по мнению В.В. Колесова, значения ‘источник святости’ и ‘проводник святости’ передавались только словом *святой*, тогда как значения ‘воплощение святости’ и ‘свидетельство святости’ были «связаны с отглагольными формами *священный* и *освященный*, хотя внутри этих групп различий между собственно святым и священным нет; эти значения воспринимаются синкретически как обычное для средневековых представлений соединение отношений субъектных («святой») и объектных («священный»). Семантическая дифференциация [...] как бы отталкивает от основного значения слова все возможные, контекстно возникающие переносы, которые связаны с метонимическим перебросом смысла на обслуживающие высшую святость предметы или лица» [Колесов 2004: 362]. Однако разграничивались священные и освященные предметы: к первым относились те, которые предназначались для богослужения – «служения» Богу, ко вторым – те, над которыми был совершен «церковный обряд освящения», в результате чего они считались «очищенными от греховности» («отделенными от обыкновенного») [Дьяченко 2004; Складаревская 2000].

Современные толковые словари, привлеченные к исследованию, представлены двумя типами<sup>3</sup>. В первый тип включены словари советского периода, для которых характерна принадлежность светскому дискурсу и адресованность массовому читателю с формирующимся атеистическим сознанием: *Толковый словарь русского языка* под редакцией Д.Н. Ушакова (2001), *Словарь современного русского литературного языка* под ред. Г.А. Голанова и Ф.П. Сороколетова (1950–1965), *Словарь русского языка* под редакцией А.П. Евгеньевой (1985); во второй тип – словари постсоветского периода, также

<sup>3</sup> Классификация толковых словарей, отражающих семантическую сферу «религиозное», по типу дискурса и образу адресата представлена в диссертационной работе Ю.Н. Михайловой [Михайлова 2004: 6–7].

обслуживающие светский дискурс, однако ориентированные на адресата с формирующимся свободным отношением к религии: *Толковый словарь русского языка* С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1999), *Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный* Т.Ф. Ефремовой (2000), *Большой толковый словарь* под редакцией С.А. Кузнецова (2003), *Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения* под редакцией Н.Г. Складневской (2002) и *Русский семантический словарь* под редакцией Н.Ю. Шведовой (2000, 2003). Особое место в этой классификации занимает, по мнению Ю.Н. Михайловой, *Словарь православной церковной культуры* Н.Г. Складневской (2000), так как отвечает «в равной мере потребностям и светского, и религиозного дискурсов», но ориентирован «на адресата с формирующимся православным сознанием» [Михайлова 2004: 7].

Как и в исторических словарях, слово *святой* отмечено в качестве имени существительного и имени прилагательного. В словарях Т.Ф. Ефремовой и Н.Г. Складневской *святой*-существительное и *святой*-прилагательное квалифицируются как омонимы.

Многозначное слово *святой* представлено разным количеством ЛСВ: 4 [СОШ: 705–706; Складневская: 222–223], 5 [БТС: 1164], 7 [Ушаков III: 164–165], 8 [БАС XVII: 468–471; МАС IV: 59–60; Ефремова II: 570]. Семантический анализ современных толковых словарей выявил следующее.

Во-первых, из 14 ЛСВ, ранее отмеченных в исторических лексико-графических источниках, словари современного русского языка приводят только 6:

- (1) ‘обладающий абсолютным (высшим) совершенством, чистотой и сверхъестественной силой, божественный; исполненный святости’: *Святой Дух, Святая Троица, святое семейство (Дева Мария, ее муж Иосиф и младенец Христос), святая церковь, святые тайны, святая вода* [Ушаков; БАС – сопровождается маркером «по религиозным представлениям»; МАС и БТС – с пометой «религ.»; Ефремова; Складневская];
- (2) ‘праведный, непорочный, отвечающий религиозному идеалу’: *святой человек, святой монах* [Ушаков – с пометой «религ.»; БАС – как подзначение ‘человек, посвятивший свою жизнь служению Богу и после смерти признанный церковью покровителем верующих’; МАС];
- (3) ‘в знач. сущ. человек, посвятивший свою жизнь служению Богу и после смерти признанный церковью покровителем верующих’: *культ святых, святой апостол, святые праведники, святые угодники, святые праотцы* [Ушаков – с пометой «церк.»; БАС – сопровождается маркером «в христианской религии»; МАС и БТС – с пометой «религ.»; СОШ; Ефремова; Складневская<sup>4</sup>];

---

<sup>4</sup> В словаре Н.Г. Складневской дано следующее толкование: ‘наделенный божественной благодатью; являющийся источником божественной силы (обычно как эпитет)’ [Складневская 2000: 222].

- (4) ‘свойственный, связанный с таким (святым) человеком’: *святые мощи* [Ушаков – с пометой «церк.»; БАС – как подзначение ‘проведший свою жизнь в служении Богу и признанный церковью после смерти покровителем верующих’];
- (5) ‘связанный с религиозным поклонением и церковными обрядами’: *святая икона, святое Писание, святая книга, святой крест, святой храм, святая церковь, святые слова* и др. [Ушаков – с пометой «церк.»; БАС; МАС – как подзначение ‘обладающий высшим совершенством и силой; божественный’; БТС; Ефремова; Складаревская<sup>5</sup>];
- (6) ‘исходящий от Бога; связанный с Богом; близкий к Богу’: *святое Евангелие, святое Воскресение, святой крест* [Складаревская].

Во-вторых, авторами словарей привлекаются к описанию и толкуются многие уже известные, сформировавшиеся ранее «составные наименования» – *Святой Дух, Святая Троица, святая церковь, святые тайны, святая вода, святой монах, святой патриарх, святые мощи, святой храм, святые слова* и др., а также новые именованья – *святое семейство (Дева Мария, ее муж Иосиф и младенец Христос), святое Воскресение, святой крест, святой человек* и под.

В-третьих, для лексемы *святой* фиксируются новые значения, связанные с религиозно-церковной сферой и не отмеченные в исторических словарях:

- (1) ‘иконы с изображением святых людей’: *сидеть под святыми* [Ушаков – с пометой «прост. устар.»];
- (2) ‘наделенный божественной благодатью, являющийся источником божественной силы’: *святая вода, святые дары, святой источник, святые тайны* [Ушаков – с пометой «церк.»; СОШ – с пометой «высок.»; БТС – как подзначение ‘обладающий высшим совершенством и сверхъестественной силой’];
- (3) ‘относящийся к Пасхе, имеющий место в Пасху, происходящий на Пасхе(-у)’: *святой кулич, святая Пасха, святая неделя* [БАС; Ефремова].

В-четвертых, ни один из указанных источников не регистрирует значения: ‘ведущий к святости, освящающий’, ‘относящийся к учению православной церкви’, ‘основанный на правилах веры’, ‘православный, крещеный’, ‘в названиях церквей, монастырей, икон’, ‘чистый, свободный’ (от какого-либо порока), а также обозначение церковного чина; значения ‘связанный с Богом, божественный’ и ‘освященный, священный’ отмечены лишь в словаре Н.Г. Складаревской.

В-пятых, отмечается иная последовательность ЛСВ, например:

- (1) ‘обладающий высшим совершенством и сверхъестественной силой’;
- (2) ‘связанный с религиозным поклонением и церковными обрядами’;
- (3) ‘проведший жизнь в служении Богу и церкви’ [БТС 2003: 1164].

<sup>5</sup> В словаре Н.Г. Складаревской это значение уточнено как ‘освященный, священный; предназначенный для служения Богу’ [Складаревская 2000: 223].

В-шестых, на основе значения ‘обладающий абсолютным (высшим) совершенством, чистотой и сверхъестественной силой, божественный’ объединяются не только составные наименования *Святой Дух, Святая Троица*, но и *святое семейство (Дева Мария, ее муж Иосиф и младенец Христос), святая церковь, святые тайны, святая вода*; на основе значения ‘человек, посвятивший свою жизнь служению Богу и после смерти признанный церковью покровителем верующих’ – *святые угодники*, а также *святой апостол, святые праведники, святые праотцы, культ святых* и т.д.

В-седьмых, значение ‘Всесовершенный, Бог’ не является основным (инвариантным) в [БАС 1962; СОШ 2002].

В-восьмых, авторами современных словарей отмечаются «светские» («профанные») значения, соотносимые с эстетически освоенной действительностью:

- (1) ‘не виновный в чем-либо, перед кем-либо; безгрешный’: *Ковалев чист и свят* [БАС – как подзначение ‘высоконравственный, безупречный в своей жизни и т.д.’];
- (2) ‘высоконравственный, безупречный; безгрешный, непорочный’: *святая женщина, святая Татьяна, святая жизнь, святое терпение* [МАС – как подзначение ‘праведный, угодный богу’; БАС и Ефремова – с пометой «перен.»; БТС];
- (3) ‘проникнутый высокими чувствами, возвышенный, идеальный’: *святая лира, святая чистота, святая любовь, святая женская душа* [Ушаков – с пометой «поэтич. устар.»; БАС – как подзначение ‘высоконравственный, безупречный в своей жизни и т.д.’; СОШ – с пометой «высок.»];
- (4) ‘истинный, величественный и исключительный по важности; почетный’: *святой долг, святая обязанность, святое дело* [Ушаков – как подзначение ‘проникнутый высокими чувствами, возвышенный, идеальный’ и с пометой «книжн. торж.»; МАС; СОШ – с пометой «высок.»; БТС];
- (5) ‘благородный, освященный высокой целью, возвышенный’: *святой бой, святое чувство гуманизма* [БАС; МАС; Ефремова – как подзначение ‘высоконравственный, безупречный в своей жизни и т.д.’ и с пометой «перен.»];
- (6) ‘незыблемый, нерушимый’: *святой закон* [Ушаков – как подзначение ‘проникнутый высокими чувствами, возвышенный, идеальный’; БАС; МАС; Ефремова – с пометой «перен.»];
- (7) ‘глубоко чтимый; дорогой, заветный, любимый’: *святая родина, святая вера, святая партия* [Ушаков – как подзначение ‘проникнутый высокими чувствами, возвышенный, идеальный’ и с пометой «книжн. торж.»; БАС; МАС – с пометой «высок.»; Ефремова – с пометой «перен.»];
- (8) ‘совершенно необходимый, очень важный, высокий, почетный’: *святая задача, святое дело* [Ушаков – как подзначение ‘проникнутый высокими чувствами, возвышенный, идеальный’ и с пометой «разг.»; БАС; Ефремова – с пометой «перен.»];
- (9) ‘безусловный, полный’: *святая правда* [МАС].

Следовательно, если в исторических словарях все ЛСВ соотносимы с религиозными понятиями, то в современных лексикографических источниках только 9 из них могут быть отнесены к названной сфере.

В толковых словарях советского периода большинство значений слова *святой* сопровождается соответствующими пометами, например, в словаре Д.Н. Ушакова три ЛСВ даются с пометой «религ.» (религиозное), два – с пометой «церк.» (церковное). В словарях постсоветского периода названные пометы используются редко, однако лексическое значение уточняется за счет включения в толкование маркера, указывающего на конфессиональную принадлежность: «в религиозных представлениях», «в христианстве и некоторых других религиях» и т.д.<sup>6</sup> Ю.Н. Михайлова, сопоставляя толкования религионимов в *Словаре русского языка* С.И. Ожегова (1953) и в *Толковом словаре русского языка* С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1997), отмечает особую роль маркеров. Для словарей советского периода, по ее мнению, характерны сложные образования «религиозно-мистический», «религиозно-мифический», «с помощью которых авторы словаря реализовывали идеологическое предписание: бороться с религиозным мировоззрением как ненаучным, нематериалистическим. В новейших словарях подобные квазисинонимические ряды отсутствуют. Из толкований исключаются все идеологические маркеры, связанные со смыслом 'вымышленный', остаются только маркеры *религиозный, в религии, в христианстве*, выступающие в функции регулярных культурологических сопроводителей. Разрушение квазисинонимических рядов в новейших словарях способствует восстановлению в общественном сознании правильных парадигматических отношений» [Михайлова 2004: 14].

В словарях постсоветского периода значение слова *святой* обогащается имплицитно: дополнительные семантические признаки извлекаются из нетолковательной части словарной статьи. Во-первых, включается иллюстративный материал и комментарии к нему, несущие дополнительную, культурную информацию, например: «*Святая вода* (освященная церковью и способная снимать сглаз и другие недуги). *Святые дары* (белый хлебец-просфора и вино, хранящиеся в даровнице и используемые во время причастия как символ тела и крови Иисуса Христа). *Приобщиться, принять, причаститься Святых тайн* (обряд причащения)» [БТС 2003: 1164]. Думается, что сведения энциклопедического характера, включающиеся в словарную статью, позволяют, в какой-то мере, восстановить утраченный когнитивный фон. Попутно заметим, что в подобных комментариях, по мнению современных исследователей и богословов, не нуждались носители русского языка конца XIX в. Во-вторых, включаются устойчивые выражения со словом *святой*, употребляемые в светском разговорном дискурсе, например: «*Хоть святых выноси* (разг.) – о невообразимом шуме, беспорядке. *Свято место пусто не бывает* (разг. ирон.) – всегда найдется тот, кто займет какое-нибудь освободившееся место, должность. *Свят – свят –*

<sup>6</sup> Названные маркеры отмечаются и в БАС.

*свят!* (устар. разг.) – заклинание, ограждающее себя от чего-н. опасного, страшного. *Как Бог свят* (устар. разг.) – божба [СОШ 2002: 705 – 706] и под.

В связи с появлением у слова *святой* «светских» («профанных») значений перед исследователями встают следующие вопросы: в какой временной промежуток возникают эти значения, как они (значения) развиваются и т.д. Обозначенные вопросы отчасти рассматриваются в современных монографиях и диссертациях, посвященных изучению теонимов. Так, В.В. Колесов, описывая древнерусского святого, отмечает, что «метафорических переносов, связанных с обогащением понятия новыми признаками (содержание понятия), в древнерусских текстах нет». По его мнению, сочетания *святое дело, святой бой, святая партия* и под. могли «появиться только в наше безбожное время» [Колесов 2004: 362]. Подобная точка зрения находит отражение и в ряде диссертационных сочинений, в которых подчеркивается, что значения «русской религиозной православной лексики значительно деформировались в период господства тоталитаризма, для которого характерна направленная идеологизация языка и формирование атеистического общественного языкового сознания» [Михайлова 2004: 3]. Однако нам представляется более корректным мнение Г.П. Федотова, который полагает, что изменения в лексических значениях религионимов произошли после XV века и были обусловлены серьезными изменениями в социально-политической жизни России – усилением централизованной власти московского государства, ослаблением власти церкви, церковным расколом и победой «осифлян», «Петровскими реформами» и т.д. [Федотов 1990].

Таким образом, в исторических и современных толковых словарях лексема *святой* описывается как многозначная; при этом она квалифицируется как имя существительное и как имя прилагательное. Логический анализ материалов различных словарей выявил сложную семантическую структуру данного слова. Согласно лексикографическим источникам, до XVIII века слово *святой* всей совокупностью ЛСВ соотносилось только с религиозной сферой; структура данного слова может быть представлена в виде семантической системы: (1) источник святости; (2) проводники святости; (3) воплощение святости; (4) свидетельства святости; (5) путь, ведущий к святости; (6) святые Божии. Данная семантическая система может быть определена как иерархия «Бог – человек», единственной и абсолютной вершиной которой является Бог, Всевышний. ЛСВ указанного слова, выявленные в современных толковых словарях, отражают религиозные знания о мироустройстве и об эстетически освоенной действительности (см. «светские» значения) и не укладываются в представленную выше семантическую систему. Более того, «идеалом воплощения святости» является не Бог, а человек [БАС 1962; СОШ 2002]. Данные наблюдения, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что в сознании современного носителя русского языка представление о «небесной (торжествующей) Церкви и земной (воинствующей) Церкви», которое сформировалось под влиянием древнейших традиций (в том числе языческих), христианства, теологического и философского осмысления феномена человека – «внешнего» (телесного) и «внутреннего» (духовного), разрушено.

## Библиография

- Вендина Т.И. (2002). *Средневековый человек в зеркале старославянского языка*. М.
- Колесов В.В. (2004). *Древняя Русь: наследие в слове*. В 5 кн. Кн. 3. Бытие и быт. СПб.
- Майер Ф. (2003). *Библейская энциклопедия Брокгауза*. СПб.
- Мень А.В. (2002). *Библиологический словарь в 3-х т.* Т. III. М.
- Михайлова Ю.Н. (2004). *Религиозная православная лексика и ее судьба (по данным толковых словарей русского языка): Автореферат [...] кандидата филол. наук*. Екатеринбург.
- Панова Л.Г. (2003). *Слово БОГ и его значения: от иерархии небесной – к иерархиям земным*. В: Н.Д. Арутюнов (ред.) *Логический анализ языка. Космос и хаос: Концептуальные поля порядка и беспорядка*. М., с. 405–414.
- Федотов Г.П. (1990). *Святые Древней Руси*. М.

## Словари

- Дьяченко Г. (ред.) (1993). *Полный церковно-славянский словарь (с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений)*. М.
- Ефремова Т.Ф. (2000). *Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный*. В 2-х т. М.
- Кузнецов С.А. (ред.) (2003). *Большой толковый словарь русского языка*. СПб. [БТС]
- Нюстрем Э. (ред.) (1995). *Библейский словарь*. СПб.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. (1999). *Толковый словарь русского языка*. М. [СОШ]
- Скляревская Г.Н. (2000). *Словарь православной церковной культуры*. СПб.
- Словарь русского языка XI–XVII вв.* С.Г. Бархударов (гл. ред.). Вып. 1–6 (1975–1979). М., Наука; То же. Ф.П. Филин (ред.). Вып. 7–10 (1980–1983). М., Наука; То же. Д.Н. Шмелев (ред.). Вып. 11–14 (1986–1988). М., Наука; То же. Г.А. Борисовой (ред.). Вып. 15–26 (1989–2002). М., Наука. [Словарь XI–XVII]
- Словарь русского языка (1985–1988)*. В 4-х т. М. [МАС]
- Словарь современного русского литературного языка (1950–1965)*. В 17-ти т. М.–Ленинград. [БАС]
- Срезневский И.И. (1958). *Материалы для словаря древнерусского языка*. В 3-х т. М.
- Ушаков Д.Н. (ред.) (2001). *Толковый словарь русского языка*. В 4 т. М.

## Summary

### The Lexicographical Description of the Russian Lexeme “Saint”

The article introduces description of extension and intension of the Russian lexeme SAINT basing upon its definitions presented in the diachronic and modern defining dictionaries (11 dictionaries were reviewed). The lexicographical data had been compared to reveal the difference between the core of the concept in the modern language and the same of the earlier historical periods. The dictionaries treat the word SAINT (either noun or adjective) as polysemous; up until the 18<sup>th</sup> century all the meanings of the word were covered by the religious sphere only. The semantic structure included the following interconnected components: (1) source of saintliness; (2) guides to saintliness; (3) embodiment of saintliness; (4) manifestation of saintliness; (5) path



leading to saintliness; (6) the men of God. The above semantic system may be treated as hierarchy made up along the axis ‘GOD – MAN’, and the sole and ultimate apex of such hierarchy is the Divinity. In the modern defining dictionaries, the meanings of the word in question (reflecting the religious knowledge about the universe and the reality of the human creative work) are not matching with above semantic system. Moreover, ‘the quintessence of the saintliness’ is no more God, but man. This is the indication of the fact that the idea of the Ecclesia of Heaven and of Earth (that had been formed under influence of the early ethnical and Christian traditions and theological and philosophical conceptualization of human being) is distorted in the mind of the modern Russian native-speakers.



**Jarosław Dvhopolyj**

Instytut Neofilologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

## ZAGADNIENIA JĘZYKOZNAWSTWA JAKO TERAPIA W PRZYPADKU PRZEMĘCZENIA

**Key words:** soviet linguistics, „new theory of language”, Nikolai Marr, ideological work of the Party organs

Uniwersytet Amsterdamski wziął pod rozważę możliwość nadania Józefowi Stalinowi tytułu doktora honoris causa. Owe wysiłki okazały się jednak próżne, w przeciwieństwie do wysiłków Uniwersytetu Wolnego francuskojęzycznych masonów i ateistów w Brukseli, który uczynił to w 1947 roku.<sup>1</sup>

W 1933 roku w Groznych ukazała się drukiem pierwsza gramatyka języka czeczeńskiego *Noxčijj metiij grammatik* Ch. Jandarowa, A. Maciewa i A. Awtorchanowa. Znamienne jest to, że znalazło się tam miejsce na hasło autorstwa Stalina: „Okres dyktatury proletariatu i budownictwa socjalizmu w ZSRR jest okresem rozkwitu kultur narodowych, które są socjalistyczne w treści i narodowe w formie”; można powiedzieć, że pod tym hasłem gramatykę języka czeczeńskiego wydano. Napis zaś umieszczony na początku książki wskazywał, że poświęcono ją „Nieustannemu bojownikowi i założycielowi językoznawstwa marksistowskiego, akademikowi bolszewikowi Nikołajowi Jakowlewiczowi Marrowi z okazji jego czterdziestopięcioletniej działalności naukowej”. To właśnie Marr i Stalin przez długie lata decydowali o losach językoznawstwa w ZSRR: reprezentowana przez Stalina polityka narodowościowa bez wątpienia początkowo przyczyniła się do rozpowszechniania się badań w dziedzinie językoznawstwa, a teoria ojca jafetologii Marra, według wypowiedzi działacza bolszewickiego M.N. Pokrowskiego, włączona została do „żelaznego inwentarza materialistycznego pojmowania historii”<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Niderlandzka gazeta De Volkskrant, wyd. z 22 grudnia 2003 roku.

<sup>2</sup> Władze ceniły Marra. W 1928 roku w gazecie „Izwestija” wpływowy wówczas M.N. Pokrowski pisał: „Gdyby Engels żył wśród nas, to teorią Marra zajmowałby się teraz każdy słuchacz wyższej uczelni komunistycznej, bo została ona włączona do żelaznego inwentarza materialistycznego pojmowania historii ludzkiej kultury. [...] Przyszłość zależy od nas, a to znaczy, że i od teorii Marra. [...] Już wszędzie jej nienawidzą. Jest to bardzo dobra oznaka. Marksizmu wszędzie nienawidzą już na przestrzeni trzech czwartych stulecia i pod znakiem tej nienawiści coraz bardziej i bardziej podbija on świat. Nowa teoria lingwistyczna idzie pod tym znakiem honorowym” (Известия, wyd. z 23 maja 1928 roku).

Jest bardzo wątpliwe, czy nową teorię o języku opracowaną przez N.J. Marra w ogóle można uznać za koncepcję lingwistyczną. To raczej niejednolity konglomerat olśniewających intuicji, a często nawet graniczące z fantazjami czyste spekulacje. Język uznawany jest przez Marra za cechę ontologiczną. Uważając, że język nie jest wynalazkiem jakiejś określonej rasy, Marr przyznawał, że język jest produktem działalności myślenia całej ludzkiej społeczności<sup>3</sup>. Kwestia powstania języka i zmian zachodzących w języku spowodowała zadanie pytania o stosunek języka i myślenia. „Zagadnienie myślenia jest jednym z największych, jeżeli nie największym zagadnieniem teoretycznym na świecie” – pisał Marr<sup>4</sup>. Stałe i powszechne kształtowanie i udoskonalanie języka w ludzkim społeczeństwie na podstawie myślenia otrzymało u Marra nazwę procesu glottogonicznego.

Odpowiedź na pytanie o stosunek języka i myślenia miała według Marra koncepcja stadialności. Otóż wprowadził on do swojej teorii czynnik socjalny, przy czym według niego czynnik socjalny stał się elementem decydującym o sposobie myślenia, a myślenie bezpośrednio determinowało język. „Nowa nauka o języku – pisał Marr – najpierw zadaje pytanie o zmiany stadialne techniki myślenia”<sup>5</sup>. Ponieważ zgodnie z panującymi wówczas koncepcjami socjologicznymi rozwój socjalny odbywa się postępowo i obiektywizuje się zmianą formacji społecznych, Marr uznał, że ewolucja socjalna połączona jest z ewolucją myślenia. Język i myślenie rozpatrywał w nierozwalnym związku z ich pochodzeniem socjalnym, występowanie odmian dialektalnych w języku traktował jak zróżnicowanie klasowe. Sam wypowiedział się na ten temat tak: „Nie ma języka narodowego, ogólnonarodowego języka, jest tylko język klasowy”<sup>6</sup>.

Koncepcja historycznego rozwoju języka jako zmiany stanów (stadiów) powstała w połowie XIX wieku na podstawie koncepcji W. von Humboldta o budowie i rozwoju języka. Pierwsze jasne jej sformułowanie pochodziło od A. Schleichera, który uważał, że języki typu morfologicznego – izolacyjne, aglutynacyjne i fleksyjne – reprezentują trzy konsekwentne etapy rozwoju języka, przy czym najbardziej doskonały jest typ fleksyjny. Idee Schleichera nie zostały szeroko rozwinięte w językoznawstwie porównawczym. Teoria ta odrodziła się w odnowionej postaci w ramach „nowej nauki o języku” Marra, stając się jądrem koncepcji ogólnego procesu glottogonicznego. Pojęcie stadium, pojmowane typologicznie (języki amorficzne, aglutynacyjne, fleksyjne), zostało wprost zestawione z socjalno-ekonomicznymi formami rozwoju ludzkości i formami światopoglądu. Rozwój języka był interpretowany jako uniwersalny proces „wyradzania się” jednego stadium w inne, na przykład języki grupy indoeuropejskiej

<sup>3</sup> Н.Я. Марр, *Избранные работы*, АН СССР. Гос. акад. истории материальной культуры, т. 4, Москва, Соцэргиз 1937, s. 60.

<sup>4</sup> Н.Я. Марр, *Избранные работы*, АН СССР. Гос. акад. истории материальной культуры, т. 1, Москва, Соцэргиз 1933, s. 397.

<sup>5</sup> Н.Я. Марр, *Избранные работы*, АН СССР. Гос. акад. истории материальной культуры, т. 3, Москва, Соцэргиз 1934, s. 106.

<sup>6</sup> Н.Я. Марр, *Избранные работы*, АН СССР. Гос. акад. истории материальной культуры, т. 2, Ленинград, Соцэргиз 1936, s. 197.

uważane były za następny etap rozwoju języków jafetyckich (przede wszystkim kaukaskich). Rekonstrukcji stadiów ogólnego procesu glottogonicznego proponowano dokonywać za pomocą pierwiastkowej analizy paleontologicznej, która opierała się na bezpodstawnym zbliżaniu i preparowaniu znaczeń i form wyrazów należących do różnych języków. Marr uważał, że wszystkie języki świata powstały z czterech pierwiastków, które nazwał *sal*, *ber*, *jon*, *ros*. Na podstawie owych elementów powstały – według teorii Marra – nazwy czterech pradawnych plemion jafetyckich oraz całe słownictwo ich języków. Późniejsze zmieszanie pradawnych plemion znalazło swoje odzwierciedlenie w tym, że duża część etnonimów składa się z wymienionych elementów, na przykład gruzińskie oznaczenie Greków „berzeni” Marr wywodził z *ber* + *jon*. Marr sam szukał i wzywał innych, by szukali śladów tych czterech elementów w głębi historii wszystkich języków, nazywając takie zajęcia paleontologią języka.

Swoją teorię o prajęzyku jafetyckim Marr połączył z doktryną marksistowską, według której substrat klasy uciskanej był gruntem życiodajnym dla historii języka: „Istniejące typy języków nie są wynikiem pradawnego tworzenia [...], lecz w nich odzwierciedla się twórcza praca ludzkości na różnych etapach jej rozwoju”. Marr wysunął ideę stadialnego rozwoju języka: przechodzenie społeczeństwa od jednej formacji społeczno-ekonomicznej do innej pociąga za sobą przechodzenie języka w inną jakość. Języki i narodowości powstają – według tej teorii – w wyniku krzyżowania się i mieszania się jako „produkt rozwoju społecznej i zbiorowej twórczości” jak „nadbudowa bazy ekonomicznej”.

Przyszłe społeczeństwo bezklasowe – jak oświadczył Marr w 1928 roku – stworzy nowy wspólny język światowy, piękniejszy i bardziej stały od wszystkich dotychczasowych burżuazyjnych języków klasowych. Na XVI zjeździe WKP(b) w 1930 roku owa teoria „połączenia języków” została tak wyrażona przez Stalina: „W epoce zwycięstwa socjalizmu na skalę światową, kiedy to socjalizm okrzepnie i wejdzie w zwyczaj, języki narodowe mają się w nieunikniony sposób połączyć w jeden wspólny język, który oczywiście nie będzie wielkoruskim ani niemieckim, a czymś nowym”<sup>7</sup>. Należy tu podkreślić, że nawet Karol Marks czasami rozumiał fałszywość zaprzeczania narodowości. W liście do Fryderyka Engelsa pisał: „Anglicy bardzo się śmiali, kiedy zacząłem swój występ od tego, że przyjaciel nasz Lafarge i inni, którzy skasowali narody, zwracają się do nas w języku francuskim. Dalej zrobiłem aluzję, że Lafarge – sam tego nie pojmując – rozumie pod zaprzeczaniem narodowości, jak mnie się wydaje, pochłonięcie ich przez wzorowy naród francuski”<sup>8</sup>.

Zwolennicy Marra wzywali, aby znieść całą naukę o języku, zastępując ją studioowaniem ideologii. Jeden z nich pisał: „Do tej pory – co nie dziwi – istnieje przesąd, że za lingwistę uchodzi ten, kto zajmuje się fonetyką lub morfologią jakiegoś języka. [...] I odwrotnie, kiedy człowiek z dobrym przygotowaniem marksistowsko-leninowskim zaczyna się zajmować budową języka, to fakt ten wzbudza zdziwienie, a niektórzy

<sup>7</sup> Й. Сталін, *Литання ленінізму*, вид. 10-е, Київ 1939, s. 401.

<sup>8</sup> І. Дзюба, *Інтернаціоналізм чи русифікація*, Мюнхен 1968, s. 64.

mocnym głosem wskazują na niedopuszczalność jego wtargnięcia do takiej świętej dziedziny jak językoznawstwo. Trzeba jasno oświadczyć, że w naszych warunkach językoznawstwem, a tym bardziej budową języka, może się zajmować przede wszystkim ten, kto dobrze opanował metodologię materializmu dialektycznego<sup>9</sup>.

Niezgadających się z „nową nauką o języku” młodzi zwolennicy Marra postpowali jako naukowców burżuazyjnych, posuwając się nawet do oskarżeń politycznych. I tak wybitnego językoznawcę E. Poliwanowa, który ostro krytykował tę „nową naukę”, nazwano „ideologicznym agentem międzynarodowej burżuazji” i „wilkiem kułackim w skórze radzieckiego profesora”. Pod koniec 1937 roku Poliwanow został aresztowany i uznany za szpiega japońskiego, a 25 stycznia 1938 roku „trojka” wydała na niego wyrok śmierci.

Poglądy lingwistyczne Marra (który zresztą nie miał wykształcenia lingwistycznego) dość trudno odnieść do jakiegoś konkretnego kierunku metodologicznego, ponieważ przy formowaniu jego koncepcji oprócz naukowych i ideologicznych przesłanek ważną rolę odegrał czynnik czysto ludzki. Nie sposób także pominąć niejednoznacznej postaci samego Marra, którego naukowa działalność, według W.A. Zwiagincewa, „nabierała z biegiem lat coraz bardziej oczywistego patologicznego charakteru, co czasami wiązano z zapadnięciem Marra na chorobę psychiczną”<sup>10</sup>.

„Nowa nauka o języku” dominowała w językoznawstwie radzieckim jeszcze przez długie lata po śmierci jej twórcy, co nastąpiło w 1934 roku. 11 maja 1949 roku gazeta „Kultura i życie”, organ Komitetu Centralnego WKP(b), opublikowała artykuł pod tytułem *Za przodujące językoznawstwo radzieckie*. W tym samym roku prezydium Akademii Nauk ZSRR na posiedzeniu specjalnym rozpatrzyło „sytuację na froncie lingwistycznym”, nazwało „nową naukę” Marra jedyną materialistyczną teorią języka i wezwało do usunięcia wszystkich innych teorii jej zaprzeczających.

A na razie, dopóki bolszewicy – według określenia „ulubieńca partii” N. Bucharina – „popychali państwa, które przebywały w stanie rozpadu” do rewolucji światowej, zwolennicy „nowojazu” przystąpili do tworzenia tego „nowego języka”; miał on być przybliżony do warunków rewolucyjnych panujących w tamtym czasie w Rosji. U początków tego fenomenu osobiście stał W.I. Lenin, który natychmiast potrafił docenić znaczenie leksykografii dla procesu kształtowania się i normalizacji nowego języka, oddanego w służbę porządku totalitarnego. 18 stycznia 1920 roku w liście do komisarza ludowego do spraw edukacji A.W. Lunaczarskiego Lenin pisał: „Niedawno wypadło mi – niestety, ku wielkiemu mojemu zawstydzeniu, po raz pierwszy – zaznajomić się ze słynnym słownikiem Dala. Wspaniała rzecz, lecz jest to słownik dialektyzmów i jest on przestarzały. Czy nie nadszedł czas na stworzenie słownika współczesnego języka rosyjskiego, powiedzmy słownika wyrazów używanych teraz i przez klasyków: od Puszkina do Gorkiego? A gdyby postawić za tą sprawą 30 naukowców, dając im za to czerwonarmijną rację żywnościową?”<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> И. Кусикьян, *Очередные задачи марксистов-языковедов в строительстве языков народов СССР*, Просвещение национальностей 1931, nr 11–12, s. 78.

<sup>10</sup> В.А. Эвегинцев, *Что происходило в советской науке о языке?*, Вестник РАН 1989, nr 12, s. 120.

<sup>11</sup> В.И. Ленин, *Полное собрание сочинений*, т. 51, s. 121–122.

Zacytowane powyżej słowa Lenina od samego początku zostały podchwyczone jako nieoficjalna wskazówka dla przyszłych leksykografów, by orientowali się w swojej pracy przede wszystkim na „nowy język nowej socjalistycznej ojczyzny”. Ten podstępny termin, wprowadzony przez Lenina w 1918 roku<sup>12</sup>, stał się jednym z podstawowych pojęć bolszewickiej radykalnej „ideokracji” (termin Andrzeja Walickiego). Choć w *Manifeście komunistycznym* Marksa i Engelsa powiedziano, że proletariusze nie mają ojczyzny, to bolszewicy jednak naszkicowali kontury „ziemi obiecanej” proletariatu: „ZSRR – to ojczyzna ludzi pracy całego świata. W przeszłości nie mieliśmy i mieć nie mogliśmy ojczyzny. Lecz teraz, kiedy obaliliśmy kapitalizm, a władzę mamy robotniczą – mamy ojczyznę i będziemy bronić jej niezależności”<sup>13</sup>.

Fakt wprowadzenia do powszechnego sposobu myślenia nosicieli języka rosyjskiego nowego pojęcia „ojczyzna ludzi pracy całego świata” nie potrzebuje dowodów. Triumfująca wówczas formuła rewolucjonisty Tkaczowa: „Trzeba się zastanowić nad tym, ilu ludzi trzeba pozostawić” sprzyjała temu jak najbardziej. Za tą posępną frazą kryło się dużo krwi.

Wychodząc od potrzeb komunikatywnych i kognitywnych ideokracji, bolszewicy dążyli do zmiany funkcji języka: ideokratyczna funkcja języka miała dominować nad semantyczną (wyrazy ideokratyczne miały zmienić zjawiska społeczne, a nie opisywać je). Nowe państwo zaczęło aktywnie przemianowywać otaczający świat: ministrowie stali się *komisarzami ludowymi*, żołnierze – *czerwonooarmistami*, studenci – *komwuzistami* (słuchaczami wyższej uczelni komunistycznej). Miasta i ulice przemianowywano ku czci wodzów proletariatu: Liebknechta, Trockiego, Nachimsona, Bebela. Zjawiły się sztucznie utworzone imiona: *Wektor* (Wielki komunizm triumfuje), *Welira* (Wielki robotnik), *Wilenor* (W.I. Lenin – ojciec rewolucji), *Izaida* (Idź za Iljczem, dziecko), *Gertruda* (Gerojinja truda – bohaterka pracy), *Traktorina*, *Trikom* (Trzy „Kom” – Komsomoł, Komintern, Komunizm), *Dazdraperma* – (Da zdrowstwujet pierwoje maja – Niech żyje 1 Maja). Warto tu przypomnieć, jak wielką rolę we wprowadzaniu do powszechnego sposobu myślenia nosicieli języka rosyjskiego ideokratycznych pojęć odegrała scentralizowana radiofonia. Do początku drugiej wojny światowej ZSSR posiadał największą na świecie sieć radiofonii przewodowej: niemal w każdym mieszkaniu zainstalowany był odbiorczy punkt radiowęzłowy, przez który można było słuchać audycji radiowych od 6<sup>oo</sup> do 24<sup>oo</sup>.

Najlepszym i najbardziej kompletnym opisem przemian w języku rosyjskim spowodowanych kataklizmem 1917 roku pozostaje książka A.M. Seliszczeva *Język epoki rewolucyjnej*, wydana w 1928 roku<sup>14</sup>. We wstępie autor zamieścił przegląd innowacji wprowadzonych do języka francuskiego w epoce rewolucji francuskiej. Francuski materiał został już do tego czasu dokładnie opracowany przez romanistów (na przykład zniknięcie precyzyjnego języka salonów, zniesienie ortoepicznej wymowy, pojawienie

<sup>12</sup> Д.Н. Ушаков, *Толковый словарь*, т. 2, Москва 1939, kolumna 922.

<sup>13</sup> Ibidem.

<sup>14</sup> А.М. Селищев, *Труды по русскому языку*, т. 1: *Социоллингвистика*, Языки славянской культуры, Москва 2003. Do tego tomu wszedł też *Язык революционной эпохи* (s. 47–279).

się neologizmów typu *gilotyna* lub *komuna*). Cechą odróżniającą zmiany w języku rosyjskim po zamachu stanu w 1917 roku od zmian w języku francuskim po rewolucji francuskiej było szerokie wprowadzenie zapożyczeń: *нелокальные советы* (Lenin) – ‘nielokalne rady’ zamiast: *неместные советы* – ‘niemiejscowe rady’; *гегемон всей демократии* (Zinowiew)<sup>15</sup> – ‘hegemon całej demokracji’ zamiast: *руководитель всей демократии* – ‘przywódca całej demokracji’; *превентивная война* („Izwestija”) – ‘wojna przewencyjna’ zamiast: *предупредительная война* – ‘wojna zapobiegawcza’ itp. Podane przykłady świadczą o komunikatywnej zbyteczności zapożyczeń – bez nich można byłoby się obejść. Oznacza to, że zapożyczenia te spełniały funkcję nie pragmatyczną, lecz symboliczną. Rola takiego używania wyrazów polega na tym, że symbolicznie zostaje odrzucona tradycja narodowa, następuje zerwanie z narodową przeszłością – co zostaje uznane za triumf nad obalonym porządkiem socjalnym. Warto zwrócić uwagę na to, że rewolucja francuska nie spowodowała żadnej fali zapożyczeń, ponieważ dominowała w niej koncepcja niezależności narodowej; ta koncepcja była absolutnie obca rewolucji rosyjskiej jako części rewolucji światowej.

Nie można się tu zgodzić ze zdaniem W.M. Żiwowa, że takie samo używanie zapożyczeń było charakterystyczne dla epoki Piotra I<sup>16</sup>, którą można byłoby nazwać pierwszą rosyjską pierestrojką. W celu przeprowadzenia reform car, według jego własnych słów, postanowił „wyrąbać okno na Europę”. Dotyczyło to przede wszystkim modernizacji gospodarki i miało charakter pragmatyczny. Nowości języka tej epoki zostały odzwierciedlone między innymi w jedynym wydrukowanym w XVIII wieku wydaniu leksykograficznym powiązanim z językiem niderlandzkim. Była to *Книга лексикон, или Собрание речей по алфавиту с Голландского на Российский язык* (objętość około 3,5 tysiąca haseł). Na terminologię fachową przypadła mniej więcej połowa słów uwzględnionych w wykazie<sup>17</sup>. Trzy czwarte obcojęzycznych elementów stanowiły wyrazy pochodzenia holenderskiego. Wyjątkowa trudność pracy nad leksykonem polegała na konieczności konfrontowania nieadekwatnych systemów pojęciowych tych dwóch języków. Języki rosyjski i niderlandzki istniały równocześnie, jednak drogi rozwoju dwóch narodów były różne. Duża ilość nieznanymi Rosjanom realiów oraz wysoki poziom rozwoju w Niderlandach żegluga morskiej i niektórych innych dziedzin stanowiły dla leksykografa trudne zadanie.

Wracając do innowacji językowych po 1917 roku, trzeba wskazać na następujące przesłanki ekstralingwalne: został zmieniony skład grupy nosicieli języka standardowego ze względu na dołączenie do niej dużej liczby osób z innych warstw społecznych (język standardowy był dotychczas domeną inteligencji). W szczególności do języka standardowego przenikały elementy terminologii morskiej. I to nie dziwi, o ile przypomnieć sobie rolę, jaką odegrała „morska brać” w nadawaniu rozpędu rewolucji

<sup>15</sup> Materiału badawczego dostarczyły Seliszczewowi między innymi prace Trockiego, Zinowiewa, Kamieniewa i Bucharina.

<sup>16</sup> В.М. Живов, *Язык и культура в России XVIII века*, Москва 1996, s. 145–150.

<sup>17</sup> В.Э. Биржакова, *Из истории русско-иноязычной лексикографии XVIII вв.: «Русско-голландский лексикон Якова Брюса»*, в: *Словари и словарное дело в России в XVIII в.*, Ленинград, Наука 1980, s. 34.



w samym centrum wydarzeń. W swoim artykule *Язык города* (*Język miasta*, 1928) B.A. Larin przytacza przykład wielojęzyczności bolszewików z obwodu archangielskiego: „ze swoimi rodakami rozmawiają oni w gwarze archangielskiej, jako marynarzom właściwy jest im żargon fachowy i, nareszcie, w środowisku partyjnym rozmawiają w języku o zabarwieniu specjalnym, który odznacza się dążeniem ideologicznym”. Zgodnie z tym dążeniem część wyrazów żargonu fachowego marynarzy uległa później upolitycznieniu, na przykład *вахта* – ‘wachta’: *вахта памяти* (patetycznie) – ‘honorowy dyżur przy memoriale’; *предмайская вахта* (patetycznie) – ‘pilna praca dla uczczenia 1 Maja’; *встать на трудовую вахту* (patetycznie) – ‘rozpocząć pilną pracę’. A dawny rozkaz morski *Аврал!* – ‘Wszyscy na pokład!’ (który w słowniku Dała częściowo zachowuje pisownię niderlandzką w formie *овраль*) nabył negatywnego znaczenia: ‘nadrabianie; wykańczanie na gwałt (przy użyciu wszystkich sił)’, odzwierciedlając w ten sposób stan gospodarki.

Osobne miejsce zajmuje bezprecedensowy wzrost zdeklasowanych grup społecznych, które w tradycyjnym społeczeństwie XVIII wieku nazywano „les classes dange-reuses”, oraz ich wpływ na język. Właśnie poprzez te grupy, które po 1917 roku oficjalnie nazywano „socjalnie spokrewnionymi” lub „politycznie niestabilnymi elementami”, rozpowszechniała się leksyka złodziejskiego argot. Z innej strony patrząc, można by powiedzieć, że to system polityczny ZSRR z jego GUŁagiem stał się przyczyną tego, że ta warstwa leksyki weszła do języka ogólnego, tracąc swoje przeznaczenie tylko dla wtajemniczonych. Takie wyrazy jak: *зона* – ‘strefa więzienna’, *зэк* – ‘aresztant’, *козёл* – ‘zdrajca’, *стукач* – ‘denuncjant’, *расколоться* – ‘przyznawać się’, *замочить* – ‘zabić kogoś’ stały się wyrazami powszechnie używanymi.

Były więzień gułagu, W. Bukowski, pisze w swoich wspomnieniach: „Nie ma żadnej różnicy pomiędzy więźniami i wartownikami. Tylko uniform. Zdejmij go i różnicy już nie ma. Ten sam żargon, te same maniery, pojęcia, psychologia – wszystko jednakowe. Jest to jeden wielki przestępczy świat [...]”. Owa obozowo-przestępcza egzotyka była nieodłączną składową systemu przepowiedzianego przez Lenina w 1917 roku: „Całe społeczeństwo stanie się jednolitym kantorem i jednolitą fabryką [...]”<sup>18</sup>.

Gdyby ktoś zechciał wskazać wyraz ze złodziejskiego argot najczęściej używany na terenach byłego ZSRR, to palmę pierwszeństwa bezwarunkowo otrzymałby wyraz „błat” (ros. *блат*). W XIX wieku wyrazem tym określano wszystko, co złodziejskie, a od połowy lat trzydziestych ubiegłego stulecia poprzez język rosyjski wszedł on do codziennego użycia we wszystkich językach ówczesnego imperium. Wtedy to pojawił się sarkastyczny zwrot: „Błat wyżej od Rady Komisarzy Ludowych”, a takie idiomy jak „po błatu”, „szukać błatu”, „wstąpić po błatu” znane są i dzisiaj każdemu prawie od dzieciństwa.

Dyrektywa Lenina o stworzeniu słownika współczesnego języka rosyjskiego została zrealizowana w latach 1935–1940, kiedy to wyszły drukiem tomy 1–4 słownika pod redakcją profesora D.N. Uszakowa. Z leksykograficznego punktu widzenia był to typowy słownik normatywno-zalecający. Ilustracje słownikowe do wyrazów typu *par-*

<sup>18</sup> В.И. Ленин, op. cit., т. 33, s. 101.

*tia, naród, jedność, praca, przyszłość, sojusz, Lenin, komunizm, radziecki, kolchoz* itp. podane były tylko w kontekście pozytywnym i występowały jako gotowa jednostka komunikatywna, która mieściła w sobie ideologiczne znaczenie. Można powiedzieć, że część wyrazów języka rosyjskiego już w tamtym czasie zaczęła pełnić ideograficzne lub ideofoniczne funkcje. Takie wyrazy mogły zastępować całe zdania, cały tekst, ponieważ teksty radzieckie były „odszyfrowaniem” tego, co już się mieściło w słownikowym znaczeniu zalecanych wyrazów.

Język epoki sowieckiej poddano wszechstronnej analizie w pracy P. Seriota *Analyse du discours politique sovietique*<sup>19</sup>. W tej rozprawie ujawniono dwie osobliwości języka tamtej epoki: tak zwaną nominalizację i spójnik współrzędny. Nominalizacja polega na zastąpieniu form osobowych przez ich wyrazy pochodne z końcówką *-ание, -ение, -ация*. Przy takim podejściu produktem procesu nominalizacyjnego stają się wszystkie rzeczowniki słowotwórczo pochodne, dla których można zbudować synonimiczną parafrazę w postaci zdania. Wynikiem takich niezliczonych nominalizacji staje się „zniknięcie subiektu, podmiotu czynnego tego, o czym się mówi. Wszystkie procesy przybierają tryb bezosobowy, chociaż niepodobny do tego, jaki ma «klasyczna» nieosobowość w języku rosyjskim (na przykład *меня так и осенило* – ‘nagle olśniło mnie’). Po usunięciu subiektu możliwe są dalsze, już czysto ideologiczne manipulacje<sup>20</sup>.

Za pomocą spójnika „и” łączą się pojęcia, które w zwykłym języku rosyjskim nie są synonimami, na przykład „partia i naród”. Spójnik ten może zniknąć i wtedy powstają wyrażenia na wzór: „partia, cały naród” lub „komsomolcy, cała młodzież radziecka”. Przy takim podejściu występuje następny paradoks semantyczny: „duża ilość pojęć staje się w taki sposób ostatecznie niby-synonimami”<sup>21</sup>.

Stalinowska *Bolszaja sowjetskaja encyklopedia* nie wspomina o tym, w jaki sposób teoria, którą tworzone na przestrzeni prawie połowy stulecia, została odrzucona i uznana za „naukowo bezpodstawną” w rezultacie dyskusji (trwającej zaledwie jeden miesiąc – w czerwcu 1950 roku) z udziałem Stalina, który miał do językoznawstwa, delikatnie mówiąc, pośredni stosunek. Na temat przyczyn tej ingerencji istnieją różne hipotezy. Znany slawista izraelski M. Weisskopf, powołując się w swojej książce<sup>22</sup> na R. Brakmana, uważa, że Stalin znenawidził Marra za to, iż ten wystąpił w 1896 roku w czasopiśmie gruzińskim „Iberia” z twierdzeniem, że język gruziński ma pochodzenie semickie i że dawna nazwa Gruzji, Iberia, pochodzi od biblijnego Ibera, praszczura Żydów. Z kolei W. Ałpatow<sup>23</sup> uważa, że zabranie się do językoznawstwa pozwoliło Stalinowi umocnić reputację teoretyka marksizmu. Stalin, wspominając zwrócenie się

<sup>19</sup> P. Seriot, *Analyse du discours politique sovietique. Cultures et Societes de l'Est. 2.*, Paris, Institut d'Etudes Slaves 1985.

<sup>20</sup> Ibidem, s. 40

<sup>21</sup> Ibidem.

<sup>22</sup> М. Вайскопф, *Писатель*, Новое литературное обозрение, Москва 2000.

<sup>23</sup> В.М. Алпатов, *Март, марксизм и сталинизм*, Философские исследования 1993, nr 4, s. 271–288.

ku niemu „grupy towarzyszy z grona młodzieży” (prawdopodobnie mityczne), w pierwszej części swego artykułu *W sprawie marksizmu w językoznawstwie* („Prawda”, wyd. z 20 czerwca 1950 roku) pisze: „Nie jestem językoznawcą i, rzecz jasna, nie mogę całkowicie udzielić towarzyszom satysfakcji. Co dotyczy marksizmu w językoznawstwie, jak i w innych dziedzinach nauk społecznych, to do tego mam bezpośredni stosunek”. Odpowiedź ta harmonizuje z twierdzeniem zwolenników Marra z lat trzydziestych, że „człowiek z dobrym przygotowaniem marksistowsko-leninowskim” może się zajmować budową języka.

W odpowiedzi na hipotezę o umocnieniu reputacji teoretyka marksizmu można powiedzieć, że do przewrotu bolszewickiego w 1917 roku Stalin w najwyższym stopniu negatywnie wypowiadał się o swoich zajęciach teoretycznych. W liście do szefa frakcji bolszewików w rosyjskiej Dumie, Malinowskiego, Stalin narzeka: „Jestem zajęty bzdurami, głupstwem”<sup>24</sup>. O jakiej teorii mogła być mowa, jeżeli Stalin nie władał językami europejskimi, a język rosyjski był dla niego językiem obcym? Przecież styl wczesnych i późniejszych artykułów Stalina jest bardzo prymitywny. W obiegu były jego cytaty na wzór: „Będzie urodzaj – będziemy z chlebem, nie będzie urodzaju – nie będziemy z chlebem”. Większość opublikowanych do 1917 roku artykułów, które zostały włączone do 16-tomowego zbioru dzieł Stalina, jest tłumaczeniem z języka gruzińskiego. Wśród tych tłumaczeń szczególną osobliwością z punktu widzenia językoznawstwa wyróżnia się wydany w 1905 roku przez kaukaski komitet Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji anonimowy tekst broszury *Krótko o partyjnych sprzecznościach*.

Autor broszury (prawdopodobnie jest nim Stalin) omawia poprawność wykorzystania w języku gruzińskim zwrotu „dojść do czego” (użytego w gazecie partyjnych oponentów w cytacie z rzekomej wypowiedzi Marksa): „Żaden człowiek piśmienny nie powie «do którego już doszedł». Poprawnie miałyby być «do którego już przyszedł». Jeżeli autor ma na myśli to ostatnie, to chcę zauważyć, że nieprawidłowo przekazuje on słowa Marksa, Marks nic podobnego nie mówił. Jedno z dwóch: albo autor nie zna języka gruzińskiego, albo jest to błąd zecera”.

Kategoryczne twierdzenie o tym, że „Marks nic podobnego nie mówił”, mimo wolnie naprowadza na myśl, że autor artykułu czytał go w oryginale. Wiadomo, że Stalin nie znał żadnego innego języka obcego oprócz rosyjskiego. W 1913 roku, kiedy w ślad za Leninem przyjechał do Wiednia, zaczął pracować nad artykułem *Marksizm i zagadnienia narodowe*. Z prac publicystycznych pisarza austriackiego Milo Dora<sup>25</sup> dowiadujemy się, że Stalin przez dwa miesiące zamieszkiwał przy ulicy Schönbrunner Schlosstraße 30, w mieszkaniu numer 7, u dziennikarza Aleksandra Trojanowskiego. Wychowawczynią małej córki gospodarza była studentka Sofia Weiland. To ona, według Dora, pomagała Stalinowi podczas jego pracy nad artykułem, to ona przynosiła mu książki i tłumaczyła te miejsca, które chciał cytować. Albo Sofia nie znała dosko-

<sup>24</sup> Э. Радзинский, *Сталин*, Москва, Вагрус 1999, s. 54.

<sup>25</sup> M. Dor, *Bahnhof der Geschichte*, in: *Wohnort von Männern, die später die Welt veränderten*, Wien, Extra Lexika 1913/14.

nale języka niemieckiego, albo próbowała się dostosować przy tłumaczeniu do zdania zleceniodawcy, w każdym razie Stalin w swoim artykule odzwierciedlił punkt widzenia socjaldemokracji austriackiej niepoprawnie. O tym, że Lenin przyłożył rękę do poprawienia artykułu, świadczą chociażby użyte w nim następujące zapożyczenia obce: *dyferencjacja, konsolidacja, dyplomatycznie sankcjonowany, zewnętrzna koniunktura, organizacja eksterytorialna* itd. Na marginesie warto przypomnieć, że Stalin uwielbiał Lenina, ubóstwiał go. „Żył jego myślami, kopiował go w takim stopniu, że dla kpiny nazywaliśmy go «lewą nogą Lenina»” – tak wspominał rewolucjonista R. Arsenidze<sup>26</sup>.

Stalinowska *Bolszaja sowjetskaja encyklopedia* nie wspomina też o tym, że głównym współautorem artykułu *W sprawie marksizmu w językoznawstwie* był gruziński językoznawca A.S. Czikobawa. W artykule *Kiedy i jak to było*, który został włączony do antologii *Перед рассветом*<sup>27</sup>, Czikobawa wspomina, że wiosną 1949 roku pierwszy sekretarz KC Partii Komunistycznej Gruzji K.N. Czarkwiani zaproponował mu napisanie referatu o stadialnym rozwoju języka według teorii Marra. Referat został napisany, lecz Czikobawa nie informuje, jak wyjaśnił swoją propozycję Czarkwiani. Minął rok. Na początku marca 1950 roku Czikobawa został poinformowany przez republikański KC Partii, że niebawem czeka go delegacja służbowa do Moskwy, gdzie sekretarze KC będą dyskutowali o zagadnieniach językoznawstwa. Wieczorem 10 kwietnia Czikobawa, Czarkwiani oraz przewodniczący Rady Ministrów Gruzji razem z dwoma ministrami przyjechali na dach Stalina, gdzie zostały poddane dyskusji krytyczne uwagi do pierwszego tomu *Słownika języka gruzińskiego* oraz zagadnienia „nowej teorii” Marra. Czikobawa wspomina: „Podjęto decyzję o przeprowadzeniu dyskusji; napisać artykuł dyskusyjny zlecono mnie”. Artykuł Czikobawy Stalin czytał dwa razy i zrobił uwagi, które były dyskutowane przez dwie lub trzy godziny. Czikobawa wspomina, że jeszcze na pierwszym spotkaniu Stalin powiedział: „Marr dużo krzyczał o marksizmie, lecz aż tak naprawdę marksistą nie był”.

Kiedy badacze szukali odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak to się potoczyło, dlaczego dyktator wypowiadał się na tematy językoznawcze, w czasopiśmie „Forum”<sup>28</sup> opublikowano rozszyfrowanie zagadki, czemu to na łamach gazety „Prawda” w 1950 roku pojawiały się artykuły poświęcone zagadnieniom językoznawstwa. W opublikowanych w czasopiśmie „Forum” zapiskach pamiętnikarskich W.S. Semionow, były zastępca Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR i były ambasador w Niemczech, wspomina: „Zastępca ministra A.A. Smirnow opowiadał, że był świadkiem tego, jak Stalin strofował Malenkowa za to, że ten roztrząbił o pracy *Marksizm a zagadnienia językoznawstwa*: „To twoja robota. Ja ciebie znam. A czy ty wiesz, dlaczego i jak napisałem tę pracę? To lekarze powiedzieli mi, żebym się zajął jakąkolwiek niepolityczną i niewojсковą sprą-

<sup>26</sup> Э. Радзинский, *op. cit.*, s. 54.

<sup>27</sup> *Перед рассветом. Сумерки лингвистики. Из истории отечественного языкознания. Антология*. Москва, Academia 2001.

<sup>28</sup> *Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры*, Русское издание 2006, nr 1, online <<http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss5.html>>.

wą. Ja wybrałem tę. Ale jaki ze mnie językoznawca? Jest jasne, że nie jestem żaden znawca. Miałem oderwać się od swoich zajęć, zająć mózg inną sprawą. Jest to praca niespecjalisty, a jednak wy przedstawiacie to jak odkrycie. Jest to oburzające!”. Smirnow dodał, że Stalin naprawdę był bardzo zmęczony i lekarze rzeczywiście zaordynowali mu takie „oderwanie się od zajęć”.

Warto podkreślić, że mimo krytyki Lenina *Słownik żywego wielkoruskiego języka* W.I. Dala (1801–1872) niewątpliwie pozostał do dziś najśłynniejszym słownikiem opisowym języka rosyjskiego. Mimo istnienia słowników języka rosyjskiego różnych typów, wielotomowych opisów leksykograficznych, okazuje się od czasu od czasu, że *Słownik* Dala odzwierciedla język rosyjski dokładniej i kompletniej. Jest to zbiór leksyki dotyczącej głównie różnych socjolektów języka rosyjskiego (ponad 200.000 haseł), ułożony przez dyletanta samouka, który niejednokrotnie wzywał do tego, aby pisać tak, jak się mówi, a nie jak się zaleca, przeciwstawiając w taki sposób słowniki opisowe słownikom zalecającym.

Wracając do tego, że zagadnienia językoznawstwa stawały się tematem dyskusji sekretarzy KC Partii Komunistycznej ZSRR, to fakt ten tylko potwierdza przewidywania Marksa. Rosyjski krytyk literacki i pamiętnikarz P.W. Annenkov, opisując spór Marksa z pierwszym niemieckim teoretykiem komunizmu W. Weitlingiem, wspomina: „Weitling chyba mówiłby jeszcze i jeszcze, gdyby Marks, gniewnie nachmurzywszy brwi, nie przerwał mu i nie zaczął protestować. Treść jego złośliwego przemówienia zawierała się w stwierdzeniu, że agitować naród, nie dając mu żadnych twardo przemyślanych podstaw postępowania, znaczyłoby po prostu go oszukiwać. Rozniecanie fantastycznych nadziei, o których akurat mówiono – kontynuował Marks – prowadzi do ostatecznej zagłady, a nie do ocalania cierpiących [...]. Oto – dodał, nagle pokazując na mnie gwałtownym gestem – między nami znajduje się Rosjanin. W jego kraju, Weitlingu, wasza rola naprawdę mogłaby być dorzeczna, tylko tam naprawdę mogą się z powodzeniem tworzyć i funkcjonować sojusze między niedorzecznymi prorokami oraz niedorzecznymi wyznawcami”<sup>29</sup>.

Okrutna epoka porodziła nowe wyrazy dla nazywania ludzi o alternatywnych poglądach, na przykład połączenie wyrazowe *враг народа* (‘wróg ludu’), które weszło w użycie od razu po rewolucji październikowej. Ciekawe, że w trzecim wydaniu *Словаря русского языка* S. Ożegowa, które zostało podpisane do druku po śmierci Stalina, w 1953 roku, wyraz *инакомыслящий* (‘człowiek o odmiennych poglądach’) został odniesiony do grona wyrazów przestarzałych.

<sup>29</sup> П.В. Анненков, *Замечательное десятилетие. 1838–1848*, в: *Вестник Европы 1880*, вып. 4, с. 497–499.

## Summary

### Problems of Linguistics as an Anti-Fatigue Therapy

The present article deals with the role which played Marr and Stalin in Soviet linguistics. In the late 1920s and early 1930s, political language came under increasingly strict and unified Party control. The modernist theories of language were replaced by the “new theory of language”, developed by Soviet ethnographer and archeologist Nikolai Marr, who argued, in a Marxist evolutionist tradition, that language is part of the superstructure and its transformations follow changes in the social base.

Linguistic formulations were evaluated by Party experts, among whom Stalin was the chief expert. In 1950 Stalin publicly attacked theoretical schools in Soviet linguistics on the pages of “Pravda” for “vulgar Marxism”. He critiqued Marr’s view of language. He also attacked the view of language as a tool of production, i.e. as a part of the base, the view that was still dominant in the ideological work of the Party organs.

**Людмила Савенкова**  
Ростов-на-Дону (Россия)

## ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПАРЕМИОЛОГИИ»: СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

**Key words:** proverb, the Russian language, course of studies, methods

В Государственном образовательном стандарте обучения российских студентов, осваивающих специальность «Филология» со специализацией «Русский язык и литература», предусматриваются курсы по выбору студентов, часть из которых призвана углублять их знания в рамках основных, обязательных для всех обучаемых лиц дисциплин, другая же – расширять область их компетентности в соответствии с приобретаемой специализацией. В числе этих вторых – электив, посвящённый проблемам исследования русских пословиц и поговорок. Этот курс разработан автором данной статьи и читается на факультете филологии и журналистики Федерального государственного образовательного учреждения «Южный федеральный университет» (бывший Ростовский государственный университет) на протяжении 15 лет.

Прежде чем приступить к описанию означенного курса, целесообразно, не входя в полемику, до сих пор актуальную для славянской филологии, дать дефиниции трёх основных терминов, принятые в качестве рабочих и базовых для данного курса: пословица, поговорка и паремия.

Пословица – устойчивое в языке и воспроизводимое в речи анонимное обобщающее изречение, хотя бы часть элементов которого наделена переносным значением и которое пригодно к использованию в дидактических целях.

Поговорка – устойчивое в языке и воспроизводимое в речи анонимное обобщающее изречение, лишённое переносности значения и пригодное для употребления в дидактических целях.

Эти дефиниции позволяют заключить, что в кругу устойчивых словесных комплексов пословица структурно и функционально наиболее близка поговорке, но первая отчетливо отличается от второй наличием переносности значения (по

сравнению с деривационной базой) и, как следствие, – существованием определенной амплитуды абстрактности семантики.

В отличие от пословицы в поговорке каждое слово выступает в прямом значении. Её семантическое тождество в разных речевых ситуациях сохраняется, а целостность поговорочной семантики обеспечивается лишь за счет передаваемого ею обобщения: поговорка утверждает общепринятость (или принятость значительным количеством носителей языка) характеристики, оценки и т.п. предмета речи, ср.: *Здоровье дороже богатства, Деньги – дело наживное*.

Пословица также обобщает, заключая в себе модель некоей ситуации, но обобщение соединяется в ней с образностью, ср.: *Жена не лапоть: с ноги не скинешь* – ‘жена – постоянный спутник мужа, с которым надо считаться’; *На волка только слава, а овец таскает Савва* – ‘обвиняют в чем-л. одного, а в действительности виноват другой’ и др.

Паремия, выступая по отношению к терминам «пословица» и «поговорка» в качестве родового термина, может быть определена как устойчивое в языке и воспроизводимое в речи анонимное изречение, пригодное для употребления в дидактических целях.

Курс предлагается вниманию студентов, которые уже получили знания по таким дисциплинам, как «Введение в языкознание», «Современный русский язык: Лексикология. Лексикография. Фразеология. Фонетика. Морфемика и словообразование», «Фольклор», «Древнерусская литература». Изучение перечисленных дисциплин позволяет студентам ознакомиться с рядом понятий, на основе которых можно усвоить новые.

Базовые понятия, имеющиеся у студентов к началу элективного курса, – языкознание, лексикология, фразеология; понятие, семантика, лексическое значение, полисемия, языковой знак, слово, фразеологическая единица; парадигматические отношения: омонимия, синонимия, антонимия, конверсия, гиперонимия, гипонимия; синтагматические отношения; жанр; загадка, пословица и поговорка (как малые жанры фольклора). В сопоставлении с ними в названном элективе осваиваются новые понятия и термины: лингвокультурология, лингвокогнитология, концепт; суждение, побуждение, вопрос как логические формы высказывания; символ, эталон, стереотип, фольклорное клише, речевой (дискурсивный) знак, паремия, паремиология, пословица и поговорка (как языковые знаки), афоризм, крылатые слова, крылатая фраза; реализация парадигматических отношений на паремиологическом уровне, внутренняя синтагматика паремии, внешняя синтагматика паремии.

Цель курса – создать представление о паремиологической подсистеме языка как периферийной области системы знаков, выполняющих характеризующую, ценностно ориентирующую, дидактическую, кумулятивную функции и обеспечивающих успешную коммуникацию.

Достижение цели предполагает решение семи задач:

– познакомить студентов с историей собирания устойчивых словесных комплексов в русской культурной традиции;



- дать понятие пословицы, продемонстрировав формирование терминологического значения у слова «пословица»;
- представить семиотическую сущность пословиц;
- определить место пословиц в системе устойчивых словесных комплексов, их роль в формировании ценностных установок индивида как члена этноязыкового коллектива и значимость в речевом общении;
- показать особенности паремийной семантики, основные типы семантической структуры паремий;
- проанализировать механизм возникновения пословиц, условия их функционирования и факторы, обеспечивающие их жизнеспособность;
- раскрыть теоретическую и практическую лингвокультурную значимость для носителя языка освоения паремииологического фонда.

Курс предполагает сочетание лекционной части с лабораторной и самостоятельной работой студентов.

На вводном занятии пословицы характеризуются как особый тип языкового творчества народа; здесь даётся мотивация значимости практического овладения паремииологическим запасом языка и необходимости теоретико-лингвистического исследования паремииологической подсистемы языковых знаков.

Далее студенты узнают об основных этапах собирания и изучения русских паремий, получая информацию о рукописных и первых печатных сборниках пословиц и поговорок, о первом филологическом осмыслении пословиц М.В. Ломоносовым. Таким же образом, в лекционной форме, студенты знакомятся с исследованием русских паремий в XIX веке – трудами И.М. Снегирёва, являющимися собой первую обстоятельную и очень удачную попытку системного осмысления феномена пословицы; результатами работы В.И. Даля как собирателя и исследователя русских пословиц; анализом кумулятивной функции пословиц в трудах Ф.И. Буслаева; теорией А.А. Потебни об алгебраической сущности пословицы.

Завершается этот блок курса характеристикой сборников русских пословиц и поговорок XX – начала XXI веков с описанием принципов отбора и подачи материала в различных изданиях и кратким знакомством с наиболее известными современными словарями русских пословиц.

Хотя речь идёт, на первый взгляд, лишь о подступах к лингвистическому исследованию паремий, нельзя дать этот материал в беглом обзоре или даже предложить его для самостоятельного ознакомления. Студентам необходимо показать на отсутствие единого понимания сущности объекта изучения. Итоговое занятие в данном блоке – лабораторное. Оно предполагает создание сопоставительной таблицы, которая выявляет отсутствие тождества наборов признаков понятий «пословица», «поговорка», «паремия» в научной и справочной литературе, у разных отечественных филологов, и даёт возможность сосредоточиться на разграничении фольклористского и лингвистического подходов к единицам исследования.

Во втором блоке от истории совершается переход к теории вопроса.

Осмыслив широкое и узкое понимание паремии различными учёными, студенты постигают семиотическую сущность паремии: в ней, как уже говорилось, находит отражение модель ситуации или отношения между вещами [Пермяков 1970]. Закреплению этой информации способствует выполнение упражнения, где студенты должны семантизировать предлагаемые им пословицы и назвать примеры конкретных ситуаций, в которых уместно их использование. Здесь важно вначале дать единицы, активно используемые в современной речи (например: *Не плюй в колодец: пригодится воды напиться; За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь; Не продавай шкуры, не убив медведя*), а затем и неизвестные до этого студентам (*Не наш конь, не наши и воз; Красная ложечка до трёх дней, а потом прихлебается и под лавкой навалется; Рада бы Маша за попа, да поп не берёт*) паремии. Такое сочетание материала повышает интерес обучаемых, пополняет багаж знаний, развивает их прагматический потенциал.

Создавая толкования значений пословиц, студенты убеждаются в отсутствии жёсткой границы между языковыми (системными) и речевыми (дискурсивными) знаками, поскольку паремии содержат признаки номинативной и дескриптивной единицы, могут восприниматься как знак (чаще соотносимый не с элементом, а с фрагментом реальности) и как микротекст. Это позволяет объяснить обучаемым специфику паремии как особого типа языкового знака, содержащего ту или иную меру иконичности (подробнее об этом см.: [Савенкова 2002]).

Получив общее представление о паремиях, студенты готовы более глубоко осмыслить семантическую структуру русских паремий. Соединение лекционной и лабораторной форм занятий позволяет на основе уже имеющихся у студентов знаний о семантической структуре слова выявить дифференциальные признаки пословицы и поговорки как паремий разного типа, прийти к выводу о том, что механизмом образования поговорки является обобщение, а условием формирования семантики пословицы выступает переосмысление деривационной базы. Рассмотрев на основе выполнения ряда упражнений основные процессы создания значения пословицы – метафоризацию и метонимизацию, студенты обучаются разграничивать пословицы с синтетичным и аналитичным значением. Среди упражнений, выполняемых в данном блоке, есть, например, такие:

1. Сопоставьте по значению паремии *Какова мать, таковы и дети* и *Яблочко от яблоньки недалеко падает*. Сделайте вывод о механизме образования каждой из них.

2. Какие из приведённых ниже пословиц возникли путём метафорического переосмысления изречения или его компонента (компонентов), а какие – путём метонимизации? Охарактеризуйте основания переноса наименования.

*Достают хлеб горбом, достают и горлом; Пусти душу в ад – будешь богат; С плохими косцами плох и укос; Не кланяюсь Варваре: своё есть в кармане.*

3. Определите значение каждой из приведённых ниже пословиц. Выскажите предположения, каким путём формировалась семантика этих единиц: переосмыслялось ли переменное предложение целиком или налицо переосмысление лишь части компонентов.

*В семье и каша гуще; За чужой головой ино и легче жить, да тошнее; Молодость плечами крепче, старость – головою; Полюбится сова лучше ясного сокола; Сытая лошадь меньше съест; Цена зайцу – две деньги, а бежать – сто рублей.*

Следующий этап анализа семантики паремий – разграничение денотативного значения и прагматического смысла пословицы. Здесь студенты вновь обращаются к моделированию ситуаций употребления паремий, причём в подборках материала используются единицы, способные отражать противоположные смыслы в зависимости от цели говорящего (ср.: *И Бога хвалим и грешим* – как признание неизбежности собственной грешности (нечто вроде самоизвинения) и как осуждение ханжества других людей; *Жаль, жаль, а пособить нечем* – как констатация собственной беспомощности в ситуации чужой беды и как выражение досады по поводу бездействия, когда в помощи нуждается говорящий).

После того как студенты получили знания о семиотической и собственно семантической сущности пословиц и поговорок, в лабораторной форме с привлечением теории фольклорных клише Г.Л. Пермякова проводится занятие, обучающее разграничению паремий и сходных с ними словесных комплексов языка и речи, отличению паремий от фразеологических единиц (ФЕ), анекдотов, загадок, примет и т.д. Студенты работают с конкретным материалом. Например, им предлагается, охарактеризовав значение и структуру ряда единиц (*Блажен, кто верует, тепло ему на свете!*; *Ворона за море летала, да вороной и вернулась*; *Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт*; *Лучше с умным в аду, чем с глупым в раю*; *Ни на меру, ни на вес, а у всех людей есть. Что это? (Ум)*; *Растекаться мыслью по древу*; *Ума палата у кого-либо*; *Умную речь хорошо и слушать*), выбрать из списка пословицы и определить, чем является каждый из оставшихся словесных комплексов:

Место паремий в системе устойчивых (и относительно устойчивых) словесных комплексов, наиболее близких им по семантике и/или структуре, демонстрирует приводимая ниже таблица, где «О» обозначает обязательный признак, «Ф» – факультативный, «Н» – отсутствие признака.

Признак \ Тип словесного комплекса	Пословица	Поговорка	Крылатые слова	Афоризм	ФЕ
Наличие переносного значения по сравнению с деривационной базой	О	Н	Ф	Ф	О
Оценочность	О	Ф	Ф	Ф	Ф
Дидактичность	О	О	Ф	Ф	Н
Соотносимость с понятием	Ф	Ф	Ф	Ф	О
Соотносимость с суждением или побудительной структурой	О	О	Ф	О	Н
Структура непредикативного или предикативного словосочетания либо сочетания слов сочинительного характера	Н	Н	Ф	Н	О
Структура предложения	О	О	Ф	О	Н
Анонимность	О	О	Н	Н	О
Наличие автора	Н	Н	О	О	Н
Оригинальность взгляда на обозначаемый фрагмент действительности	Н	Н	Ф	Ф	Ф
Устойчивость	О	О	Ф	Ф	О
Воспроизводимость	О	О	Ф	Ф	О

Следующий блок сведений подаётся в совокупности лекционной, лабораторной и самостоятельной форм занятий. В нём даётся подробный обзор наметившегося в последней четверти XX столетия и активно развивающегося лингвокогнитивного и лингвокультурологического изучения паремий. Здесь на основе обращения к работам современных лингвистов осуществляется анализ кумулятивной функции русского паремиологического фонда, демонстрируется исследование паремиологической знаковой подсистемы как средства познания человеком действительности, его ценностной ориентации, отражения языковой картины мира [Бондаренко 2000; Бочина 2003; Быков 1999; Бирих, Мокиенко, Степанова 1998; Левонтина 1999; Мелерович 1998; Никитина 1998; Тарланов 1999], раскрывается компаративный аспект изучения пословиц [Вальтер, Мокиенко 2005; Савенкова 2002; Фархутдинова 2002; Фёдорова 2007].

В лабораторной части студенты исследуют логику паремий, возможные варианты выражения внутренней логики через внешнюю форму, что позволяет им осознать общность логической основы пословиц и поговорок разных народов как отражение единых законов человеческого мышления. Обучаемые распределяют паремии на группы в соответствии с воплощением в них логем – обобщающих исходных формул, объединяющих группы конкретных характеристик и оценок отдельных культурно значимых смыслов, которые передаются, в частности, средствами паремиологического фонда; определяют, какие единицы мышления (суждение, побуждение, вопрос) лежат в основе предлагаемых для анализа пословиц.

В этом же блоке студенты знакомятся с идеей провербиального пространства языка [Левин 1998], поскольку в пределах группы паремий, подходящих под одну логику либо объединяемых вокруг противопоставленных друг другу логем, обнаруживается специфика системных связей в кругу русских паремий.

Затем исследуется образная структура логически сходных паремий, бытующих в речи народов мира. Студентам предлагаются ряды пословиц, к которым необходимо подобрать русские соответствия, ср.: *Хоть в Мекку повези, острота чеснока не пройдёт* (чеченск.); *Сколько ни встряхивай короткую одежду, она длинной не станет* (вьетнамск.); *Бревно хоть и попадёт в реку, всё равно не станет крокодилом* (бауле). Упражнения такого рода демонстрируют специфику предметно-образной основы русских пословиц по сравнению с пословицами тех этносов, культура каждого из которых во многом отличается от русского. В то же время создаётся база для последующего выявления тесной общности славянских культур, реализуемой в их языках. Это становится возможным, когда студентам предлагается на основе изучаемых ими славянских языков (параллельно в соответствии с учебным планом студенты обучаются польскому или сербохорватскому языкам; кроме того, в силу особенностей географического положения Ростова – его близости к украинской границе – в числе студентов есть говорящие и читающие по-украински) подготовить доклады на базе самостоятельного анализа материала двух языков.

Исследование кумулятивной функции паремий делает необходимым введение понятий «концепт» и «ценность» и рассмотрение иерархии ценностей русского народа, реализуемой в русской паремике. Здесь в лекционной форме даётся только обзор точек зрения на понятие «концепт», а также объяснение терминов: символ, стереотип, эталон. Остальные занятия проходят в форме лабораторных работ с обсуждением особенностей паремнологической реализации отдельных концептов, стереотипов, эталонов, например: «Представление о своем и чужом (варианты: о счастье, о труде, о смелости и т.д.) в русских пословицах». Памятуя о том, что пословица соединяет в себе признаки языкового знака и текста, в курсе необходимо изучить функционирование слов-символов в русских пословицах (антропонимов, топонимов, анимализмов, соматизмов и т.д.). Естественно, что на лабораторное занятие выносятся материал, освещающий только одну такую группу лексем. С остальными студенты работают самостоятельно, а результаты исследований представляют в форме докладов. Именно студенческие выступления, занимающие не менее одной трети всего времени, которое отводится на курс, оказываются наиболее продуктивной формой усвоения материала. Как правило, эти занятия проходят в оживлённых дискуссиях, поскольку каждый участник электива работает с конкретным материалом, который выбирает самостоятельно из существующих собраний паремий, фразеологических и паремнологических словарей, а порой и из живой речи. Конечно, иногда сообщения студентов носят реферативный характер, но подавляющее большинство предпочитает исследовательские доклады. Часть из них оказывается основой последующих курсовых и даже выпускных квалификационных работ. Иллюстрацией может

служить развитие темы от доклада в рамках электива к дипломной работе выпускника 2006 г. факультета филологии и журналистики нашего университета В. Панычика: 2 к.: доклад в рамках электива «Представление о голоде и сытости в русской паремике» > 2 к.: курсовая работа «Представление о физическом дискомфорте в русских паремиях» > 3 к.: курсовая работа «Представление о психологическом дискомфорте в русских паремиях» > 4 к.: курсовая работа «Лексика, характеризующая дискомфорт, в русских паремиях» > 5 к.: дипломная работа «Представление о дискомфорте в русской паремиологии: лексико-семантический и грамматический аспекты». Пример демонстрирует, как в дальнейшем знания, приобретённые в рамках элективного курса, могут углубляться и развиваться в индивидуальной научной работе со студентами.

### Библиография

- Арапов А.М. (1999). *Библейская цитата: словарь-справочник*. / А.М. Арапов, Л.М. Барботько. М.
- Берков В.П. (2000). *Большой словарь крылатых слов русского языка* / В.П. Берков, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулержкова. М.
- Бирих А.К. (1998). *Словарь русской фразеологии: Историко-этимологический справочник* / А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова. СПб.
- Бондаренко В.Т. (2000). *Смех в зеркале русской фразеологии*. В: В.Т. Бондаренко. *Филология на рубеже тысячелетий. Материалы Междунар. науч. Конф.* Вып. 2. Язык как функционирующая система. Ростов-на-Дону. С. 54–56.
- Бочина Т.Г. (2003). *Контраст как лингвокогнитивный принцип русской поговорки: Автореф. дис. [...] д-ра филол. наук*. Казань.
- Буслаев Ф.И. (1861). *Русский быт и пословицы*. В: Ф.И. Буслаев. *Исторические очерки русской народной словесности и искусства*. Т. 1: *Русская народная поэзия*. СПб.
- Быков В.Б. (1999). *Русские блатные пословицы и поговорки (лингвистические аспекты субстандартной паремии)*. В: В.Б. Быков. *Структура и семантика художественного текста: Докл. VII Междунар. конф.* М. С. 11–28.
- Вальтер Х. (2005). *Антипословицы русского народа*. / Х. Вальтер, В.М. Мокиенко. СПб.
- Вальтер Х. (2005). *Сопоставительная фразеология и историческая фразеология*. В: Х. Вальтер, В.М. Мокиенко. *Национально-культурный компонент в тексте и языке: Материалы докл. III Междунар. науч. конф. под эгидой МАПРЯЛ*. Минск, 7–9 апреля 2005 г. В 3 частях. Ч. 1. Минск. С. 4–7.
- Гвоздарёв Ю.А. (1988). «Свод народной опытной премудрости». *Вступительная статья*. / Ю.А. Гвоздарёв // Пригоршня жемчужин. Пословицы и поговорки народов Северного Кавказа. Ростов н/Д.
- Даль В.И. (1880–1882). *Толковый словарь живого великорусского языка*. 2-е изд. В 4 т. М.
- Даль В.И. (1984). *Пословицы русского народа*. В 2 т. М.
- Жуков В.П. (1991). *Словарь русских пословиц и поговорок*. 4-е изд. М.
- Зимин В.И. (1996). *Пословицы и поговорки русского народа. Объяснительный словарь*. / В.И. Зимин, А.С. Спирин. М.
- Иванов Е.Е. (2007). *Русско-белорусский паремиологический словарь*. / Е.Е. Иванов, В.М. Мокиенко. Могилёв.

- Дубровин М.И. (ред.) (1998). *Иллюстрированный сборник пословиц и поговорок на пяти языках*. М.
- Кожемяко В.С. (2000). *Русские пословицы и поговорки и их немецкие аналоги*. / В.С. Кожемяко Л.И.Подгорная. СПб.
- Королькова А.В. (2004). *Словарь афоризмов русских писателей* / А.В. Королькова, А.Г. Ломов, А.Н. Тихонов. М.
- Котова М.Ю. (2000). *Русско-славянский словарь пословиц с английскими соответствиями*. / Под ред. П.А. Дмитриева. СПб.
- Левин Ю.И. (1998). *Поэтика. Семиотика*. М.
- Левонтина И.Б. (1999). *Ното piger*. В: И.Б. Левонтина. *Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке*. М. С. 105–113.
- Ломоносов М.В. (1952). *Краткое руководство к красноречию*. В: М.В. Ломоносов. *Полное собрание сочинений*. Т. 7. М., Л. С. 89–378.
- Мелерович А.М. (1998). *Смысловая структура пословиц*. В: А.М. Мелерович. *Семантика языковых единиц. Докл. VI Междунар. конф.* Т. 1. М. С. 275–277.
- Никитина Т.Г. (1998). *Проблемы изучения этнокультурной специфики фразеологии*. Псков.
- Пермяков Г.Л. (ред) (1968). *Избранные пословицы и поговорки народов Востока*. Сб. М.
- Пермяков Г.Л. (1970). *От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише)*. М.
- Потебня А.А. (1990). *Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка*. / А.А. Потебня // Теоретическая поэтика. М.
- Савенкова Л.Б. (2002). *Паремия и языковой знак. Статья 2*. Филологический вестник Ростовского государственного университета № 2. С. 37–43.
- Савенкова Л.Б. (2002). *Русская паремииология: семантический и лингвокультурологический аспекты*. Ростов н/Д.
- Снегирёв И.М. (1995). *Русские народные пословицы и притчи*. М.
- Степанов Ю.С. (1997). *Константы. Словарь русской культуры*. М.
- Тарланов З.К. (1999). *Русские пословицы: синтаксис и поэтика*. Петрозаводск.
- Фархутдинова Ф.Ф. (2002). *Концептуальный анализ паремических единиц*. / Ф.Ф. Фархутдинова / В: *Материалы Междунар. науч. конф. «Фразеология и миропонимание народа»*. Ч. 1: *Фразеологическая картина мира*. Тула. С. 185–191.
- Фёдорова Н.Н. (2007). *Современные трансформации русских пословиц. Автореф. дис. [...] канд. филол. Наук*. Великий Новгород.
- Цвиллинг М.Я. (1984). *Русско-немецкий словарь пословиц и поговорок*. М.
- Sprichwörter. Proverbs. Пословицы. Prysłowia. Přisлові. Proverbjes. Proverbios. Proverbia. Ausgewelt und zusammengestellt auf der Grundlage eines Manuskripts von Richard Schmelz. Berlin 1989.

## Summary

### The Elective Course “Russian Proverbs and Problems of General Paremiology”: Content and the Methods of Teaching

This article is about the object, aims and purposes, contents and structure of the course of studies “Russian proverbs and problems of general paremiology” and the methods of rational teaching of this course.





# LITERATUROZNAWSTWO I KULTUROZNAWSTWO

**Wiera Bielousowa**

Instytut Neofilologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

## „НА ЗЕРКАЛО НЕЧА ПЕНЯТЬ...” (К ИСТОРИИ ОДНОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ)

**Key words:** antinomy, relationship – polarity, similarity – antipode

Облик русского общества 30-х годов XIX века, несомненно, в первую очередь, складывался под воздействием творчества двух личностей – Н. Гоголя и П. Чаадаева, личностей столь же похожих, сколь и противоположных. Их странная нелюбовь друг к другу была известна многим современникам. Её трудно объяснить причинами идеологического, мировоззренческого характера: в их творческом сознании было много общего, каждый из них сыграл новаторскую роль в русской культуре. „Гоголь был первым, кто [...] сделал литературу своеобразной формой игры с ней”<sup>1</sup>, Чаадаев – первый русский философ в собственном смысле этого понятия: „скорбный трагический образ Чаадаева стоит у самого исхода созревшей русской мысли XIX века”<sup>2</sup>. Именно с Гоголя начинается в русской литературе то движение, которое принадлежит не только истории литературы, но и истории религиозно-социальных исканий. Чаадаев же занимает в нём место первого философа, выдвинувшего постулат христианской философии истории. И писатель, и философ озабочены историческими судьбами России, их творчество пронизано тревогой и болью за неё. Оба убеждены, что величайший нравственный переворот, который совершится в людях, проникнувшихся религиозной идеей, всколыхнет страну и станет отправной точкой её обновления. Их роднит и взгляд на христианство как универсальный культурный феномен. Объединяет эти творческие личности и тот общий взгляд на Россию, который „показал всю Россию бездоблестной”<sup>3</sup>.

Поражает и антиномичность их творчества: творчество одного колеблется в амплитуде от романтического и комического до нравственно-дидактической

<sup>1</sup> М. Мамардашвили, *Мысль под запретом*, Вопросы философии 1992, № 5, с. 11.

<sup>2</sup> О. Мандельштам, *Петр Чаадаев*, в: его же, *Сочинения* в 2-х томах, т. 2, Москва 1990, с. 36.

<sup>3</sup> В. Розанов, *Мысли о литературе*, Москва 1989, с. 290.

проповеди; другого, Чаадаева, от утверждения исторической отсталости России как сугубо негативного фактора до понимания этого же фактора как положительного.

Нельзя не отметить и одинаковую оценку русским обществом столь разных по форме творческих феноменов. Реакцию на постановку *Ревизора* и выход в свет в „Телескопе” *Первого философического письма* Чаадаева наиболее точно характеризует Алексей Веселовский в своём этюде *Гоголь и Чаадаев*. „Дружные рукоплескания, смех и фанатическое негодование – вот прихоть неразвитого мнения, которое решило участь двух примечательных явлений в истории нашего самосознания, – гоголевской сатиры и философских писем Чаадаева”<sup>4</sup>.

Трудно не обратить внимание и на совпадение кульминационной развязки жизненных биографий этих людей. Болезнь Гоголя, сожжение рукописей, его смерть и к концу XX века вопрос не до конца решенный. Странной и не до конца разгаданной была и смерть Чаадаева. Его первый биограф, свидетель болезни и кончины, Михаил Жихарев, пишет: „Кратковременная острая болезнь довольно загадочного свойства в три с половиной дня справилась с его чудесным и хрупким нервным существом [...] в последние трое с половиной суток своей жизни он прожил, если можно так выразиться, в каждые сутки по десяти или пятнадцати лет старости”<sup>5</sup>. Сам Чаадаев, заводя разговор о смерти, часто повторял, что своей смертью удивит всех<sup>6</sup>. Можно проследить общность и в самом характере работы над *Философическими письмами* и *Мертвыми душами*: оба смотрят на Россию издалека. К этому необходимо прибавить единство проповеднического начала, столь присущее как Гоголю, так и Чаадаеву.

Наконец, и писатель, и философ имеют как творческую биографию, так и создают творческую автобиографию. Писатель – *Авторской исповедью* и *Выбранными местами...*, сожжением II тома *Мертвых душ*, философ – *Апологией сумасшедшего* и своими письмами, которые он считал явлением общественным.

В ракурсе избранного рассмотрения нельзя пройти мимо общей половой загадки этих личностей. Однако искать в ней причину неприязни, скрывающую, возможно, внутреннее тяготение друг к другу, некорректно и слишком просто. На мой взгляд, свет на неприятие друг другом этих людей может пролить какое-то глубинное психологическое родство-полярность Гоголя и Чаадаева, проявившееся и в чертах характера, и во внешности, и в жизненной судьбе этих

<sup>4</sup> А. Веселовский, *Этюды и характеристики. Из этюда о Гоголе*, Москва 1903, с. 17.

<sup>5</sup> М. Жихарев, *Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве*, в: *Русское общество 30-х годов*, Москва 1989, с. 48.

<sup>6</sup> Биографические факты Чаадаева взяты из: мемуаров Михаила Жихарева, в: *Русское общество 30-ых годов XIX в.*, Михаила Гершензона, *П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление*, Бориса Тарасова, Чаадаев, Владимира Лазарева, Чаадаев; о Гоголе – из работ: П. Анненков, *Литературные воспоминания*, В. Вересаев, *Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников*, в: В. Вересаев, *Сочинения в 4-х томах*, т. 3: *Гоголь в воспоминаниях современников*, Д. Чижевский, *Неизвестный Гоголь*, в: *Гоголь. Материалы и исследования*.

людей. Экзальтированность Гоголя, граничащая с неврастенией, перекликается с ипохондрией Чаадаева, от которой он в молодости лечился. Оба бесконечно думают о своём здоровье: Чаадаев боится любой заразы, „холит свой желудок”, Гоголь заявляет, что у него и желудок устроен не так, как у остальных людей – перевернут, предчувствует свою раннюю смерть, как бы наклеив её на себя. Оба чрезвычайно мнительны и подозрительны, особенно Гоголь. Оба – объявляются сумасшедшими, и в поведении каждого есть нечто, что заставляет думать о настоящем сумасшествии<sup>7</sup>: критика после *Переписки с друзьями* ставит под сомнение рассудок Гоголя. Один начинает терять писательский дар, несколько последних недель живёт, уже как бы не живя; другой – опускается до серой, бесцветной жизни, сохраняя с нею связь лишь через Английский клуб. Оба тщеславны, и, по воспоминаниям современников, „понедельники” Чаадаева в Москве очень напоминают римские приёмы Гоголя; и тот, и другой вели себя как люди, требующие поклонения. Каждый из них ощущал себя гением человечества; Гоголь уже с двенадцати лет чувствует в себе что-то, что сделает его известным, уверен в своём избранничестве, в своём высоком призвании совершить нечто великое, испытует безмерное писательское сомнение; Чаадаев в письме к Пушкину просит побыстрее возвратить рукопись, замечая, что дело не в честолюбии, а в той мысли, которую „я считаю себя призванным дать миру” [курсив мой – В.Б.]<sup>8</sup>. Оба претендуют на роль народного вождя и трибуна.

Их *подобие-антиподность* начинается уже с внешности. У Чаадаева бледное, по-женски нежное, но совершенно неподвижное лицо, как из мрамора, женственно тонкие губы с насмешливой улыбкой; его эlegantность, бесконечная забота о внешности „удостоились” пера Пушкина. Его светский облик столичного денди одним штрихом даёт Пушкин: „*Второй Чадаев, мой Евгений...*”, „*Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей*”<sup>9</sup>.

Многие исследователи отмечают его склонность повязывать по пяти галстуков в утро, холить ногти, по часам просиживать за туалетом, чистить рот, протираться, мыться, холиться, прыскаться духами, что нашло свое отражение и в пушкинской реминисценции образа Чаадаева: „*Он три часа по крайней мере / Пред зеркалами проводил / И из уборной выходил подобный ветренной Венере [...]*”<sup>10</sup>.

Внешность Гоголя кажется пародией на этого красавца. Уже гоголевский нос, ставший притчей во языцех, делал его лицо карикатурным, мог привести в любой

---

<sup>7</sup> На пограничность психологии Гоголя указывал В. Вересаев (В. Вересаев, *Гоголь в жизни. Систематизированный свод подлинных свидетельств*, в: его же, *Сочинения* в 4-х томах, т. 3, Москва 1990), М. Попович (М. Попович, *Гоголь*, Киев 1989). В последней литературе о Гоголе, со ссылками на заключение медиков, указывается на шизофреническое начало психики писателя (см. Б. Соколов, *Расшифрованный Гоголь*, Москва 2007, с. 291).

<sup>8</sup> П. Чаадаев, *Сочинения*, Москва 1989, с. 351.

<sup>9</sup> А. Пушкин, *Сочинения* в 2-х томах, т. 2, Москва 1982, с. 11.

<sup>10</sup> Там же.

момент в движение всё лицо; маленький рост, прыгающая походка, парики, которые он носил, одежды, в которых появлялся перед людьми – всё было нелепым и даже оскорбительным для окружающих. Он действительно походил на Карлик-Носа из сказки Гауфа, который, будучи заколдованным ведьмой-старухой, как бы „в награду” за внешность получил и её дар, в отличие от сказочного мальчика, не получившего его, но благополучно возвратившегося в свою „нормальную” внешность. „Таинственный Карло”, прозванный так своими ровесниками за свою сверхчувствительность и особую, какую-то мистическую психику, до сегодняшнего дня загадка. Метафизика и его внешности, и творчества, и судьбы создают соотношение *подобия-парадокса* Чаадаеву, сопрягают идентичность этих натур с диаметрально противоположным смыслом. Так, идея покаяния и спасения, раскаяния в содеянном проявляется у Гоголя в выворачивании души „наизнанку” перед всем миром, что сочеталось с бесконечным подчеркиванием „тайн сердца”, которые он не открывал никому, в бесконечном стремлении самосовершенствования, практических советах в деле совершенствования мира, в прямой навязчивости этому миру, что очень раздражало друзей, в соединении острого аскетизма с настойчивой волей к общественному действию<sup>11</sup>. Чаадаев, предлагающий, как и Гоголь, заглянуть к себе в душу, предаёт Герцена, называя его одобрительный отзыв наглой клеветой, пишет начальству оправдательное письмо, но самому Герцену клянётся в вечной любви; говорит властям, что его справедливо наказали, что его письма действительно бред, что он давно душевно болен<sup>12</sup>; десять лет, взирая свысока на происходящее, ничего не делает, превращая свой дом на Басманной в подобие тех лачуг, над которыми издевался в своих *Письмах*, хотя возводит бытовой комфорт в одно из условий, располагающих к самоуглублению.

Петр Чаадаев – представитель высшего светского общества, потомственный аристократ, очень озабоченный своим „модным положением”<sup>13</sup>; Николай Гоголь – мелкопоместный, да к тому же малороссийский дворянин, имеющий, по мнению Жихарева и Вересаева, „непреодолимую тягу к великосветским знакомствам”<sup>14</sup>. Гоголя воспринимают как провинциала, засорившего своею „хохляцкою мовою” русский язык, в силу чего редакторы часто „исправляли” его стиль; чаадаевский же стиль отмечает сам Пушкин. Он же, Пушкин, прославляет его как Перикла и Брута, хотя „Периклес” обрушивается на античное искусство, а „Брут” заявляет в *Апологии сумасшедшего*, что „Россия обязана всем только энергической воле наших государей”<sup>15</sup>.

При сопоставлении этих личностей, нельзя не заметить двойственность их натур. О Гоголе можно сказать: „цельная личность” и „противоречивая личность”.

<sup>11</sup> См. А. Терц, *В тени Гоголя*, в: его же, *Собрание сочинений в двух томах*, т. 2, Москва 1992.

<sup>12</sup> См. М. Жихарев, *Докладная записка потомству...*

<sup>13</sup> Там же, с. 55.

<sup>14</sup> В. Вересаев, *Гоголь в жизни...*, с. 30.

<sup>15</sup> П. Чаадаев, *Сочинения...*, с. 153.

В его творчестве, действительно, уживаются высокопарность и низменность, утверждение и отрицание, поэзия и проза. Вересаев отмечает в Гоголе противоречие между скукой, фальшью, самообожанием, с одной стороны, и готовностью пойти на любые жертвы, но не сфальшивить в искусстве, не отступить ни на шаг от своих художественных убеждений, с другой стороны<sup>16</sup>.

Противоречивость чаадаевской натуры отмечает уже первый биограф философа – Жихарев, видя в нем редкий эгоизм, немилосердное себялюбие, своеволие, гордость и оригинальность, повышенный интерес к светским успехам, который Чаадаев очень тщательно скрывает от окружающих. Это стремление к светскому успеху сочеталось в нем с „необыкновенной самостоятельностью и независимостью мышления, чудесной интуитивной способностью с раза, одним взмахом глаза чрезвычайно верно примечать в каждом явлении то, чего века вечные не видят другие”<sup>17</sup>, – пишет он. По воспоминаниям современников, он себя совсем не знал и часто изменял своим идеалам. Создавая в своих письмах к друзьям образ цельного бескомпромиссного человека, он, однако же, постоянно в реальной жизни приходил в противоречие со своей теорией. „Непомерный и почти чудовищный его эгоизм, преступная слабость [...] источник и причина и его расточительности, и его тщеславий, и его нередких малодуший...”<sup>18</sup>. Это и даёт повод Денису Давыдову написать о Чаадаеве жесткие, но отвечающие фактам его биографии строки: „А глядишь: Наш Лафает, Брут или Фабриций / Мужиков под пресс кладет вместе с свекловицей”<sup>19</sup>. И если у Гоголя „молитва мытаря, сизифов труд самостроительства”<sup>20</sup>, то у Чаадаева – самолюбование и поза.

И хотя эти натуры имели общий духовный стержень – жажду перевернуть мир, их подобие – антиподность, заставляющая смотреть в другого как в зеркало, определило характер взаимоотношений этих столь нестандартных людей.

### Summary

“На зеркало неча пенять...”  
(Towards History of One Relation)

This paper is devoted to the problem of studying psychological portraits of Gogol and Chadayev. It is the attempt to analyze one of the reason of their mutual hostility.

---

<sup>16</sup> В. Вересаев, *Гоголь в жизни...*, с. 30.

<sup>17</sup> М. Жихарев, *Докладная записка потомству...*, с. 56.

<sup>18</sup> Там же, с. 82.

<sup>19</sup> Д. Давыдов, *Сочинения*, Москва 1985, с. 120.

<sup>20</sup> А. Терц, *В тени Гоголя...*, с. 97.



**Аэлита Базилевская**

Московский областной педагогический университет

## ДВА АСПЕКТА ТЕМЫ ДЕТСТВА В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА

**Key words:** Chekhov, stories about children, perception of the world by a child, perception of children's world by adults

Мир ребенка – необычный, неожиданный, яркий – целая область эстетических и этических интересов А.П. Чехова. Для него это – особый мир, дети у него – особые люди. Чехова не привлекала литература собственно детская. Но его крайне волновала сама стихия детства. Притягивал внутренний мир детей, еще не испорченный влиянием общественной среды. В детском сознании он находил неискушенный, гармоничный взгляд на жизнь в ее целостном единстве. Детская тема дает выход его эмоциональному стремлению понять, как соотносится мир взрослых с миром детей. Большая часть произведений Чехова о детях приходится на вторую половину 1880-х гг. – время его расставания с амплуа юмориста и становления как крупного, драматически мыслящего художника.

В ту пору напряженных идейных поисков и мировоззренческих кризисов детская натура и детская жизнь вызвали у русских литераторов особый интерес. Детскую тему в творчестве писателей – „восьмидесятников” окрашивали неприятие действительности, поиски нравственного идеала. Эти авторы тяготели к теме детства, находили в детях (как и в людях из народа) естественную простоту, красоту нравственного чувства, чистоту и непосредственность. Огромное влияние на новую литературу о детях оказали написанные ранее произведения С.Т. Аксакова, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина и, более всего – Л.Н. Толстого.

Возросло внимание к духовному развитию ребенка, подростка, юноши, ищущего путей к моральному совершенству, а это была прежде всего тема Толстого. Ведь он задался целью обследовать все основные нравственные и эмоциональные „стихии” человека, как они зарождаются впервые – у ребенка. Стремился воспроизвести детское сознание, дававшее современную жизнь в своеобразном и честном преломлении. Первая его повесть *Детство* и в чеховские времена воспринималась как живая современность. Родственный образ детства,

для которого специфично углубленное внимание к миру природы и вещей, был создан Аксаковым (*Детские годы Багрова-внука*). Мир предстает здесь в той незамутненности, какую дает только младенческое видение.

У Достоевского в его романах и повестях образы детей – это чаще всего образы маленьких страдальцев, обитателей подвалов, нищих, голодных, вовсе лишенных детства. Его маленькие герои – жертвы несправедливости и жестокости – не по годам зрелы, чувства их сложны и глубоки, как у взрослых, мысли болезненны и мучительны. Их страдания служат укором миру. Почти всегда дети у Достоевского – праведники и, одновременно, мученики.

Интерес Салтыкова-Щедрина к детям – часть его заботы о будущем русского человека и страны. Автор трагической повести *Миша и Ваня* видел, что условия современной России обрекают детей на унижительное существование, часто ведут к гибели. Детей калечит вся система жизни, ее бытовой уклад, равнодушие родителей. Воспитание таково, что лучшие задатки человека могут никогда не развиваться. Ни у кого не встретим мы такой острой постановки „детского” вопроса, такого страстного желания научить подрастающее поколение честности, героизму и подвигу, как у творца *Пошехонской старины*.

Старшие ровесники Чехова подступались к теме с разных сторон. Изумленный, недоуменный, „детский” взгляд на жизнь – у Г.И. Успенского (*Парамон юродивый* и др.). Писателя интересуют не детские типы и детское сознание как таковые, а положение ребенка в обществе и семье. На первом плане – тревожная мысль о неудовлетворительном, уродливом и даже порочном воспитании, формирующем „лишних” людей. Иначе В.Г. Короленко – он исследует детское самосознание со всеми его специфическими признаками, анализирует детскую психику (*В дурном обществе*, *Ночью* и др.). В его рассказах бросается в глаза необычность ситуаций, связанная с авторской идеализацией и романтизацией детства. Для В.М. Гаршина с его „чутьем к боли”, о котором с уважением говорил Чехов, детство – заветный клад души. Отчаявшегося гаршинского героя (*Ночь*) спасает от самоубийства воспоминание о детстве, о „чистой и простой любви, которую знают только дети”, но он умирает от неожиданного счастья... .

Чехов – создатель образа детского мира – в прозрачности и лирической насыщенности письма следует за Толстым, Аксаковым, Короленко. В то же время преимущественное внимание к боли, беде, одиночеству сближает его с Достоевским, Салтыковым-Щедриным, Успенским, Гаршиным. Изображенные Чеховым дети – часто существа страждущие или же угнетенные и подневольные. Чехов писал о том, что хорошо знал, наблюдал, выстрадал. Он сопереживал, сочувствовал детям, остро ощущая их несчастье. Большинство чеховских детей нарисовано так, что читателю становится не просто грустно, а горько тоскливо.

Ребенком сам Чехов только издали видел счастливых детей. „В детстве у меня не было детства”, – не раз говорил писатель. Себя и братьев он называл „маленькими каторжниками”, имея в виду повинность сидения в лавке, другие родительские дисциплинарные меры, деспотизм отца (которого, впрочем, он не



переставал любить). Но этот „каторжный” путь не омрачил его души, напротив, возбудил в нем жажду любви к жизни, к людям. „Чехов любит детей и пишет с лаской о них и желает, чтобы для них открылась та тихая, нежная и сладкая жизнь, которой не видели печальные глаза самого поэта” [Лысков 1906: 245].

При жизни Чехова его как писателя детской темы приветствовали неоднократно. О чистоте воззрений Чехова, его умении смотреть на жизнь глазами ребенка, об определенной „детскости” и даже „женственности” дара писателя говорилось не раз и при его жизни, и после. Л.Н. Толстой при первом же чтении произведений Чехова восхитился его „способностью любить до художественного прозрения” (запись в дневнике от 15 марта 1889 г.). Д.С. Мережковский говорил о „задушевной гуманности” Чехова, подмечая его „чувствительность, неисчерпаемую, очаровательную, как у женщин и детей” [Мережковский 1995: 553]. Специфику чеховской характерологии подчеркивал В. Набоков: „Ни один писатель не создал столь трогательных, но без грана сентиментальности, персонажей” [Набоков 1996: 325]. Ценна мысль Ю.И. Айхенвальда о том, что „наблюдая детей, автор вместе с тем показывает нас самих, но в оценке Гриши, Коли, Нади и т.п.” (цит. по [Лысков 1906: 245]). Основываясь на анализе рассказов Чехова, критики развивали тему виновности родителей перед детьми, унижения детей взрослыми, развращающего влияния взрослого мира на детскую душу.

В советское время главное внимание уделялось чеховскому миру детей „униженных и оскорбленных”. Происходило подчас полное отождествление простого, чистого детского сознания с сознанием человека из народа. В работах Г.П. Бердникова [Бердников 1970], Г.А. Бялого [Бялый 1956], В.В. Голубкова [Голубков 1958], М.П. Громова [Громов 1989], В.Б. Катаева [Катаев 1979], В.Я. Линкова [Линков 1982], М.Л. Семановой [Семанова 1976] и др. осмыслялась тема детства у Чехова и анализировались конкретные рассказы. Однако, к сожалению, до сих пор нет статей, не говоря о книгах, с детальным разбором чеховских „детских” шедевров, изучены далеко не все тексты.

В рассказах Чехова о детях два основных аспекта: восприятие мира глазами ребенка и восприятие взрослыми детского мира. Чехов изображает те моменты в жизни детей, которые позволяют выявить проблемы, возникающие от непонимания взрослыми мира ребенка. Он строит свои рассказы чаще всего на столкновении детского сознания с миром взрослых, чуждым и непонятным. В одних произведениях изображаются оба мира как пересекающиеся. События рисуются такими, как их видят взрослый и ребенок. В других внешний мир, с которым сталкивается маленький человек, предстает целиком в его восприятии. Через взаимодействия между детьми и взрослыми выявляются психологические особенности тех и других.

Чехов предстает как знаток детской психологии и поведения. Поражают чеховская наблюдательность, фантазия, его дар перевоплощаться, смотреть на мир глазами героев. Писатель передает свежесть детского взгляда, острую способность видеть красоту (ведь даже тусклые краски в детском восприятии

всегда остаются яркими). Каждый ребенок, в представлении Чехова, – это личность со своими вполне определенными чертами, интересами, привычками, способностями. Дети, независимо от возраста, остаются еще во многом беспомощными, но они бескорыстней, чем взрослые. С большей готовностью способны прощать окружающих. Их души мягче. Поэтому окружающий мир, в котором так мало доброты, тепла и любви, часто им непонятен, чужд и страшен.

Чехов прибегает к простым и лаконичным средствам, сразу вводит читателя в суть происходящего. Хорошо сказал об этом качестве его поэтики Набоков: „Чехов входит в рассказ [...] без стука. Он не мешкает [...]” [Набоков 1996: 330]. Первые фразы рассказов – при абсолютной простоте – многомерны. В них содержится целое повествование. „Папы, мамы и тети Нади нет дома. Они уехали на крестины к тому старому офицеру, который ездит на маленькой серой лошади [...]”, – так начинается один из наиболее известных рассказов – *Детвора* (1886). Тут ощутимы слог и тональность, свойственные мышлению детей. Именно от их лица ведется повествование. Чувствуется трогательная симпатия автора к миру ребенка, признание его равноправным с миром взрослых.

„Папа, мама и тетя Надя” – люди, близкие детям, и они названы так, как их называют дети. „Старый офицер” – лицо из взрослого мира и, видимо, само по себе детям неинтересное, но им интересно сообщение о том, что в его доме будут крестить ребеночка, интересна и маленькая серая лошадь, на которой ездит старый офицер. Есть еще одна фигура – Филипп Филиппыч. Остается так и непонятным, кто он. Ребятам это все равно, и Чехов отлично знает это. Однако Филипп Филиппыч все-таки вызвал интерес детей. Чем? „Нехороший человек [...], – вздыхает Соня. – Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке... И мне стало так неприлично”. А еще Филипп Филиппыч наделен привлекательным для детей умением „заводить” веки, от чего глаза „становились красными, как у нечистого духа”. Чехов показывает особую детскую внимательность к тем „пустякам”, которые совершенно стираются в восприятии взрослых. Зоркость самого Чехова-писателя как раз сродни детской.

Дети играют в лото не в силу потребности – беззаботно повеселиться, а от гнетущей скуки, на которую их обрекли уехавшие в гости родители. Дети предоставлены сами себе, сиюминутное воздействие взрослых отсутствует. Однако духовно-душевный мир детей формируется под влиянием мира взрослых. Дети играют во „взрослую” игру, играют, как взрослые, „с азартом”, на деньги, пользуясь терминами и языком взрослых. В игре раскрываются характеры. Какие тонкие, яркие портреты! Практичный и завистливый девятилетний Гриша, умная и самолюбивая Аня („лет восьми”). А вот их шестилетняя кудрявая сестренка Соня, которая явно более всех по душе автору. Писатель „в лоб” об этом не пишет, однако все, что сказано о девочке, не вызывает сомнения в авторской симпатии. Соня „играет в лото ради процесса игры, по лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши”.

Алеша описан не без иронии – нет сомнения, что у такого маленького существа уже закладывается вовсе не ангельский характер: „По виду он флегма,

но в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает ког”. Характеры проявляются в игре: „Аня видит, что Андрей прозвал 28. В другое время она указала бы ему на это, теперь же, когда на блюдечке вместе с копеечкой лежит ее самолюбие, она торжествует” или „ – Партия! У меня партия! – кричит Соня... – Проверить! – говорит Гриша, с ненавистью глядя на Соню”.

Замечательно описание стола, за которым играют: „стол... пестрит цифрами, ореховой скорлупой, бумажками и стеклышками”. Чехов активно использует прямую речь, диалоги динамичны, подчеркнута эмоциональность детского восприятия, поведения, быстрые смены настроений (отсюда быстрые смены тем разговоров). Чехов видит окружающее глазами детей и признает их право быть собой.

Очень точно Чехов показывает, сколь бесцеремонно может быть вторжение взрослых в детский мир. От взрослых в рассказе как бы представляет гимназист пятого класса Вася. Его тянет к детям, он садится играть с ними. Но вместе с тем у него возникают такие мысли: „Это возмутительно! – думает он... – Разве можно давать детям деньги? И разве можно позволять им играть в азартные игры? Хороша педагогия, нечего сказать [...]”.

Борьба амбиций, самолюбий, алчность – все это присутствует в среде совсем еще малышей. И вместе с тем дети трогательны, непосредственны, открыты добру. Чехов не прибегает ни к каким рассуждениям. Свидетельствуют лишь диалоги в игре и – финал: словно бы всепобеждающее детское братство. Соня заснула, в постель „ее ведут всей гурьбой, и через какие-нибудь пять минут мамина постель представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня, возле нее похрапывает Алеша. Положив на их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же, кстати, заодно примостился и кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи!”.

Удивительно чеховское умение – одним-двумя словами выразить отношение к человеку, описать ситуацию. Всего-то сказано: „примостился и кухаркин сын Андрей”. А за этим – целая судьба. Драма – не то чтобы отверженного, но человека, который с младенчества должен знать „свое место”. И вот выдался случай, повезло, он – рядом с другими детьми, как все. А это заключительное „Спокойной ночи!”... В нем столько любви, столько понимания! *Детвора* – один из самых теплых и вместе с тем психологически глубоких рассказов Чехова о детях.

В рассказе *Мальчики* (1887) автор сосредоточен на детском мироощущении в его отличии от интересов и представлений взрослых. Герои рассказа – уже не малыши, а гимназисты второго класса, но ситуация здесь тоже, можно сказать, игровая. Хотя в то же время – и более сложная: дети решили бежать из дома, отправиться в путешествие. Их воображение обогащено, усложнено впечатлениями от чтения книг.

В *Мальчиках*, как и в *Детворе*, Чехов показывает, что у детей, подобно отношениям взрослых, уже распределены жизненные роли, очевидны особенности характера. Чечевицын, к примеру, выбрал себе роль вождя

непобедимых индейцев, Володе же он поручает подчиненную роль „бледнолицего брата”. Оба мальчика увлечены авантюрой побега „в Америку”, но при этом каждый воспринимает события на свой лад. И, главное, каждый по-разному себя ведет для достижения общей мечты, ибо это два разных характера, две, можно сказать, сложившиеся личности.

Чечевицын – решителен, уверен в себе и даже бесстрашен. Он придумал себе роль отважного, сурового человека. Готов на все для достижения цели, готов преодолеть любые препятствия. Свое поражение считает временным. На вопрос „Вы где ночевали?” гордо отвечает: „На вокзале”. Прощаясь с девочками, он, как и положено мужественному герою, не говорит „ни одного слова”, на лице его – „суровое, надменное выражение”, он остается верен своему идеалу. В Катиной тетради, опять-таки не выходя из образа, подписывается: „Монтигомо Ястребиный Коготь”.

Совсем иной человек Володя. Изнеженный „домашний” мальчик воспитан явно не как герой. Он мучается, колеблется, жалеет близких. Утомлен, потрясен подготовкой к побегу. Ему трудно играть в реальной жизни придуманную роль. Володя „как вошел в переднюю, так и зарыдал, и бросился матери на шею, [...] потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе [...]”.

Отец Володи (в конце рассказа) приглашает детей к себе в кабинет. И с укором говорит Чечевицыну: „Не хорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, будете наказаны своими родителями”. Между тем, зачинщиком-то был безвольный Володя. Тут опять выявляются характеры. Чечевицын молчит, он – тверд, порядочен, не хочет подводить друга. Молчит и Володя. Видимо, и отца боится, и не хочет быть виноватым, тем самым позволяя твориться несправедливости. Чехов показывает, что уже в детстве очевидна натура человека в ее основных чертах.

Девочки, сестры Володи, в отличие от взрослых, сразу обратили внимание на перемену в поведении брата, точно заметили особенности Чечевицына. Друг брата восхищал их все больше и больше. „И этот худенький, смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек [...]”. Девочки оказываются и более чуткими, и более наблюдательными, чем взрослые.

В *Мальчиках* Чехов, быть может, наиболее тонко и глубоко показывает разность и разобщенность двух миров – детского и взрослого. Того, что для детей необычайно важно, взрослые просто-напросто не замечают. К примеру, родители Володи настолько невнимательны, что вообще не замечают перемен, происходящих с ним. Не видят, не чувствуют волнения, напряжения мальчиков. Не проявляют никакого внимания к другу их сына. Характерная деталь: отец Володи даже и фамилию-то гостящего у них мальчика ленится запомнить. Называет его то Черепицыным, то Чибисовым. А уж об интересе хозяина дома к душе мальчика говорить не приходится. Еще одна деталь: из взрослых никто не обратил внимания, что мальчики не принимают участия в предпраздничной, обычно столь привлекательной для детей, „елочной” суете. Дальше – больше.

Никто не заметил даже такого очевидного обстоятельства, как отсутствие мальчиков („За обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома”).

В рассказе *Гриша* (1886) отчетлива огромная разница двух взглядов – ребячьего и взрослого, которые в данном случае даже не пересекаются. К примеру: „Мама похожа на куклу, а кошка на папину шубу, только у шубы нет глаз и хвоста. [...] Папа – личность в высшей степени загадочная! Няня и мама понятнее: они одевают Гришу, кормят и укладывают его спать, но для чего существует папа, неизвестно. Есть еще другая загадочная личность – тетя, которая подарила Грише барабан. Она то появляется, то исчезает. Куда она исчезает? Гриша не раз заглядывал под кровать, за сундук и под диван, там никого не было [...]”.

Многое из того, что делает малыш, можно сказать, трагикомично. Гриша, к примеру, берет у торговки апельсин, и вокруг этого события поднимается шум, а мальчику совершенно непонятно, почему. Что же он совершил? Просто-напросто взял с лотка красивый апельсин, ведь он в том счастливом возрасте, состоянии, когда невдомек эти жуткие взрослые „игры”: деньги и прочее. А взрослым никак не догадаться, почему так поступил Гриша. С прогулки с няней Гриша возвращается „распираемый впечатлениями”, но выразить их не может, а мама поит его касторкой. Два чуждых мира: ясный детский и нелепый взрослый.

Объективность Чехова не позволяет ему в детской теме предаться только умилению. Дети разные. Некоторые уже успели „набраться” у „взрослой братии” многого „негожего”. Так появляется шуточный рассказ о завтрашнем доносчике *Злой мальчик* (1883). Этот ребенок способен получать удовольствие от смущения и страдания других, извлекать из него выгоду. Влюбленные пытаются уединиться, но на их пути постоянно – злонамеренная „помеха”. „Когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели: в воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде, глядя на молодых людей и ехидно улыбался. – А-а-а... вы целуетесь? – сказал он. – Хорошо же! Я скажу мамаше”.

Коля не только кляузник, „не честный и не благородный человек”, но еще и безжалостный вымогатель, мучитель своих жертв. „ – Подлец! – скрежетал зубами Лапкин. – Как мал, и какой уже большой подлец! Что из него дальше будет?!” В уста Лапкина Чехов вкладывает собственные мысли: что же выйдет из человека юного, коль он в своем будто бы невинном возрасте наделен столь неприглядными чертами? „Весь июнь Коля не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков; и ему все было мало, и в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать”. В таком положении находились молодые люди, покуда Лапкин не сделал предложения и не получил официального согласия родителей Анны Семеновны.

Как многие чеховские произведения, рассказ написан словно на одном дыхании, с необычайной легкостью, полон мягкого юмора. Взят вроде бы пустяковый случай, а рассказ содержателен и глубок. Здесь и дивные эскизные

портретные характеристики, и описание влюбленности, и главное – „злой мальчик”. Почти определившаяся натура человека, которому всего-то лет десять. Как бы комедийно ни была описана ситуация, из нее отчетливо следует: зло рождает зло. Когда молодые люди получили благословение родителей, они, не сговариваясь, бросились искать Колю. „И потом оба они сознавали, что за все время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали полного счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши [...]”.

В рассказе мало слов „от лица ребенка” – лишь несколько реплик в диалоге. Гораздо больше непосредственной авторской речи, но есть вкрапления фраз, интонаций „злого мальчика”. Благодаря этому непосредственному „переселению” в душу ребенка повествование делается образным, сочным. В маленькой по объему вещи очевиден метод Чехова: он будто бы на все смотрит со стороны, никого впрямую не обличает, никого указующим перстом не обозначает и не карает. Он словно говорит самой формой повествования: я вам всё описал, представил, извольте сделать вывод сами. Думайте! Чувствуйте!

Рассказ *Событие* (1886) с отчетливостью передает образы едва пересекающихся миров – детского и взрослого. Добрый, теплый, наивный мир детей – и холодный мир взрослых, подчас не только равнодушный, но и жестокий, безжалостный. Таким этот мир видят дети. Взрослые, причем самые близкие люди – мама, папа – кажутся в своих поступках настоящими монстрами. И дети правы: поведение взрослых без содрогания воспринимать невозможно (финал рассказа). Ситуация, которую пережили малыши, – настоящая „школа жестокости”.

Поначалу писатель рассказывает милую, трогательную, смешную историю. Ваня („лет шести”) и Нина („четырёхлетняя девочка”) просыпаются „не в духе”. Но вдруг они узнают, что у кошки есть теперь котятка. „Оба разом вскрикивают, прыгают с кровати и, оглашая воздух пронзительным визгом, бегут босиком, в одних рубашонках в кухню. – Кошка ошенилась! – кричат они [...]”. Дети счастливы. „Лица их серьезны, сосредоточенны и выражают заботу. Их тревожит не только настоящее, но и будущее котят”. Раз кошка их мать, то должен быть и отец, „без отца им нельзя”. „Ваня и Нина долго решают, кому быть отцом котят, и в конце концов выбор их падает на большую темно-красную лошадь с оторванным хвостом, которая валяется в кладовой под лестницей и вместе с другим игрушечным хламом доживает свой век. Ее тащат из кладовой и ставят около ящика [...]”. События развиваются идиллически.

Чехов восхищается детской способностью любить, которая кажется ни от кого не зависящим „даром небес”, фантазировать, восхищается неумной любознательностью детей, с наслаждением цитирует неправильности их речи („котятка похожи на мышов”). В интонации повествования чувствуется улыбка взрослого человека, рассказывающего о наивных детских представлениях, – улыбка ласковая и не обидная.

Но вот начинается кошмар. Котят хотят выбросить в помойку. Дети плачут, и в конце концов отец разрешает оставить котят в кухне. Но дальше случается совсем страшная история. Драматизм ее Чехов подчеркивает ясным, простым описанием, без всяких нравоучений, комментариев. В гости в семью приходит дядя Петруша, а с ним „большой черный пес”, который под шумок съедает котят. „Но люди сидят спокойно на своих местах и только удивляются аппетиту громадной собаки”. И последняя фраза произведения: „Ваня и Нина ложатся спать, плачут, долго думают об обиженной кошке [...]”. Для них – это трагедия.

Название рассказа – *Событие* – можно толковать как некий символ. Да, случилось огромное событие в жизни детской души. Страшное событие, которое при всей его мизерности (в глазах взрослых) может стать переломным для детского мировосприятия. Во-первых, дети видят жестокость, которая воспринимается как норма. Во-вторых, они сталкиваются с абсолютным непониманием взрослыми их чувств, интересов, представлений. Дети испытывают настоящую боль и, может быть, впервые, сами того не понимая, познают одиночество.

Они ждали от родителей гнева и возмущения против пса, сожравшего котят, но... „папа и мама смеются”. Чехов подчеркивал благотворное влияние домашних животных на воспитание детей: „Мне даже иногда кажется, что терпение, верность, всепрощение и искренность, которые присущи нашим домашним тварям, действуют на ум ребенка гораздо сильнее и положительнее, чем длинные нотации...”. А тут такое надругательство над правдой и красотой. *Событие* – лишь эпизод, в котором отразилась беззащитность детского мира перед жестоким равнодушием взрослых. Никому нет дела ни до животных, ни до детей; торжествуют мрачные, свирепые существа вроде Неро... А сколько впереди обид, еще более глубоких и безнаказанных...

Чехов безжалостен в своей правде. Как просто было бы ему „отправить” маму к детским постелям, заставить хотя бы погладить детей по головам, успокоить. Но – нет, Чехов знает: жизнь часто сурова и далека от идиллии. Дети лежат и плачут. А взрослые играют в карты и смеются. Одна из жестоких деталей рассказа – именно контрапункт смеха взрослых и плача детей, которого никто не слышит.

Образы, которые будят разум и совесть, создал писатель в рассказах о детях-сиротах, обездоленных, живущих тяжело и беспросветно.

Наверно, трудно найти более хрестоматийного литературного героя, чем чеховский Ванька Жуков из рассказа *Ванька* (1886). Кроме ярко выраженных социальных мотивов, в этом произведении есть и глубочайший психологический портрет, и удивительное сочетание трагизма и юмора. Как и в другом знаменитом рассказе – *Тоска* – герой высказывает свою боль „в никуда”. В одном случае – лошади, в другом – бумаге, которая никогда не найдет адресата, ибо писана в отчаянии – „на деревню, дедушке”. Однако из этой безнадежной ситуации есть выход, имя которому – исповедь. Человек высказал свою боль, и само это способно принести ему облегчение. Это и есть начало избавления от невыносимой душевной и физической муки. „...Стал писать”...

Поразителен талант мальчика, богатство его воображения, его наблюдательность, память, вместившая все впечатления детства. Чехов явно любит своего героя, ведя рассказ от его лица. Поэтичнее, с пушкинской простотой описана природа, – этот эпизод существует и в контексте воспоминаний Ваньки и как бы сам по себе. Этот образ деревни прекрасен, как прекрасна и заманчива мысль мальчика о возвращении домой.

Когда Ванька рассказывает о своей беспросветной жизни в учении у сапожника, появляются „ейный”, „харя”, „морда”, „трескают”. Грубый быт рождает и соответствующие слова. А воспоминания о жизни дома, в деревне, связаны с прекрасным. И слова, в которые облекаются картины воспоминаний, – яркие, образные, светлые. „Убаюканный сладкими надеждами, он, час спустя, крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам...”

Этот маленький литературный шедевр достигает высот трагедии. Горькая сиротская судьба мальчика воспринимается и в более широком смысле. Ведь дедушка Константин Макарыч отправил любимого внука в город, думая, что там ему будет лучше, чем в родной деревне. *Ванька*, как и многие произведения Чехова, – об одиночестве. О том, как трудно быть понятым. О невозможности предостеречь страдание другого человека. „А вчера мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосы на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул”. Мотив ужасной, убийственной усталости очень волновал Чехова.

Трагичен рассказ *Спать хочется* (1888), лаконичный, жесткий, со стремительной кульминацией и развязкой. Варьке, отданной в услужение к мастеровому, нет времени выспаться. В одном лице прислуга, горничная, прачка и нянька, эта тринадцатилетняя девочка не выдерживает тяжести бессонных ночей. Сон и явь, соперничают друг с другом в безысходности, давят на мозг Варьки. Грезы ее окрашены в недетские, мрачные тона: темные облака, холодный, суровый туман, какие-то обозы, люди с котомками и тени, бредущие по жидкой грязи. Днем Варька – в полудремотном состоянии, но ни на минуту ей не дают прилечь, без конца понукают, требуют то затопить печь, то лестницу помыть, то сбегать за водкой... Она грезит наяву, вспоминает в полусне свою жизнь.

И еще одна ночь, снова крик ребенка, снова этот тяжелейший полусон, когда все тело сковано. „Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булабочная головка”. И наступает страшный миг – миг безумия. И она, на грани безумия, видит источник своей беды в непрекращающемся крике хозяйского младенца и – душит его в колыбели, чтобы заснуть...

Чехов точно понимает физиологическое состояние изнуренного бессонницей человека. Читая рассказ, бесконечно сочувствуя героине и погибшему младенцу, которого поджидала такая участь, читатель словно бы и сам погружается в темпо-



ритм нарастающего состояния усталости. И хотя Чехов, следуя своим принципам, не произносит ни слова прямого осуждения, не делает никаких комментариев по поводу бездушных людей, окружающих девочку, идиотским смехом Варьки в момент убийства он подводит читателя к мысли об истинных причинах искалеченной жизни девочки. Дает понять, что несчастье и преступление ребенка – признаки страшного, ненормального уклада жизни.

В повести *Степь* (1888) (произведении многоплановом, сложном по композиции, с большим числом действующих лиц) образ ребенка раскрывается в его отношениях с окружающим. Девятилетний Егорушка, которого родственник и сельский священник везут в город учиться, – одна из центральных фигур повести. Этот мальчик – очень ранимый, душевно одинокий, лирически настроенный, – уже личность со своими вкусами, пристрастиями, оценками, даже взглядами – на того или иного человека, факт. За время своего мучительного путешествия, приглядываясь к протекающей рядом жизни, он понимает неутешительно: „как скучно и неудобно быть мужиком!“.

В немалой степени именно его глазами видится и оценивается происходящее. „Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком и хотел плакать“. Сознание юного героя выявлено через его способность понимать жизнь природы как подобие жизни человека. Вот страшная картина грозы, увиденной глазами Егорушки, картина, соответствующая его собственному отчаянию и оставленности: „Кто-то чиркнул по небу спичкой“; „Чернота в небе открыла рот, и дыхла белым огнем“. Возможно, мальчика нельзя назвать главным персонажем повести, но только по той причине, что главный герой – сама степь.

Знакомый чеховский мотив: сочувствие ребенку, жизнь которого взрослые устроили по своему разумению, ничуть не вдумываясь или, по крайней мере, не вдумываясь глубоко в то, каково же самому мальчишке, отдаваемому в чужие руки, отправляемому в полную неизвестность? Каково детской хрупкой душе быть оторванной от привычного мира? Чехов с необычайным сочувствием пишет о горящем ребенке. Он полностью на его стороне. И называет его ласково, не иначе как – Егорушка. Постоянно подчеркивает, с одной стороны, тоску и одиночество мальчика, а, с другой – его наблюдательность, способность видеть красоту, радоваться прекрасному.

Есть один интереснейший прием, который Чехов применяет будто исподволь. По тому, как разные люди относятся к ребенку (а их десятки встречаются в пути) писатель, в сущности, рассказывает о самом человеке – добр он или зол, алчен ли, способен ли на сострадание. Так, к примеру, еврейская чета на постоялом дворе, пожалев сироту, отдает Егорушке пряник, отрывая его от своих многочисленных детей. Образ Егорушки, по существу, вырастает до символа. Это и символ романтизма, поэтичности детской души, непосредственности детского сознания. И некий знак одиночества человека, вступающего в жизнь.

Жизнь как степь – многолика, страшна, прекрасна. И слишком безмерна, чтобы понять ее. Простора так много, что человеку порой трудно отыскать себя в нем. И еще труднее ориентироваться в окружающем мире детям, ведь у них,

„как у дикарей, свои художественные воззрения и требования своеобразные, недоступные пониманию взрослых” (*Дома*). Из рассказа в рассказ возвращается писатель к своим любимым мыслям, к темам, которые тревожат его душу. Это мысли о достоинстве, свободе человека, о лучших качествах человеческой личности – таланте, уме, доброте. А еще о том, как мало иногда люди дорожат тем лучшим, что в них есть.

Одна из главных идей рассказов Чехова о детях в том, что уже в раннем возрасте ребенок обладает вполне определенными чертами характера, более того, во многом – это уже сформировавшаяся личность. Но при этом дети еще далеки от жизни взрослых, у них нет опыта, нет затянувшихся душевных ран, неизбежно возникающих с возрастом, пока человек „обтесывается” об острые углы жизни. Они живут в своем наивном мире, полном добра, любви, иллюзий, доверия, искренности.

Детская душа чутка ко всему хорошему, и счастливое состояние души, как правило, присуще ребенку постоянно, это одно из существенных его отличий от взрослого. Но когда гармонию детского мира, с его бесхитростными помыслами, нарушают равнодушие и хладнокровие взрослых, доверчивость к жизни начинает колебаться. Пошлость и жестокость взрослых постепенно гасят „искру божью” в душе маленького человека. И жаль, если никогда не загорятся прежние огоньки в его глазах.

Тут возникает еще одна, не менее значимая тема. Трудность человеческого общения, прежде всего между „отцами” и „детьми”, людьми разных поколений, начинаются не вдруг, не в зрелом возрасте; истоки этого процесса коренятся именно в детстве. И возникают эти трудности от нежелания, а нередко – от невозможности взрослых воспринять мир ребенка, от их невнимания к детской душе. „В мире каждого писателя всегда есть свое особое зло, от которого страдают его герои. У одного писателя это бедность, у другого – несправедливость, у третьего – жестокость. У Чехова [...] существенным злом является одиночество. Писатель показывает людей, одиноких буквально, [...] и людей, одиноких среди близких. [...] Неблагополучие в семейной жизни в произведениях Чехова чаще всего выражается не в притеснении, издевательствах или в других подобных формах зла, которые могут принести люди своим близким, а в отчуждении, равнодушии и взаимном непонимании» [Лысков 1906: 87].

Во многих рассказах Чехова изображены семьи, где, казалось бы, все предрасположено для детской радости, детской нормальной жизни (*Мальчики*, *Событие*, *Гриша* и др.). Однако писатель подмечает те моменты в жизни детей, когда обнаруживаются неразрешимые проблемы. Он зримо показывает, как формируется характер, какие причины и обстоятельства, самые, вроде бы, подчас незначительные, рождают будущего труса, храбреца, человека кроткого или злого.

У Чехова родители нередко бросают детей на произвол судьбы, не общаются с ними – некогда, много своих, зачастую ничтожных, по сути, дел и забот. Иногда родители – просто распоясавшиеся самодуры. Тут и там (к примеру, в рассказах

*Лишние люди, Отец семейства*) рассеяно множество деталей, подчеркивающих, сколь небрежны взрослые к детям, в том числе к собственным, которых вроде бы любят и, как им кажется, отлично знают. Да, дети сыты, обуты, но это не значит, что они счастливы. Всегда недостает внимания, теплоты, ласки, понимания со стороны дорогих им людей. Психика детей, при кажущейся простоте, сложна, поэтому с детской душой надо обращаться бережно, умеючи. Ведь дети острее воспринимают боль. То, что для взрослых ничто, для детей может быть целой трагедией.

Название рассказа *Житейская мелочь* (1886) еще более многозначно, чем *Событие*. На первый взгляд, какой пустяк – некий молодой человек, Беляев, не сдержал слова, данного мальчику Алеше. Обычное дело... Но какой это шок, удар, душевная травма для ребенка: „Он первый раз в жизни лицом к лицу так грубо столкнулся с ложью; ранее же он не знал, что на этом свете [...] существует еще и многое другое, чему нет названия на детском языке”.

Рассказ начинается со слов о том, что домовладелец Беляев, „упитанный, розовый, как-то под вечер зашел к госпоже Ирриной, Ольге Ивановне, с которой он жил, или, по его выражению, тянул скучный и длинный роман”. Если вдуматься в первые строки, уже можно начать сомневаться в порядочности героя. Беляев разлюбил Ольгу Ивановну, но продолжает „тянуть” прежние отношения, обманывая ее. А слова „по его выражению” прозрачно намекают на то, что он уже кому-то рассказывал о своем „скучном и длинном романе”.

Не застав Ольгу Ивановну дома, Беляев „от нечего делать” рассматривает лицо ее восьмилетнего сына – Алеши, которого прежде вовсе не замечал. Беляеву и теперь нет никакого дела до мальчика. Он заводит с ним разговор лишь потому, что ему скучно, нечем убить время до прихода приятельницы.

Внимание взрослого неожиданно для Алеши, он к этому не привык. Отец с ними не живет, мальчик всегда один. И теперь, обрадованный, он, как к другу, прижимается к Беляеву, играет с его цепочкой, доверчиво рассказывает о своей жизни. И между прочим, по секрету – о том, как он встречается с папой тайком от мамы. Собственно, об этом он совсем не хотел рассказывать, но Алешу „подкупил ласковый тон Беляева: тот говорит с ним, как с взрослым, как с равным, по-дружески”. И мальчик не сомневается в нерушимости данного ему честного слова.

Но вот Беляев узнает, что Алешин отец говорит, будто он погубил Ольгу Ивановну. В домовладельце закипает кровь: „Не твое дело! Нет, это... Это даже смешно! Я попал как кур во щи, и я же оказываюсь виноватым”, – бормочет он, сразу бросая прежний „дружеский” тон. Грубо оскорбляет отца и мать мальчика. Потом, при Алеше и его маленькой сестричке, закатывает скандал вернувшейся Ольге Ивановне. Картинно возмущаясь ее „лицемерием”, не задумываясь, растаптывает доверие маленького одинокого существа, на глазах ребенка унижает самых дорогих ему людей.

Чехов внешне как будто даже оправдывает Беляева: „ – Послушайте, ведь вы честное слово дали! – проговорил Алеша, дрожа всем телом. Беляев махнул на

него рукой и продолжал ходить. Он был погружен в свою обиду и уже по-прежнему не замечал присутствия мальчика”. Перед нами „большой и серьезный человек” со своей серьезной обидой – и какой-то там мальчик. Но это лишь на поверхности так. Внешняя точка зрения опровергается писателем. Приглядевшись поближе к Беляеву, мы убедимся, что ничего достойного уважения в нем нет: перед нами маленький и довольно подленький человечек.

С помощью обычной „житейской мелочи” Чехов противопоставляет друг другу два мира. Контраст „детского” и „взрослого” слит с живым ощущением порочности современной жизни, построенной на фальши, несправедливости. Звучит характерный чеховский мотив: дети, с их нравственно чистой душой, – „лишние” в мире взрослой лжи.

В ином повороте раскрыта тема взаимоотношений взрослых и детей в рассказе *Дома* (1887). В доме прокурора Быковского не происходит ничего особенного: просто сын вздумал курить, и отец ведет с ним назидательную беседу, а потом сочиняет страшную сказку о вреде курения, и Сережа обещает, что больше курить не будет. Но это лишь внешний сюжет. Внутреннее движение связано с конфликтом двух точек зрения на происходящее: „взрослой” и „детской”.

Гувернантка, от которой отец узнаёт, что сын курит, – само воплощение строгости и неукоснительной „правильности”. В Сережином курении она видит вредную привычку, которую следует немедленно искоренить. Казалось бы, она права. Но нет, это только кажущаяся правота. Семилетний „карапуз” представляется ей чуть ли не начинающим преступником. Со всей своей черствой и неумолимой логикой она бесконечно далека от ребенка, от его интересов, от всего, чем он живет.

А Сережа – мальчик с большими немигающими глазами. У него недавно умерли мать и дядя, который так хорошо играл на скрипке. Это нежное, впечатлительное и думающее существо. У него свой мир, недоступный для формального, бездушного гувернерства.

Быковский действительно любит сына, занимается с ним, беседует. Сережа не чувствует себя „лишним”. Но вот возник вопрос о пробуждении сознания ребенка, и как тут быть, отец не знает, как не знает и большинство других отцов. В душе его начинается разлад. Логически он согласен с гувернанткой и заставляет себя читать сыну вялую, скучную мораль, которая до ребенка просто не доходит, – он почти не слушает нудных отцовских поучений. И отец сердцем чувствует, что говорит не то, что не так надо разговаривать с мальчонкой.

„Евгению Петровичу казалось странным и смешным, что он, опытный правовед, полжизни упражнявшийся во всякого рода пресечениях, предупреждениях и наказаниях, решительно терялся и не знал, что сказать мальчику”. Он пытается опереться на принятые понятия, бытующие в обществе: „[...] Подделываясь под детский язык, Быковский стал объяснять сыну, что значит собственность”. Мальчик только „щурил глаза”, и взгляд его блуждал. Быковский говорил, „хмурясь и тем маскируя свою улыбку”. Не получается педагогическая беседа. Каждый его довод опровергается сыном.

„ – [...] у тебя есть лошадки и картинки... Вот я их не беру? Может быть, я и хотел бы их взять, но... ведь они не мои, а твои!

– Возьми, если хочешь! – сказал Сережа, подняв брови. – Ты, пожалуйста, папа, не стесняйся, бери! Эта желтенькая собачка, что у тебя на столе, моя, но ведь я ничего... Пусть себе стоит!”

Движение сюжета в рассказе связано не только со столкновением взрослой и детской точек зрения, но и с утверждением морального превосходства ребенка над неестественной жизнью взрослых. „[...] Прозвучали слова Сережи, и от всей прокурорской тирады ничего не осталось. Насколько же мельче все его рассуждения по сравнению с простыми и великодушными словами мальчика о желтенькой собачке” [Паперный 1960: 68]. Быковский начинает серьезно размышлять о жизни. Он привык „по целым часам и даже дням думать казенно, в одном направлении”. Но детский мир Сережи заставил этого взрослого человека „выпасть” из привычного и однообразного круговорота быта, службы, обывательского существования, заставил усомниться в непререкаемости омертвело го уклада жизни. Прокурору приятно стряхнуть с себя всю эту „казенщину”, приблизиться к миру наивных, добрых, великодушных представлений.

Несколько иной характер взаимоотношений взрослого и детского мира – в рассказе *Беглец* (1887). Семилетнего Пашку мать долго-долго по скошенному полю вела к врачу. Болезнь мальчика оказывается серьезной (вот-вот потребуется ампутация руки) и его оставляют в больнице. Здесь ему все ново, все занимательно. Скучная больничная пища кажется обильной и вкусной по сравнению с домашней едой, а одежда – больничный халатик – настолько праздничной, что ему хочется в ней пощеголять перед деревенскими приятелями. Он уже согласен остаться здесь подольше. Однако жизнь в больнице оказывается не столько занимательной, сколько страшной. Мальчик становится свидетелем смерти человека. В его душе возникает паническое желание бежать. „Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату оспенных, оттуда в коридор, из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушечьими лицами. [...] У него была одна мысль – бежать и бежать! Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутится дома у матери”.

Мальчик в ужасе мечется. И тут на его пути появляется доктор, добрый, веселый; он прекрасно ладит с ребенком, помогает ему превозмочь страх и одиночество. Взрослый мир не отворачивается от восприимчивой детской натуры: совершенно „чужой” человек помогает деревенскому мальчику, оторванному от родного дома, справиться с ужасом и обрести спокойствие. И не случайно этот человек – врач, который в силу своей профессии обязан отлично знать психологию людей.

Даже не взглянув на вошедших Пашку и мать, доктор сразу понял их чувства и переживания. Несмотря на строгий тон разговора, его доброжелательный настрой звучит уже в первых репликах диалога, полного раскованности, юмора

и в то же время сострадания к этим бедным людям. Доктор упрекает мать в том, что та „сгноила парню руку”. Она только молчит и со всем соглашается. Внятен авторский подтекст: слишком глубоки темнота и забитость простых людей; очень жаль, что такими же растут и их дети.

У Пашки болит рука, а еще страшнее ему оставаться в больнице одному, без матери. Доктор это прекрасно понимает. По-свойски хлопая по голому животу мальчика, он умело старается отвлечь его внимание от мрачных мыслей: „Пусть мать едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо, разлюли малина! Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, чижей пойдем ловить, я тебе лисицу покажу! В гости вместе поедем! А? Хочешь? А мать за тобой завтра придет!”. Пашка поддается влиянию этого взрослого человека, полностью веря ему. И в момент, когда мальчик наиболее остро ощутил себя брошенным, одиноким, именно лицо доктора явилось „спасательным кругом” в море страшной, равнодушной жизни.

В рассказах о детях Чехов всегда сталкивает мир взрослых с детским миром. Но, как мы видим, два мира могут находиться не только в противостоянии. Бывает, что взрослые и дети поддерживают друг друга в этой жизни, непредсказуемой, холодной, безразличной, жестокой. И тогда Чехов описывает взаимоотношения взрослых и детей, радуясь, любуясь их гармонией.

Рассказ *День за городом* (1886) – наверное, одно из самых светлых произведений о детях в творчестве Чехова. Здесь и мир взрослых, и мир детей представлены с огромной нежностью.

Сапожник Терентий и сироты Фекла с Данилкой – совсем „чужие” люди, но жизнь, беспощадная, несправедливая, настолько сблизила взрослого и детей, что нет роднее их на этой земле. Насколько крепка их дружба, гармонично взаимопонимание! Терентий для детей „дяденька, родненький”, а лицо сапожника при виде сирот „покрывается улыбкой, какая бывает на лицах людей, когда они видят перед собой что-нибудь маленькое, глупенькое, смешное, но горячо любимое”. Вот Данилка в беде – „засунул в дупло руку и вытащить теперь не может”. Без раздумья сапожник идет на выручку мальчику, забывая о своих делах.

Одна из наиболее важных, своеобразных особенностей чеховской художественной личности – умение видеть „незаметную”, будничную красоту жизни. Этот эстетический принцип – красота обыкновенного – с особой трогательностью, ласковой улыбкой раскрыт писателем в живых диалогах между сиротами и сапожником:

„ – Измокнем мы с тобой, Феклуша! – бормочет Терентий. – Сухого места не останется... Хо-хо, брат! За шею потекло! Но ты не бойся, дура... Трава высохнет, земля высохнет, и мы с тобой высохнем. Солнце одно для всех”.

„ – Тут, Терентий, наемдни утки пролетели.. – говорит Данилка [...] – Должно, в Гнилых Займищах на болотах сядут. Фекла, хочешь, я тебе соловьиное гнездо покажу?”

– Не трогай, потревожишь... – говорит Терентий [...]. – Соловей птица певчая, безгрешная... Ему голос такой в горле даден, чтобы бога хвалить и человека увеселять. Грешно его тревожить...”

Терентий – простой русский человек, на него тоже давит уклад жизни. Но условия, в которых он живет, не истребили в нем человечности, сострадания, стремления к красоте. Чехов наделил своего героя глубокими особенностями подлинно русского характера, которому присущи сдержанная, скрытая сила, талант, душевная красота.

Сапожник безграмотен, но в то же время он словно знает всё. Отвечает на все вопросы любознательного Данилки, и „нет в природе той тайны, которая могла бы поставить его в тупик”. Как и большинство простых людей, он учился „не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки”. Поражаешься его смекалке, сообразительности, с которыми он отвечает на непростые детские вопросы:

„ – Страсть как гремит! – повторяет мальчик, почесывая руку. – А отчего это гремит, Терентий?

– Туча на тучу надвигается... – говорит сапожник”.

„ – Детям интересно бы знать, как это локомотив, не живой и без помощи лошадей, может двигаться и тащить такую тяжесть, и Терентий берется объяснить им это:

– Тут, ребята, вся штука в паре... Пар действует.. Он, стало быть, прет под эту штуку, что около колес, а оно и тово... этого... и действует...”

Терентию в радость общаться с детьми. Уставший от „взрослой” жизни, он находит отдушину в разговорах с этими наивными существами. И дети, в свою очередь, чувствуют его доброту и заботу. Засыпая, сироты думают о „бесприютном” Терентии, который любит их и стремится хоть как-то скрасить их „недетскую” жизнь. „А ночью приходит к ним Терентий, крестит их и кладет им под головы хлеба. И такую любовь не видит никто. Видит ее разве одна только луна, которая плывет по небу и ласково, сквозь дырявую стреху, заглядывает в заброшенный сарай”.

Конечно, не случайно местом действия в рассказе является лес. Только здесь, среди природы, вдали от безразличия, жестокости, несправедливости, возможна такая гармония между детским и взрослым миром.

Широко известно письмо А.П. Чехова к брату Николаю (март 1886 г.) о требованиях к воспитанному человеку. Писатель формулирует восемь принципов, с его точки зрения наиболее важных. Казалось бы, напрямую они не касаются темы детства, но очевидна их сущностная связь с раздумьями Чехова-художника о детях. Так, в пункте первом автор пишет о воспитанных людях: „Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы”. Или, к примеру, в пункте четвертом: „Они чистосердечны и боятся лжи как огня, не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего” [Чехов 1962: 82, 84]. Разве не о том же говорит Чехов, описывая взрослых в их непонимании поступков и состояния детей?

Рассказы Чехова о детях, в первую очередь, с большой горечью говорят о „невоспитанности” взрослого мира, который истребляет в человеке самые человеческие качества, обучает его порокам. Отсюда и неправильное восприятие взрослыми детского мира, полного доброты, любви, сочувствия, искренности, правды. Взрослым непонятна детская душа, но они часто и не желают ее понять. Порой своими словами, поступками они неосознанно травмируют душу ребенка, обрекая его на одиночество (*Событие, Житейская мелочь, Отец семейства*). В то же время часто взрослые бессильны, даже когда стремятся к этому, разобраться в детской душе: попытка понять детскую натуру, простую и одновременно сложную, кончается ничем (*Дома*).

Однако не только взрослые воспитывают детей, а и дети воспитывают взрослых, которые усваивают черты их детскости, учатся у них быть радостными, добрыми, живыми. Ведь душа детей всегда жаждет любви, заботы, ласки, справедливости, понимания. И только там, где это есть, гармоничны отношения между взрослыми и детьми (*Беглец, День за городом*).

Однако „морали” – то нет, зато нравственный урок – есть. Вот одно из высказываний Чехова, объясняющих отсутствие назидательности в его творческой манере: „Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь, правдиво, искренне. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю никогда. Я ничего не хочу сказать. Мое дело писать, а не учить!.. Живые правдивые образы создают мысль, а мысль не создаст образа. [...] Если я живу, думаю, страдаю, то все это отражается на том, что я пишу. Зачем мне слова: идея, идеал? Если я талантливый писатель, я все-таки не учитель, не проповедник, не пропагандист. Я правдиво, то есть художественно, опишу вам жизнь, а вы увидите в ней то, чего раньше не замечали: ее отклонения от нормы, ее противоречия [...]”<sup>1</sup>.

Параллельный мир взрослых в большинстве случаев бесцеремонно нарушает гармонию мира ребенка и предстает в отталкивающей неприглядности. Дети у Чехова не принимают мир взрослых, они, как правило, далеки от его фальши, жестокости, равнодушия. Поэтому чеховские маленькие герои часто одиноки и беззащитны. „Равнодушие – постоянный фон в рассказах писателя”, но „герои равнодушны и отчуждены не в силу своих индивидуальных недостатков, а в силу всеобщих свойств мира, в котором они живут”, поэтому они „никогда не несут зло своим близким сознательно” [Линков 1982: 88, 90]. Взрослые обрекают детский мир на одиночество, сами того не осознавая, просто потому что так пошло, никуда не годно устроен их собственный мир.

Ребенок – судья взрослого мира. Детский взгляд, голос, интонация оттеняют фальшь взрослой жизни, служат толчком к таким раздумьям, которые далеко выходят за границы детских помыслов. Мысль Чехова нельзя сводить только к любованию чистотой неиспорченной детской души и к осуждению взрослого

---

<sup>1</sup> Из воспоминаний Л.А. Авилловой, в: *А.П. Чехов в воспоминаниях современников*, М. 1960, с. 203.



мира. Детские образы у писателя разные, как различны и образы взрослых. Великий мастер психологии глубоко, ёмко, лаконично раскрывал все характеры. В жизни детей писатель находил такие связи и стороны, от которых надо было бы избавиться, и другие – которые он хотел бы видеть во взаимоотношениях между всеми людьми.

„Детские” рассказы Чехова – одна из форм выражения идеала писателя, художественная конструкция взаимосвязей между людьми вообще. Своими рассказами о „недетской” жизни детей взволнованно говорил о том, что дети вправе быть собой, что детство должно быть действительно детством. Размышляя о детях, думал о „взрослых” проблемах, ставших для него „больными вопросами”. „Детская” тема у Чехова связана с коренными его размышлениями о нескладной жизни, „убыточной” и ненормальной, о корысти и расчете, отравляющем жизнь людей. И в то же время – это круг его раздумий о красоте, человеческой и природной, о вольных и счастливых людях, о самой возможности счастья.

### Библиография

- Бердников Г.П. (1970). *А.П. Чехов: идейные и творческие искания*. Л.  
Бялый Г.А. (1956). *Чехов*. В: *Истоия русской литературы*. Т.9. М.  
Голубков В.В. (1958). *Мастерство А.П.Чехова*. М.  
Громов М.П. (1989). *Книга о Чехове*. М.  
Катаев В.Б. (1979). *Проза Чехова: проблемы интерпретации*. М.  
Линков В.Я. (1982). *Художественный мир прозы А.П.Чехова*. М.  
Лысков И.П. (1906). *А.П. Чехов в понимании критики*. М.  
Мережковский Д.С. (1995). *Толстой и Достоевский: Вечные спутники*. М.  
Набоков В.В. (1996). *Лекции по русской литературе*. М.  
Паперный З. (1960). *А.П. Чехов*. М.  
Семанова М.Л. (1976). *Чехов-художник*. М.  
Чехов А.П. (1962). *Собр. соч.* В 12 тт. Т.11. М.

### Summary

#### Two Aspects of the Theme of Childhood in A.P. Chekhov's stories

There are two main aspects in Chekhov's stories about children: perception of the world by a child and perception of children's world by adults. Chekhov shows the moments in the life of children which let to reveal problems that arise because the grown-ups don't understand the world of child, so children collide with the world of adults, not seldom alien and incomprehensible for them. Children don't accept insincerity, cruelty, indifference, therefore they are often lonely and defenseless. Thinking about children, Chekhov thought about grown-up problems which became painful for him: about awkward, abnormal life, about mercenary spirit and love of gain that are the bane of people's life. And at the same time – this is the circle of his thoughts about beauty, created by human and nature, about free and happy people, about possibility of happiness in itself.



**Iwona Anna Ndiaye**

Instytut Neofilologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

## DOM – OJCZYZNA W EMIGRACYJNEJ POEZJI M. CWIETAJEWEJ\*

**Key words:** home, homeland, emigration, metaphor, alienation, poetry, Marina Tsvetaeva

Poezja emigracyjna „pierwszej fali” wprowadziła do epistemologii rosyjskiej paradygmat wygnania. Mityczny DOM przestał istnieć wraz z wybuchem rewolucji. W rezultacie w liryce emigracyjnej pojawiła się przestrzeń ANTYDOMU – sfera lęku i samotności, która nie chroni człowieka. Emigracyjny byt poetów miał wspólny mianownik: bezdomną egzystencję, natomiast różne były drogi wyjścia z owej sytuacji w przypadku każdego z nich. W zderzeniach odmiennych osobowości i losów ujawniały się kolejne zależności, które tworzyły podstawowe typy przenicowania terytorialno-duchowego charakterystycznego dla emigrantów „pierwszej fali”. Choć twórczość każdego z jej przedstawicieli wyróżniał pewien zestaw motywów, to jednak jednym z najważniejszych wydaje się motyw domu.

„Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России. / Эмигрант Царства Небесного и земного рая природы... / Эмигрант из Бессмертия в время, невозвращенец в свое время”<sup>1</sup> – wyznawała zawsze zbuntowana i wyobcowana, niezadomowiona w XX wieku Marina Cwietajewa. Cwietajewa-emigrantka marzyła jednak o powrocie do domu. Już w samym marzeniu realizowała się jak gdyby potencjalność tego zdarzenia (*Родина*, 12 мая 1932)<sup>2</sup>. Z pewnością za przełom w życiu i twórczości Cwietajewej należy przyjąć 1916 rok, gdy poetka opuściła „duszne przytulne pokoje”, przestąpiła próg i udała się „na czyste pole” – wiatrowi, nocnym pożarom, przypadkowym spotkaniom i skrytym namiętnościom naprzeciw: „Кошкой выкралась на крыльцо, / Ветру выставила лицо. / Ветры веяли, птицы реяли...”

\* Na temat życia i twórczości M. Cwietajewej zob.: I.A. Ndiaye, *Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich „pierwszej fali”*, Olsztyn 2008, s. 143–166.

<sup>1</sup> Parafraza wierszy z utworu *Поэма конца* („Эмигрант из бессмертия в время...”, 1932), powstałych osiem lat wcześniej (1924). Por. z analogiczną formułą w wierszu Borysa Pasternaka: „...вечности заложник / У времени в плену” (1956). Cyt. wg.: Вопросы литературы 1988, nr 10, s. 199.

<sup>2</sup> Zob. М. Цветаева, *Сочинения: в 2-х тт.*, т. 1: *Стихотворения. Поэмы. Драматические произведения*, Минск 1988, s. 294–295.

(*Версты*). *Wiorsty* – taki tytuł nosi jej tomik poetycki z 1922 roku, tak radykalnie odróżniający się od jej poprzednich na pół dziecięcych, na pół młodzieńczych wierszy). *Wiorsty*, dal... – to leitmotyw jej późniejszej twórczości. Niepokój, chęć przeżycia przygód, wyzwolenie od umowności wiary, rodziny i typowego bytu, poczucie swojej „skrytej grzeszności” („тайная греховность”). Przyznając, że uczy się „śpiewać” na nowych dla siebie drogach, Cwietajewa rozumiała, w jak nietypową podróż wyruszyła jako człowiek i jako poetka, i uświadamiała sobie, że to proces nieodwracalny: „Только в сказке – блудный / Сын возвращается в отчий дом...”<sup>3</sup>.

Zdaniem Nikołaja Dackiewicza i Michaiła Gasparowa, w poezji Cwietajowej występują dwa typy domu – „dom ziemski” („дом земной”) i „dom niebiański” („дом небесный”)<sup>4</sup>. Przez koncept domu poetka określała nie tylko „swoją” ochronną ziemską przestrzeń, ale i własny duchowy świat, własną istotę: „В переулоч сходи Трехпрудный / В эту душу моей души”<sup>5</sup>. W obrazie domu, ukrytego pośród lip, „под плащом плюща”, widziała „девический дагерротип” swojej duszy, ten dom – lokum duszy, dom – bajkę: „дворцовый чердак, Фландрия, чердачные чудеса: Из-под нахмуренных бровей / Дом – будто юности моей / День, будто молодость моя / Меня встречает: – Здравствуй, я!”. Warto dodać, że dom w twórczości Cwietajowej to także królestwo pozaziemskie, królestwo zmarłych, mogiła, grób: „дом на погосте; вечный дом; в призрачном доме / Сем; поставят нам – единый дом”. W cyklu *Разлука* poetka pisała o śmierci, kojarząc ją z powrotem „do domu”, do tego bezpiecznego, miłego domu z wyidealizowanych dziecięcych wspomnień.

W życiu Cwietajowej były dwa ukochane domy: dom ojca w Triochprudnym (Трехпрудное) oraz Borysoglebsku (Борисоглебское). Wspominając pierwszy z nich, pisała: „Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский – рыцарский. Жизнь на высокий лад”. Bardzo kochała ten jednopiętrowy dom z gankiem koloru czekoladowego („шкатулка шоколадного цвета”), jak żaden inny, jak bliską istotę. Kochała za to, że ofiarował jej najszcześniejsze lata dzieciństwa, kiedy w dosłownym znaczeniu był gniazdem rodowym. Jego obraz powraca w wielu wierszach tomików *Вечерний альбом*, *Волшебный фонарь*, *Детская*, *Столовая*, *В зале*, *По тебе тоскует наша зала*, *Наша зала* i in. Rodzinny dom – to także miejsce startu do lotu w niebo: „Чердачный дворец мой... / Недолго ведь с крыши – на небо”.

Drugi dom wybierała sama dla siebie i swojej rodziny, wybierała wtedy, kiedy jej życie rodzinne jeszcze można było nazwać szczęśliwym. Opisywała go w utworze *Повесть о Сонечке*, w szkicu *Чердачное*, w listach i wierszach („Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!...”, 1919<sup>6</sup>). Nazywała go „волшебным”, „диккенсовским”,

<sup>3</sup> „Не плача зря...”, w: *Стихотворения классических и современных поэтов*, online <<http://stroki.net/content/view/11819/77/>>, dostęp: 20 lutego 2008.

<sup>4</sup> Н. Дацкевич, М. Гаспаров, *Тема дома в поэзии Марины Цветаевой*, Здесь и теперь 1992, nr 2, s. 116–130.

<sup>5</sup> М. Цветаева, *Собрание сочинений: в 7 тт.*, т. 6, Москва 1994–1995, s. 622.

<sup>6</sup> Szczegółową analizę tego wiersza przeprowadziła S. Ławrowa. Zob. С.Ю. Лаврова, *Концепт „дом” в модели мира М. Цветаевой*, w: *Борисоглебье Марины Цветаевой. Шестая цветаевская международная конференция. Сборник докладов*, Москва 1999.

„с чудесами, возникающими из-под ног”. Nadieżda Katajewa-Łytkina podkreśla: „Дом в Борисоглебском – явление уникальное в судьбе Марины Цветаевой. Единственный сотворенный ею на подъеме духа, когда она была великолепная и победоносная, плод ее вдохновенья. Задуманный, загаданный, обласканный и созданный. В нем творилось сознательное волшебство”<sup>7</sup>. Cwietajewa przyjechała do Borysoglebska, gdy miała 22 lata; przyjechała z myślą o szczęściu, a dotknęły ją trudne doświadczenia: pierwsza wojna światowa, wojna domowa, głód, śmierć córki. Jednak mimo wszystko napisała w nim najważniejsze utwory spośród tych, które powstały jeszcze w Rosji. O domu, w którym spędziła dziewięć lat, mówiła, że to „Дом – Мир!”.

Wprawdzie w wielu wierszach pisała o sobie jako o wiecznym wędrowcu, którego dom jest wszędzie i nigdzie, równolegle jednak pojawił się w jej poezji motyw budowy domu: „Кто дом не строил – / Земли не достоин. / Кто дом не строил – / Не будет землю...”<sup>8</sup>. Krzyk bohaterki (*Тоска по родине*<sup>9</sup>) obnażał ból i gorzyc. Odczucia poetki skazanej na tułaczkę i sieroctwo jeszcze silniej zostały wyrażone w refrenie rozpaczy („мне все равно...”). Pozostała bez ojczyzny, bez języka, bez domu. A jednak na pytanie Jelizawieży Tarachowskiej: „Марина, неужели вы в Париже не скучали по России?”, Cwietajewa odpowiedziała: „Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном [...]”<sup>10</sup>.

W wierszach pochodzących z okresu emigracyjnego Cwietajewa bardzo często przedstawiała zniszczoną przestrzeń ojczyzny w metonimicznym obrazie domu. Wschodnie narody wierzą, że kiedy człowiek umiera, razem z nim umiera i jego dom. Dom umiera także wtedy, gdy nikt o niego nie dba, dom popada w ruinę, jako że tajemnica domu – to tajemnica człowieka. Zaniebany, opuszczony dom to już nie harmonia i ochrona; fetor, szmaty, kurz i pył, które roznosi wiatr – te motywy stały się ważnym obrazem w emigracyjnej liryce poetki (*Берегись*). Mieszkania, do których trafiała bohaterka liryczna Cwietajewej, nie były prawdziwym domem, nie miały „domowego” wizerunku. Miały charakter miejsc, do których ludzie trafiają jedynie przypadkowo, nie z własnej woli („в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма”). To złowieszcze i przygniatające pomieszczenia – „Гробовое, глухое мое зимовье”, pośród których bohaterka liryczna została jak gdyby pochowana za życia („Существования котловиною...”). Fazil Iskander pisał wręcz: „Цветаева – литература бездомья”<sup>11</sup>.

Najbardziej reprezentatywna w powyższym kontekście wydaje się charakterystyka domu znajdująca się w dwóch wierszach o takim samym tytule: *Дом (Дом)*. Pierwszy pochodzi z 1931, drugi – z 1935 roku („Лопушиный, ромашный...”)<sup>12</sup>. W wierszu

<sup>7</sup> Н.И. Катаева-Лыткина, *Прикосновения*, Москва 2002, s. 47.

<sup>8</sup> М. Цветаева, *Собрание сочинений...*, т. 1, s. 423.

<sup>9</sup> *Ibidem*, т. 3, s. 175.

<sup>10</sup> Сут за: В.А. Маслова, *Поэт и культура. Концептосфера Марины Цветаевой*, Москва 2004, s. 61.

<sup>11</sup> Ф. Искандер, *Дом и бездомье*, Невское время 2004, wyd. z 30 lipca, online <<http://nv.vspb.ru/cgi-bin/pl/nv.pl>>, dostęp: 20 listopada 2008.

<sup>12</sup> Wiersz był opublikowany jako oddzielny utwór, stanowił jednak początek nieukończonego poematu *Певица* (zob. *Поэзия* 1981, nr 30, s. 134), nad którym Cwietajewa pracowała w 1935 roku. W wierszu mowa o domu na przedmieściach Paryża, gdzie poetka mieszkała od 1934 do 1938 roku.

z 1931 roku („Из-под нахмуренных бровей...”) dom – to dla Cwietajewej jasne i dobre miejsce wydzielone z otaczającego go fałszywego świata. Ale dom może się stać obcym i strasznym miejscem, pełnym obojętności, hipokryzji i fałszu: „Всяк дом мне чужд, / Всяк храм мне пуст...”<sup>13</sup>. I wówczas z takiego domu trzeba uciekać: „Дом, это значит: из дому / В ночь”<sup>14</sup>. Dlatego opis mieszkania i atmosfery wokół niego wywołuje odpychające wrażenie („В непросыхающей грязи / Мне предоставленных трущоб”). Te realia rysują obrazy martwego odrętwienia i wyobcowania. Wywołują wrażenie śmierci zarówno domu, jak i postaci ludzkiej. Pustka domu – to zniszczenie tej „całości”, którą on uosabia. Poczucie obcości wdziera się do jądra „przestrzeni swojskiej”, burzy ją i niesie ze sobą gorycz i zagrożenie. Motyw pustego domu – pustej świątyni, motyw duchowej entropii domu wiąże się z motywem bezpowrotnie minionego czasu. Pozycja bohaterki lirycznej jest pozycją obcego pośród świata, wędrowca, włóczęgi, „odszczępieńca”: „Глаза – без всякого тепла: / То зелень старого стекла. / Сто лет глядящегося в сад, / Пустующий – сто пятьдесят”. W powyższych wersach przez nowe zespolenie motywów: postać ludzka – mieszkanie nasila się wrażenie zapuszczenia, wręcz obrośnięcia kamieniem domu i człowieka. Ten obraz kontrastuje z obrazem z początku wiersza: dom pełen ruchu, dom – młodość i energia. Mieszkanie jest światem zamkniętym w sobie, a jego okna zdają się mówić: „гостей не ждать, / Прохожего не отражать”. Nieustanne przeplatanie motywu człowieka z motywem domu powoduje wrażenie wyobcowania, zamknięcia bohaterki w sobie samej. Zatem dom u Cwietajewej jest ambiwalentny: z jednej strony to bajka, oaza, jasne miejsce pośród fałszywego świata, z drugiej – miejsce, skąd chce się uciec.

Drugi wizerunek domu, symbolicznie opowiedziany kolorem – zieleń starego szkła – i nie całkiem oderwany od pierwszego wizerunku, kojarzy się z zielenią młodości z początku wiersza („зелень юности моей”). Znaczenie koloru zielonego jako zastygłego, martwego znieruchomienia nakłada się na oznaczenia życia, młodości, piękna. Jednocześnie dom, w którym oczy są lustrami dla samych siebie, wciąż jest bliski i drogi. Każde następne stwierdzenie osłabia sens poprzedniego, ale te dwa obrazy są immanentnie powiązane. Finalny obraz domu – „Меж обступающих громад” – niesie wspomnienia o młodości, aromacie lipy, ale i poczucie czasu, który się zatrzymał, podkreśla obcy dagerotyp, narzucający wrażenie zastygłej, odległej przeszłości. Na granicy między realnym a nierealnym, między życiem a śmiercią, wrażenie bliskości domu jest zbyt małe, jak powie bohaterka liryczna drugiego wiersza o domu, wiersza z 1935 roku: „Лопушиный, ромашный / Дом так мало домашний!”.

Szczególnie ciekawe jest to, że w dwóch samodzielnych wierszach omówionych powyżej kształtuje się jedno semantyczne gniazdo: dom – postać – dusza. Łańcuch semantyczny „dusza – oczy – okna” wydaje się stosunkowo tradycyjny, przywołuje myśli czy skojarzenia dotyczące otwartości. Słowa „dom”, „okno”, „drzwi” nie zawsze

<sup>13</sup> М. Цветаева, *Собрание сочинений...*, т. 2, s. 316.

<sup>14</sup> Ibidem, т. 3, s. 33.

oznaczają jedynie realne przedmioty, w określonych kontekstach nabierają szczególnego znaczenia.

W zmiennych charakterystykach obrazu domu realizowana jest idea wartości „rodzimego” i jego utraty. „Swojska przestrzeń” skrywa się w wewnętrznej przestrzeni „ja”. Jedynie duchowość człowieka staje się prawdziwym miejscem „zamieszkania” Ojczyzny<sup>15</sup>. Cwietajewa wiele wierszy zbudowała na kontraście ziemskiego i niebiańskiego świata, na przykład *Чердачный дворец мой, дворцовый чердак...* W liście do Romana Gula z 1923 roku wyznała: „Гуль, я не люблю земной жизни, никогда ее не любила, в особенности людей. Я люблю небо и ангелов: там и с ними бы я умела”<sup>16</sup>. Charakterystyczne, że „poddasze” dla bohaterki lirycznej jest bliższe niebu niż ziemi lub domowi jako symbolowi kulturowemu. Dom, stanowiący w mitologii poetyckiej centrum przestrzeni sakralnej (podobnie jak świątynia, ołtarz), w świecie lirycznym poetki traci tradycyjną funkcję, stając się swojego rodzaju przestrzenią „zerową” („nic”, „pustka”). W tym znaczeniu „dom” odnosi się do innego mitologicznego źródła. Stanowiąc dla starożytnych model świata (dach – niebo, podłoga – ziemia), dom był jednocześnie miejscem przyciągania sił nadprzyrodzonych, koncentracją pewnego „demonicznego” pierwiastka (zwłaszcza pusty dom, w wielu opowieściach związanych z diablami, przywidzeniami i wszelką siłą nieczystą). Należy podkreślić, że tam, gdzie Cwietajewa mówi o domu baśniowym i przytulnym, chodzi z reguły nie o „dom – mieszkanie”, a o „dom – sad”, „dom – raj”, „dom – sen” – słowem o coś wymyślonego, rezultat poetyckiej mitotwórczości<sup>17</sup>. Najczęściej w tradycyjnym rozumieniu dom dla bohaterki lirycznej to „pustka”: „дом – чужд”, „дом – пуст”, „дом мой сломлен...”. I rzecz nie tylko w odrzuceniu bytu i niemożności życia przez byt (skargi nieustannie dźwięczą w korespondencji poetki i we wspomnieniach przyjaciół i członków rodziny), ale i w bardzo bliskim (zwłaszcza dla romantycznej świadomości Cwietajewej) znaczeniu pojęć „dom” i „śmierć”. Dom („домовина”) to także trumna – mogiła... Takie asocjacje wywołuje wiele wierszy<sup>18</sup>.

Warto wrócić jeszcze do tak ważnych atrybutów domu jak okna, drzwi, pokój, korytarz, schody, lustra. Okna domu to oczy na świat. Okno pełni dwie funkcje: albo zespala poetę ze światem, albo staje się przeszkodą w takim zespoleniu. Także w twórczości Cwietajewej słowo „okno” posiada ambiwalentne znaczenia. Z jednej strony, okno zamyka poetkę we własnym świecie, sprawia, że staje się jeszcze bardziej samotna, jako że zasadnicza funkcja okna – to ochrona przed światem; skutkiem takiego odseparowania jest niezdolność do odzwierciedlenia tego świata. Z drugiej strony, zamknięte okno staje się głuchą ścianą, potęgującą wrażenie oderwania od życia.

<sup>15</sup> К 110-летию со дня рождения М. Цветаевой, Вестник МГУ. Серия: Гуманитарные науки 2002, nr 1.

<sup>16</sup> М. Цветаева, *Письма к Р. Гулю*, Здесь и теперь 1992, nr 2, s. 192.

<sup>17</sup> Рог. Н. Дацкевич, М. Гаспаров, *Тема дома в поэзии Марины Цветаевой*, s. 116–130.

<sup>18</sup> Zob. Н.О. Осипова, *Творчество М.И. Цветаевой в контексте культурной мифологии Серебряного века*, Киров 2000, s. 25. Anna Saakjans odnosi tę symbolikę do szerszego tematu: „«иннобытия», «ухода» прочь от земных измерений”. Zob.: А. Саакянц, *Уход Марины Цветаевой*, w: *Норвичские симпозиумы по русской литературе и культуре*, т. 2: *Марина Цветаева*, Вермонт 1992, s. 14–27

Cwietajewa zawsze wyrwała się za granice: domu, duszy, ziemskich powiązań. I wyjściem awaryjnym było właśnie okno. W wierszu *Окно* (1923), którego pierwotny tytuł brzmiał *Занавес*, bardzo jasno wyraziła dążenie poza okno: „Вдовою индусскою / В жерло златоустое. / Наядою сонною / В моря законные...”. Znaczenie tego obrazu pomaga zrozumieć następująca myśl poetki: „...душу мою я никогда не ощущала внутри себя, всегда – вне себя, за окнами. Я дома, а она за окном”<sup>19</sup>.

Analizując metaforykę konceptu „domu”, Nikołaj Dackiewicz i Michaił Gasparow dochodzą do wniosku, że w sytuacji wyboru między odosobnieniem domu „ziemskiego” i domem „niebiańskim” Cwietajewa poszukuje trzeciej możliwości: „вечное движение прочь от самой себя”<sup>20</sup>. Taką trzecią możliwością staje się korytarz, który okazuje się swoistą drogą do mitycznego trójściennego pokoju.

Jednymi z najbardziej charakterystycznych cech wyrażających zamkniętą przestrzeń domu – ojczyzny w emigracyjnej twórczości Cwietajewej jest „ciepło”, „bezpieczeństwo”, „ochrona”, przeciwstawione przestrzeni zewnętrznej i jej cechom – „chładowi”, „wrogości”, „uczuciu obcości”. Wtargnięcie „tego, co obce” w to, co rodzime, rozerwanie najświętszej „swojskiej przestrzeni” prowadzi bohaterkę liryczną Cwietajewej do konkluzji: „всяк дом мне чужд, всяк мне пуст...” (*Тоска по родине*). Zniszczona jedność domu nie może być odbudowana. Dom w „obcej”, emigracyjnej przestrzeni okazuje się nieprawdziwym domem w przeciwieństwie do domu pełnego przytulności i wyciszenia. Entropia obrazu prowadzi do oddalenia elementów systemu od ich pierwotnej, substancjonalnej natury. Mieszkanie kojarzy się nie z domem, lecz z lasem z czarodziejskiej bajki, czyli z czymś „obcym”, „groźnym”. „To, co obce” zniszczyło spokój domu, przekształcając go w więzienie, powoli niszcząc „ja”. W takim razie dom w „obcej” przestrzeni napęnia się sensem przestrzeni „zewnętrznej”, przekształca się w swoje przeciwieństwo – to już nie jest schronienie, lecz przestrzeń wroga i koszmarna. Umacnia się chęć powrotu tam, gdzie pozostał prawdziwy dom, przytulność, szczęście.

W warunkach emigracyjnej egzystencji niemożność odnalezienia swojego miejsca na ziemi, a w związku z tym swoiste „zawieszenie” między ziemią a niebem, jeszcze bardziej nasiliły się w poezji Cwietajewej. Tym bardziej, że marzenie o powrocie do domu nigdy się nie spełniło. Samotność, niezrozumienie, literackie wyizolowanie – oto co niezmiennie towarzyszyło Cwietajewej na emigracji. W takich okolicznościach myśl o powrocie do kraju wydawała się naturalna. Ale Cwietajewa jako jedyna w swojej własnej rodzinie, gdzie wszyscy gorąco pragnęli powrotu do ZSRR, bardzo długo wzdbraniała się przed tą decyzją: „Все меня выталкивает в Россию, в которую – я ехать не могу. Здесь я не нужна. Там я невозможна”<sup>21</sup> – pisała w 1931 roku do swojej czeskiej przyjaciółki Anny Teskowej<sup>22</sup>. Wiosną 1937 roku jako pierwsza wyje-

<sup>19</sup> М. Цветаева, *Неизданные письма*, Париж 1972, s. 124.

<sup>20</sup> Н. Дацкевич, М. Гаспаров, *Тема дома в поэзии Марины Цветаевой*, s. 116–130.

<sup>21</sup> М. Цветаева, *Письма к Анне Тесковой*, Прага 1969.

<sup>22</sup> Anna Tesková (1872–1954), czeska pisarka i tłumaczka zaprzyjaźniona z kołami rosyjskiej emigracji w Pradze, z Marią Cwietajewą korespondowała w latach 1922–1939, pomagała jej materialnie.



chała córka Cwietajewej, Ariadna. W czerwcu 1937 roku podanie o radziecki paszport złożył Efron, przekonany o tym, że żona nie rozumie „wielkiego eksperymentu” dokonyjącego się w Radzieckiej Rosji<sup>23</sup>. Wreszcie sama Cwietajewa, samotna, opuszczona, bez perspektyw i wsparcia, w drugiej połowie 1939 roku wróciła do ZSRR. Jednak powrót z emigracji do ojczyzny nie złagodził napięcia – przeciwnie, zaostriżył je. 10 października 1939 został aresztowany, a rok później rozstrzelany mąż (pośmiertnie rehabilitowany w 1956 roku)<sup>24</sup>. 27 sierpnia 1939 roku aresztowano i osadzono w obozie córkę. Spędziła tam długich szesnaście lat<sup>25</sup>. W Moskwie Cwietajewa nie miała stałego lokum, próbowała zarabiać na życie tłumaczeniami. Jedyna jej publikacja w ZSRR – wiersz jeszcze z praskiego okresu *Starodawna pieśń* (Старинная песня) – został opublikowany w czasopiśmie „Тридцать дней” (w marcu 1941). Wprawdzie Borys Pasternak zwrócił się do Aleksandra Fadijewa z prośbą o przyjęcie Cwietajewej do Związku Pisarzy Radzieckich lub chociaż o uczynienie z niej członka „Литфонда”, co zapewniłoby jej materialne utrzymanie, ale otrzymał odpowiedź negatywną. W pierwszych miesiącach wojny, w Jełabudze, dokąd została ewakuowana wraz z grupą pisarzy moskiewskich, Cwietajewa próbowała uzyskać posadę w Domu Pisarzy. Ale i tego jej odmówiono, oferując pracę w charakterze pomocy kuchennej w stołówce. Zrezygnowana, samotna, niezrozumiana, 31 sierpnia 1941 roku popełniła samobójstwo.

Jak się okazało, powrót Cwietajewej do upragnionego domu był możliwy jedynie przez poetycką retrospekcję... Jednak poezja rosyjskiej emigrantki na wiele lat pozostała „bezdomna”, zanim dotarła do rosyjskiego czytelnika. Powrót twórczości Cwietajewej do ojczyznanego domu rozpoczął się dopiero w 1956 roku wraz z publikacją jej wierszy w almanachu „Литературная Москва”, a następnie w 1961 roku w almanachu „Гарусские страницы”. Obecnie doczekaliśmy się dziesiątek publikacji naukowych, kolejnych wznowień dzieł zebranych poetki, cyklicznych konferencji na temat jej twórczości, a tomiki poetyckie na stałe zagościły w rosyjskich księgarniach.

---

<sup>23</sup> Siergiej Jakowlewicz Efron (1892–1941?) brał aktywny udział w działalności utworzonego w 1925 roku w Paryżu Związku Powracających do Kraju (Союз Возвращенцев). Uważa się, że około 1933 roku został zwerbowany przez zagraniczny wydział NKWD. Zamieszany w sprawę „zniknięcia” w Paryżu generała Jewgienija Millera oraz zabójstwo Ignatija Reissa (alias Poreckiego), współpracownika NKWD, który odmówił powrotu do ZSRR. W 1937 roku Siergiej Efron pospiesznie wyjechał do Leningradu. Piszą na ten temat m.in. Izaak Deutscher (*The Prophet Outcast*, 1963), a także E.K. Porecka (wdowa po Reissie) w książce *Our Own People*, Oxford University Press, 1969. 22 października w paryskim mieszkaniu Cwietajewej przeprowadzono przeszukanie. Podczas przesłuchania w Surtée National, nie zdając sobie sprawy z tajnych działań męża, zapewniała francuskich urzędników o jego uczciwości.

<sup>24</sup> Efrona oskarżono o niepowodzenie operacji służb specjalnych Związku Radzieckiego, w której brał bezpośredni udział.

<sup>25</sup> Tragiczny los, jakże typowy dla tamtych lat, dotknął wielu powracających. W 1935 roku powróciła do kraju Gajana, córka Matki Marii (z pomocą Aleksieja Tołstoja, który przyjechał do Paryża). Wiele wspólnego odnajdujemy w losach Gajany i córki Mariny Cwietajewej, Ariadny. Obie były entuzjastkami i patriotkami Związku Radzieckiego, obie w wyniku ideowych postaw porzuciły bliskich i krewnych. Dla Ariadny oznaczało to osiem lat łagrów i sześć lat zesłania w najodleglejszych zakątkach Syberii. Dla Gajany – śmierć. Niewinnie skazana Ariadna wróciła z zsyłki w 1955 roku. Pozostała część życia poświęciła zbieraniu, badaniu, systematyzowaniu i upowszechnianiu archiwum matki.

## Summary

### Home – Homeland in M. Tsvetaeva's Emigration Poetry

Home and its attributes as designata of the homeland in Tsvetaeva's poetry occur in various pictures. These are among other things: home-remembrance and home-dream. The first case concerns Russia before emigration. The second home is a metaphor of the return. The existence in exile, involving the fact of physical and spiritual alienation, entails the way of perceiving oneself. Tsvetaeva believed in the possibility of finding the way home, but it never arose.

**Andrzej Pilipowicz**

Instytut Neofilologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DER REGEN – METAPHER DER EINSAMKEIT.  
EINE STUDIE ÜBER R.M. RILKES *EINSAMKEIT*  
UND K.K. BACZYŃSKIS *DESZCZE*

**Key words:** German literature, Polish literature, Rainer Maria Rilke, Krzysztof Kamil Baczyński, solitude

Im Allgemeinen ergibt sich die Einsamkeit aus einer Dissonanz zwischen dem Menschen und der Welt. Diese Erscheinung gilt als untilgbar, sonst wäre der Mangel an Einsamkeit ein Beweis für den Tod. Der Mensch geht nie die Beziehung mit der Außenwelt in dem Grad ein, der die Einsamkeit aufhebt, weil er in der Welt als einziges Exemplar auftaucht und nie mit der Welt so wie mit sich selbst kommunizieren wird. Andererseits enden der Verzicht auf die Welt und die ausschließliche Zuwendung zu seinem Inneren auch mit einer zunehmenden Einsamkeit, weil sich der Mensch als ein teils autonomes und teils gesellschaftliches Wesen stets die Welt ‚schöpfen‘ muss, um der Erstarrung im Umgang mit sich selbst entgegenwirken zu können. Als eine zutreffende Metapher der Einsamkeit erweist sich das Element des Wassers: Seine Merkmale geben die Dynamik der Einsamkeit wieder, umfassen ihren positiven und negativen Wert, beziehen sich sowohl auf die Außen- als auch die Innenwelt des Menschen und tragen der Einklemmung seiner Existenz zwischen dem Leben, dessen Symbol eben das Wasser ist, und dem Tod, der im Wasser schlummert, Rechnung. In diesem Beitrag werden zwei Gedichte einer Analyse unterzogen, in denen die Einsamkeit zum Regen konvertiert wird. Rainer Maria Rilke (1875–1926) mit dem Gedicht *Einsamkeit*, das am 21. September 1902 in Paris entstanden ist, und Krzysztof Kamil Baczyński (1921–1944) mit dem Gedicht *Deszcze* [*Die Regenfälle*], das am 21. Februar 1943 in Warschau geschrieben wurde, haben dieses äußerst schwierig darzustellende und sich jeglichen Fassungsversuchen entziehende Phänomen gerade in der ätherischen Substanz der Poesie fixiert. Im Folgenden wird auf den Regen als Wasser-Metapher der Einsamkeit eingegangen, um nachzuweisen, inwiefern der Regen die Struktur der Einsamkeit sowie deren pulsierende Vitalität hervorhebt, und zu erläutern, in welcher Weise das Leben und der Tod die Kehrseiten des Wasserele-

ments sind. Darüber hinaus wird versucht, die Frage nach der Unentbehrlichkeit dieser Erscheinung in der Existenz trotz seines destruktiven Einflusses auf den Einzelnen zu klären.

Im Gedicht *Einsamkeit* bringt Rilke keine positiv erlebte, sondern eine negativ erfahrene, den Menschen attackierende Einsamkeit zum Ausdruck:

Die Einsamkeit ist wie ein Regen.  
 Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen;  
 von Ebenen, die fern sind und entlegen,  
 geht sie zum Himmel, der sie immer hat.  
 Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt.

Regnet hernieder in den Zwitterstunden,  
 wenn sich nach Morgen wenden alle Gassen  
 und wenn die Leiber, welche nichts gefunden,  
 enttäuscht und traurig von einander lassen;  
 und wenn die Menschen, die einander hassen,  
 In *einem* Bett zusammen schlafen müssen:

dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen ...<sup>1</sup>

Neben der Kraft des Wassers als eines der mächtigsten Elemente und dessen Allgegenwart wird die Untrennbarkeit des Menschen und der Einsamkeit wie die des Wassers und jedes Existenzwesens betont. Diese These, dass es kein Menschenleben ohne Einsamkeit gibt, drückt auch Udo Derbolowsky sehr überzeugend aus: "Alles, was geboren wird, erleidet durch den Geburtsakt einen Wurf aus Vertrautem in Unvertrautes und in Einsamkeit"<sup>2</sup>. Der Mensch verlässt das seinen Körper umgebende Fruchtwasser während des Geburtsaktes und erscheint in der Welt, in der sein Körper selbst jetzt die Plazenta der mit verschiedener Wasserform chiffrierten Einsamkeit bildet. Fallen die Einsamkeit und die Gemeinsamkeit von dem Zeugungsakt bis zur Geburt zusammen, weil sich das Ich des Menschen und die Welt im Mutterleib decken, so wird diese Einheit vernichtet, wenn der Mensch geboren wird. Der Mensch und die Welt bilden zwei Pole des Feldes, dessen Spannung von den im Geburtsmoment getrennten und immer wieder aufeinander einwirkenden Potenzialen der Einsamkeit und der Gemeinsamkeit erzeugt wird. Die Regentropfen, die in Rilkes Gedicht präsent sind, veranschaulichen keine völlige Einsamkeit, weil es zwischen den Tropfen noch Platz gibt, der der Gemeinsamkeit zuzuerkennen wäre, der aber dann z.B. im Fluss schon verloren geht. Der Regen als Metapher charakterisiert die Einsamkeit noch aus einer anderen Perspektive: Die immer gleiche Form der Tropfen geht darauf zurück, dass alle von der Einsamkeit befallen werden, und tut dadurch, dass jeder nur sich

<sup>1</sup> R.M. Rilke, *Einsamkeit*, in: R.M. Rilke, *Gesammelte Gedichte*, Frankfurt am Main 1962, S. 153f.

<sup>2</sup> U. Derbolowsky, *Einsamkeit und Gemeinsamkeit aus der Sicht gruppenzentrierter analytischer Psychotherapie*, in: *Einsamkeit in medizinisch-psychologischer, theologischer und soziologischer Sicht*, hrsg. von W. Bitter, Stuttgart 1967, S. 116.

selbst im Tropfen wie im Spiegel zu betrachten vermag, dem individuellen Charakter der Einsamkeit Genüge.

Die Einsamkeit, als Zirkulation des Wassers dargestellt, ist unaufhebbar und unbekämpfbar: Durch die ständige Rückkehr der Einsamkeit gewöhnt man sich jedoch nicht an sie, sondern sie kommt auf den Menschen als etwas immer Neues zu. Mit den verschiedenen Formen des Wassers weist Rilke auf die Einsamkeit als auf einen konstanten Teil des Daseins und auf ihre wechselnde Intensität hin: Unwahrnehmbar auch am Tag als aufsteigender Wasserdampf schwillt sie mit den sich allmählich bewusst gemachten unerfüllten und enttäuschten Sehnsüchten, Hoffnungen, Erwartungen an und steigert sich von der Dämmerung an zur extremen Verzweiflung, die in der Nacht platzt und die Leere des Ichs bloßlegt. Der Tumult der Stadt, der Rilke eine den Menschen unwiederbringlich alienierende Funktion zuschreibt<sup>3</sup> und die – wie im Falle von Rilke selbst – zum Schauplatz der Atomisierung der Persönlichkeit werden kann<sup>4</sup>, tritt mit dem Eintritt der Nacht zurück, wodurch die Einsamkeit und somit das an die Welt nicht angeschlossene und keine Zuflucht zu sich findende Ich in der Stille der Nacht verstärkt spürbar wird: Empfindet man dann das Nieseln als Klatschen, so zeigt sich der Abgrund zwischen dem Menschen und der Welt sowie zwischen dem Menschen und seinem Ich unter diesen Umständen als niederschlagend, wodurch man den Eindruck gewinnt, dass sich die Einsamkeit der Existenz in einer derartigen Verdichtung bemächtigt hat, in der sich das von der Einsamkeit determinierte Leben direkt vor dem Tod kondensiert. Das Gewicht der herunterfallenden Tropfen versinnbildlicht die Rücksichtslosigkeit und das Ungebändigtsein der Einsamkeit und lässt sie als eine angreifende, tötliche Kraft betrachten. Der lähmendste Angriff der Einsamkeit wird vor dem Anbruch des Morgens empfunden, wenn die Nacht zum Tag wird. Diese Zeit ist um so wichtiger, als der Mensch vor der Routine des Tages steht und seine letzte Chance vorbeigehen sieht, die Leere des Inneren – wenn nicht mit einer anderen, für die Welt stehenden Person, dann mit sich selbst – zu ‚bebauen‘ und der Einsamkeit ihre positive, von Eberhard Elbing als Für-sich-Sein<sup>5</sup> bezeichnete Seite abzugewinnen. Den sich in der zerreißensten Desperation äußernden Moment und das Apogäum des Erlebens der Einsamkeit macht die Szene aus, in der zwei in einem Bett schlafende Menschen dargestellt sind. In dieser Szene leiden die Menschen unter der Einsamkeit, deren Wesen Elbing als die ‚ontologische Ferne‘ auslegt<sup>6</sup>, am stärksten, wenn die ‚ontische Nähe‘ zu der Person, die die ‚ontologische Ferne‘ aufheben könnte, am größten ist. Die physische Nähe (die Körper der Menschen) potenzieren fast die geistige Entfernung. Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Einsamkeit als dem psychischen Gemütszustand und den physischen Kategorien präsentiert Jan Twardowski in dem Gedicht *Samotność* [*Die Einsamkeit*] (1970):

<sup>3</sup> Vgl. M. Jastrun, *Posłowie*, in: R.M. Rilke, *Poezje*, Kraków 1987, S. 396f.

<sup>4</sup> Vgl. W. Leppmann, *Rilke. Sein Leben, seine Welt, sein Werk*, Wiesbaden 2005, S. 229.

<sup>5</sup> Vgl. E. Elbing, *Einsamkeit. Psychologische Konzepte, Forschungsbefunde und Treatmentansätze*, Göttingen 1991, S. 11.

<sup>6</sup> Vgl. *ibidem*, S. 12.



die Existenz an ‚Vitalität‘ gewinnt, so funktioniert die andere Person bei Rilke als Teil der Welt, der – in das Ich durch Liebe eingeführt – die Innenwelt zu ‚beleben‘ ermöglicht. Bei Rilke aber geschieht das Umgekehrte. Das Erleben der Einsamkeit wird verschärft, indem zwei Menschen nicht nur sich selbst gegenüber gleichgültig sind, sondern indem sie in dem das Ich verengenden Hass und in dem von Elbing als Gegeneinander-Sein<sup>9</sup> definierten Zustand untergehen. Das sich deswegen zusammenschrumpfende Ich, dessen Erweiterung z.B. durch die Liebe erfolgen könnte, wird von dem sich anscheinend vergrößernden Bett unterdrückt. Das Bett entblößt die Reduzierung des Menschen auf ein bloßes Objekt. In Bezug auf das Bett fehlt es an Liebe zum anderen als einer Form der zwischenmenschlichen Beziehungen und es wird letztendlich nur von dem Schlaf gesprochen, der allein dazu dient, den Forderungen des Tages nachzukommen, und den man als eine Flucht vor der Einsamkeit betrachten kann. Gegen Ende des Gedichts fällt auf, dass das Wasser nicht mehr die Form der Tropfen annimmt, sondern in Form des Flusses als der verbundenen Tropfen auftritt, wo es keinen Platz mehr für die Gemeinsamkeit gibt. Das die Stadt aus dem Dunklen herausbringende Licht des Tages scheint den letzten Versuch der Kommunikation mit sich selbst zum Scheitern zu verurteilen und verkündet die Notwendigkeit, sich wieder in eine erzwungene Rolle hineinzupressen. Zwar wird der in der Nacht zu Bewusstsein gebrachte Abgrund vorläufig nivelliert, aber nur dadurch, dass er mit dem Fremden der Welt ohne Anteilnahme des Ichs zugeschüttet wird. Das Dramatische der Aussage des Gedichts wird dadurch vertieft, dass hier jede in der Paraphrase von Rilkes Metaphorik als Regenbogen offenbarungsfähige Hoffnung ausbleibt.

Im Unterschied zu Rilkes Gedicht, wo der Regen als ein Teil der Wasserfluktuation die Struktur der Einsamkeit wiedergibt, ist der Regen in Baczyńskis Gedicht sehr ergiebig in Bezug auf deren Bedeutung:

Deszcz jak siwe łodygi, szary szum,  
a u okien smutek i konanie.  
Taki deszcz kochasz, taki szelest strun,  
deszcz – życiu zmiłowanie.

Dalekie pociągi jeszcze jadą dalej  
bez ciebie. Cóż? Bez ciebie. Cóż?  
w ogrody wód, w jeziora żalu,  
w liście, w aleje szklanych róż.

I czekasz jeszcze? Jeszcze czekasz?  
Deszcz jest jak litość – wszystko zetrze:  
i krew z bojowisk, i człowieka,  
i skamieniałe z trwóg powietrze.

---

<sup>9</sup> Vgl. E. Elbing, op. cit., S. 10.

A ty u okien jeszcze marzysz,  
nagrobku smutny. Czasu napis  
spływa po mrocznej, głuchej twarzy,  
może to deszczem, może łzami.

I to, że miłość, a nie taka,  
i to, że nie dość cios bolesny,  
a tylko ciemny jak krzyk ptaka,  
i to, że płacz, a tak cieleśny.

I to, że winy niepowrotne,  
a jedna drugą coraz woła,  
i to, jakbyś u wrót kościoła  
widzenie miał jak sen samotne.

I stojąc tak w szeleście szklanym,  
czuję, jak łód odpływa w poszum.  
Odejdą wszyscy ukochani,  
po jednym wszyscy – krzyże niosąc,  
a jeszcze innych deszcz oddali,  
a jeszcze inni w mroku zginą,  
staną za szkłem, co jak ze stali,  
i nie doznani miną, miną.

I przejdą deszcze, zetną deszcze,  
jak kosy ciche i bolesne,  
i cień pokryje, cień omyje.  
A tak kochając, walcząc, prosząc  
stanę u źródeł – studni ciemnych,  
w groźnym milczeniu ręce wznosząc;  
jak pies pod pustym biczem głosu.

Nie pokochany, nie zabity,  
nie napełniony, niedorzeczny,  
poczuję deszcz czy płacz serdeczny,  
że wszystko Bogu nadaremno.  
Zostanę sam. Ja sam i ciemność.  
I tylko krople, deszcze, deszcze  
coraz to cichsze, bezbolesne.<sup>10</sup>

(Der Regen [ist] wie graue Stengel, ein graues Geräusch, / und an den Fenstern [gibt es] Trauer und Sterben. / Solch einen Regen liebst du, solch ein Säuseln der Saiten, / der Regen – das Erbarmen für das Leben. // Ferne Züge fahren noch weiter // ohne dich. Was denn? Ohne dich. Was denn? / in die Gärten der Gewässer, in die Seen des Bedauerns, / in die Blätter, in die Alleen der gläsernen Rosen. // Und wartest du noch? Wartest du noch? / der Regen ist wie Mitleid – er wischt alles ab: / sowohl das Blut von den Schlachtfeldern und den Menschen, / als auch die vor Furcht verstei-

<sup>10</sup> K.K. Baczyński, *Deszcze*, in: K.K. Baczyński, *Wiersze*, Toruń 1994, S. 77f.



nerte Luft. // Und du träumst noch an den Fenstern, / trauriges Grabmal. Die Schrift der Zeit / sinkt am düsteren, tauben Gesicht herunter, / vielleicht da mit dem Regen, vielleicht da mit den Tränen. // Und das, dass [es] Liebe [gibt], [die] aber nicht derartig [ist], / und das, dass der Schlag nicht schmerzvoll genug [ist], / sondern nur dunkel wie Schrei des Vogels / und das, dass [es] das Weinen [gibt], [das] aber so leiblich [ist]. // // Und das, dass [es] unwiederbringliche Schulden [gibt] / und die eine ruft immer wieder die andere, / und das, als ob du am Tor der Kirche / eine Vision hättest wie einen einsamen Traum. // Indem ich so im gläsernen Geräusch stehe / fühle ich, wie das Land in das Nachgeräusch wegfleßt, / Alle Geliebten gehen weg, / einer nach dem anderen – indem sie die Kreuze tragen, / und noch die anderen entfernt der Regen, // und noch die anderen kommen in der Finsternis um, / sie stellen sich hinter das Glas, das wie aus Stahl [ist], / und vergehen, vergehen unerlitten. // Und die Regenfälle gehen vorbei, die Regenfälle schneiden weg / wie leise und schmerzvolle Sensen, / und der Schatten deckt, der Schatten spült. / Und so liebend, kämpfend, bittend / stelle ich mich an die Quellen – der dunklen Brunnen, / die Hände im drohenden Schweigen hochhebend; / wie ein Hund unter der leeren Peitsche der Stimme. // Ungeliebt, ungetötet, / ungefüllt, unsinnig, / ich fühle den Regen oder ein herzliches Weinen // dass alles Gott umsonst ist. / Ich bleibe allein. Ich allein und die Dunkelheit. / Und nur die Tropfen, die Regenfälle, die Regenfälle, / [die] immer leiser, schmerzlos [sind].) [Lineare Übersetzung – A.P.]

Im Gedicht wird die Einsamkeit aus zwei Perspektiven betrachtet: In den ersten sechs Strophen nimmt sich das Ich als Objekt wahr und in den letzten drei Strophen wird es nur auf ein bloßes Subjekt reduziert. Die innerliche Situation des Ichs wird gleich am Anfang angedeutet: Es steht am Fenster, also an der Grenze zwischen dem Rand des Inneren, wo das Haus endet, und dem Rand des Äußeren, wo die Außenwelt beginnt. Es bleibt der Außenwelt aufgeschlossen, mit der es zwar nicht kommuniziert, mit der es aber eine Beziehung aufzunehmen bestrebt ist. Da der Mensch – wie am Beispiel von Twardowskis Gedicht gezeigt – sowohl ein autonomes als auch ein gemeinschaftliches Wesen ist, wird der Teil des Ichs, den die Welt durchzieht, stillgelegt. Auf diese Leere im Ich wird mit den Worten ‚Trauer‘ und ‚Sterben‘ hingewiesen. Um sich der Metapher des Regens zu bedienen, kann man im Regen die Stillung des Durstes nach der Welt erblicken. Der Regen in Form der den Weg zur Welt versperrenden Stengel und das Haus, dessen Fenster an die Augen und dessen Statik an die das Absterben unterstreichende Unbeweglichkeit des Ichs erinnern, veranschaulichen die Barriere zwischen dem Ich und der Welt, die als Abgrund in Rilkes Werk sehr deutlich zutage getreten ist. Die Liebe zum Regen, von der in der ersten Strophe die Rede ist, ergibt sich nicht nur daraus, dass es eine Begründung seiner Unmöglichkeit des Anschlusses an die Welt findet, sondern resultiert auch daraus, dass der vom Regen in sein Ich eingepferchte Mensch mit dem Rücktritt des Regens um so stärker in die Welt geschleudert wird.

Der Regen, der wie ein zusammengezogener Wasservorhang dem Ich die Welt abdeckt, führt zur Potenzierung des Bedürfnisses, in die Welt vorzudringen. Die Stärke

des Drangs nach der Welt offenbart sich durch den Vergleich mit der Zugfahrt, auf der es am Ich fehlt. Die Welt, die vom Regen immer mehr verwischt wird und die deswegen zusammenschrumpft, wird im Inneren des Ichs ausgedehnt, denn die im Gedicht erwähnten Züge fahren nicht so weit, wie es dem Ich scheint. Eine modifizierte Variante der Wassermetapher stellt der See dar, die nicht ‚senkrecht‘ wie ein Regenvorhang, sondern ‚waagrecht‘ verläuft, wodurch der Mangel am Zugang zur Welt und die Existenz des Ichs an der Oberfläche der Welt verdeutlicht werden. Dem Ich wird nur die imaginär-idealistische, und nicht die kognitiv erfahrene Welt, die die Rosen<sup>11</sup> (‚szklane róże‘/‚gläserne Rosen‘) verschlüsseln, zuteil. Daraus, dass die Züge in die ‚Gärten der Gewässer‘ hineinfahren, ist zu schließen, dass es hier nicht um die wirklichen, sondern um die von der Oberfläche des Sees reflektierten Gärten geht und dass es sich um keine wirklichen Bewegungen im Raum, sondern um die widerspiegelten Bewegungen der Objekte handelt, die bloß Verschiebungen auf der Wasserfläche sind.

Der Regen richtet die Welt zugrunde. In der universal existenziellen Auffassung des Regens besteht seine Funktion darin, dass er die Welt abspült, wodurch sie als Bereich zu existieren aufhört, der bei der Selbstverwirklichung des Menschen in Betracht gezogen werden muss. Da im Gedicht vom Regen als von der Kraft, die das Blut von den Schlachtfeldern, den Menschen und die furchterfüllte Luft wegwischt, die Rede ist, kann man die dargestellten Umstände als Hinweise auf den Krieg deuten, wovon auch die Entstehungszeit des Werkes zeugt, die sich bei Baczyński oft als die einzige, die Entschlüsselung des Inhalts ermöglichende Spur erweist<sup>12</sup>. Im Kontext des Krieges ist daher die Freude über das Regnen noch verständlicher, weil der Regen vor dem Krieg schützt und sogar das Tragische des Krieges abwischt sowie das Neue aus dem Alten dank seiner zerstörenden und reinigenden Kraft auftauchen lässt. Die graue Farbe des Regens (‚szary szum‘/‚ein graues Geräusch‘) gilt schon als ein Zeichen dafür, dass das kriegerische Jetzt und das kriegsfreie Herbeigerufene abwechseln: Einerseits hebt das Graue die von den Farben heruntergespülte Welt hervor, andererseits bewirkt die auf das Graue zurückgeführte Welt eine Hoffnung auf einen neuen Anfang und die Wiedergeburt der Welt, aus der neue Farben heraustreten und die sich auch dem Ich endlich aufschließt. Auch die Verwechslung der Bezeichnungen (‚szary szum‘/‚ein graues Geräusch‘; ‚cień omyje‘/‚der Schatten spült‘; ‚ciemny jak krzyk ptaka‘/‚dunkel wie Schrei des Vogels‘) versetzt in eine Konsternation, die den sich gerade vollziehenden Prozess schon erahnen, aber noch nicht begreifen lässt. Es ist zu bemerken, dass das Ich auch dazu beiträgt, dass die Welt vom Wasser überflutet wird. Die Tränen als das sich aus dem Inneren des Menschen ausgießende Wasser nämlich scheinen diese Überschwemmung und somit die Purifikation der Welt zu fördern und zu beschleunigen. Paradoxaer Weise sind der Regen als Tränen der Welt und die Tränen des Ichs schon eine gemeinsame Plattform, auf der eine Beziehung zwi-

<sup>11</sup> Die Rose symbolisiert sowohl Leben als auch Tod (W. Kopaliński, *Słownik symboli*, Warszawa, S. 361–364). Sie ist also ein Begriff, der die Dychotomie der Existenz aufzeigt, deren sich das Ich beraubt fühlt.

<sup>12</sup> Vgl. W. Budzyński, *Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila*, Warszawa 1992, S. 16.

schen dem Einzelnen und der Welt entsteht und wodurch an der Intensität der Einsamkeit gerüttelt wird. Der Vergleich des unter der Einsamkeit leidenden Menschen mit dem Grabmal hebt das innerliche Absterben hervor, dem das Wasser (Tränen und Regen) entgegenwirkt, indem die Zeit zurückgedreht und die neue Zeitrechnung begonnen wird. Im Weinen des Grabmals schwingt die (Wieder)Geburt wie im Weinen eines auf die Welt kommenden Kindes mit. Auf diese Weise wird nicht nur die Welt, sondern auch der Mensch hinuntergespült. Dadurch, dass die Zeit zurückgezählt wird und dass sich die Welt sowie der Mensch im Wasser auflösen, drängt sich der Gedanke auf, dass das Ich versucht, die Welt ins Wasser zurückkehren und sie noch einmal an Land kommen zu lassen. In diesem Sinne spricht er für das Löschen der Schulden, die eine Distanz schaffen und die für einen die Einsamkeit auslösenden Faktor gehalten werden. Nur so kann die Welt aufs Neue erschaffen und nur so kann eine neue Beziehung mit allem hergestellt werden: Alles – sowohl das sich in der Suche nach erwünschter Liebe offenbarende Positive als auch das sich im Schlag ausdrückende Negative – wird endlich so erlebt, wie es die Existenz in zwei Bereichen – in der Außen- und Innenwelt – voraussetzt. Auch Gott, dessen Mangel seine Abwesenheit im als die Projektion des Ichs geltenden und den anderen immer verschlossenen Traum verrät, soll in das Innere des Menschen wieder hineingeführt werden, um die totale Einsamkeit abzubauen und eine allererste und allerzuverlässigste Grundlage für die Gemeinsamkeit zu bilden, was auch Twardowskis Gedicht zum Thema hat: Betritt der Mensch die Kirche, so tritt Gott in sein Ich und füllt es aus.

Der zweite Teil des Gedichts bildet schon die Perspektive, aus der das Ich die Welt von seinem Inneren her sieht. Er geht in den Regen, um mit der Welt vom Strudel des Wassers mitgerissen zu werden, worin sich sein Wille der Zugehörigkeit zur Welt und die Verminderung der Einsamkeit ausdrückt. Dies verkündet den Tod, aber scheint die einzige Richtung zu sein, denn das Innere des Menschen, das sich in Rilkes Gedicht als ein klaffendes Vakuum erweist, bietet keinen Halt an, da sich dort das mit dem Krieg ‚verseuchte‘ Vergangene abgelagert hat. Durch den Krieg bringt er sich zu Bewusstsein, dass die Existenz des Menschen immer auf die von ihm selbst nicht verschuldete Einsamkeit angewiesen ist. Der Krieg führt nämlich Existenzialia in kondensierter Form vor: Unausweichlich endet das Leben mit dem Tod, den die die Kreuze tragenden Menschen heraufbeschwören. Des weiteren ist niemand imstande, einen anderen Menschen gut genug kennen zu lernen, d. h. zu erfahren, um sein Bedürfnis nach Gemeinsamkeit zu stillen, was der Regen als ein nicht einzuschlagendes, den Menschen voneinander isolierendes, stahlhartes Glas zur Schau stellt. Schließlich wird der Mensch um vieles gebracht und geht an seinen die Einsamkeit mildernden Gelegenheiten vorbei, worauf das Wort ‚mrok‘/‚Finsternis‘ im Gedicht hinweist. Daher unterliegt es keinem Zweifel, dass das permanente Alleinsein, dem der Mensch in der Kriegssituation ausgesetzt wird, die Einsamkeit aufrechterhält. Um so mehr wird der Mensch von der Einsamkeit, deren Wirkung Baczyński mit dem Senseschnitt vergleicht, geplagt und um so mehr zappelt er vor Ungeduld zu leben, zu kämpfen, zu lieben und zu bitten, also sowohl in der Außen- als auch in der Innenwelt zu existieren. Mit dieser Stelle, die ein Beweis dafür ist, dass das Ich der Welt entgegenläuft, korrespondiert die letzte

Strophe des Gedichts, wo belegt wird, dass die Welt ihm nichts entgegenbringt: Die von der Welt nicht erwiderte Liebe, sein Hängenbleiben zwischen dem Leben und dem Tod, die wegen des zerfetzten und mit der Welt nicht ‚ausgeschlagenen‘ Ichs zustande gekommene Unmöglichkeit der Selbstverwirklichung sowie das durch die auseinandergehenden Ordnungen – der von ihm und der von der Welt – verursachte Abrutschen von jedem Sinn ins Absurde verraten den extrem aufgerissenen, in Rilkes *Einsamkeit* auftretenden Abgrund zwischen dem Menschen und der Welt. Die Dunkelheit (Schatten) und das Wasser sind Elemente, die den Untergang des Welt endgültig als vollzogen gelten lassen. Am Ende des Gedichts empfindet das Ich, von der Dunkelheit und vom Wasser umgeben, die Einsamkeit nicht mehr schmerzhaft wie Senseschmerz, was den Tod durch Ertrinken vermuten lässt<sup>13</sup>. Im Vergleich mit dem Traum, der als die individuellste Existenzplattform gilt, bleibt der Tod das allerletzte eigene Ereignis des Menschen. Der Tod aber schlägt ins Leben um, das in der Szene antizipiert wird, wenn das Ich sich an den Quellen der dunklen Brunnen stehen sieht. Wickeln der Schatten und das Wasser das Leben zurück, deutet die Position des Ichs eine neue Entwicklung des Lebens an: Der Mensch wird an Land kommen, was die Entstehung des Lichtes aus der Dunkelheit bedingt und was eine das Schweigen durchschneidende Stimme nach sich zieht. Besonders aussagekräftig sind die gehobenen Hände des Ichs, die sich nach Gott ausstrecken und die Evolution des Menschen nicht im Sinne von Karl Darwin, sondern in Anlehnung an Gott plausibel machen. Der Hund wird als eine Chiffre der Vermenschlichung des Menschen, die sich dank Gott vollzieht, indem der Mensch eine höhere, ihm würdigere Entwicklungsstufe gewinnt, d.h. sich von dem heruntergekommenen und den Krieg herbeiführenden Dasein befreit. An die Situation der nach oben geschossenen Hände, die den Willen der Nähe zu Gott zum Ausdruck bringen, knüpft ein Gedicht von Rilke an, das zwischen 24. und 25. September 1901 in Westerwede entstanden ist und mit dem der zweite Teil des *Stunden-Buches – Von der Pilgerschaft* – ausgeht:

In tiefen Nächten grab ich dich, du Schatz.  
Denn alle Überflüsse, die ich sah,  
sind Armut und armsäliger Ersatz  
für deine Schönheit, die noch nie geschah.

Aber der Weg zu dir ist furchtbar weit  
und, weil ihn lange keiner ging, verweht.  
O du bist einsam. Du bist Einsamkeit,  
du Herz, das zu entfernten Talen geht.

Und meine Hände, welche blutig sind  
vom Graben, heb ich offen in den Wind,

<sup>13</sup> Herders Formel „Ich fühle mich! Ich bin“ („sentio ergo sum“) (J.G. Herder, *Werke*, Bd. 2: *Herder und die Anthropologie der Aufklärung*, hrsg. von Wolfgang Pross, München/Wien 1987, S. 244), die anders als Descartes’ Regel „Ich denke, ich bin“ („cogito ergo sum“) die Existenz auffasst und nach der das Fühlen als Druck der Außenwelt auf die Innenwelt des Menschen über die Existenz entscheidet, kann hier ihre Bestätigung finden.

so daß sie sich verzweigen wie ein Baum.  
Ich sauge dich mit ihnen aus dem Raum

als hättest du dich einmal dort zerschellt  
in einer ungeduligen Gebärde,  
und fielest jetzt, eine zerstäubte Welt,  
aus fernen Sternen wieder auf die Erde  
sanft wie ein Frühlingsregen fällt.<sup>14</sup>

Lässt der Mensch bei Baczyński an seinen gehobenen Händen erkennen, dass er von Gott aus dem Wasser zu neuem Leben herausgezogen zu werden hofft, so versucht der Mensch bei Rilke Gott, nach dem im Gedicht verzweifelt und hektisch gesucht wird, zu sich zu ziehen und in ihm wie im Wasser einzutauchen: Im ersteren Falle haben wir es mit der wiederholten Konstruktion der Welt, im anderen dagegen mit der Rekonstruktion des Menschen zu tun. Die Stellung der Hände, die in beiden Werken gleich ist, erinnert bei Rilke stark an die am Kreuz ausgebreiteten Hände von Christus. Dadurch aber, dass sich der Mensch in einen Baum verwandelt, wird die Assoziation mit Christus abgeschwächt und die mit dem hölzernen Kreuz, an dem Christus starb, deutlicher hervorgerufen. So wird die Identifikation mit Christus vermieden, was der Absicht von Rilke entspricht, den Menschen nicht wie Christus ins Göttliche einzukleiden, sondern ihn als Menschen an Gott rücken zu lassen. Nimmt der Baum Wasser mit den verzweigten Wurzeln auf, um die verzweigten Äste der Baumkrone zu stärken und den Baum nicht fallen zu lassen, so absorbiert der Mensch Wasser mit den verzweigten Händen, um das Innere zu erhärten und sich aufrecht halten zu können. Ihm rinnt das Blut aus den Händen, durch die das Wasser in die Adern hineingegossen wird, die auch ein verzweigtes System wie Wurzeln und Äste bilden. Zu dieser Inversion, die der Baum und der Mensch ausmachen, ist noch eine Parallele zwischen dem Menschen und Christus zu finden, von dem Rilke den Menschen wieder entfernt. Während der Mensch das Materielle und Menschliche inkarnierende Blut verliert und das Geistige und Göttliche chiffrierende Wasser in sich einlässt, entrinnt dem gekreuzigten Christus – dem Evangelium nach Johannes zufolge<sup>15</sup> – aus dem Körper sowohl Wasser als auch Blut, wodurch angedeutet wird, dass Christus beides in sich integrierte und dass der Mensch das eine verlieren muss, um das andere zunehmen zu lassen. Im Gegensatz zur Welt des Menschen ist die durch Gott ‚gebrandmarkte‘ Welt wirklich und originell. Gott wird mit dem Prozess, mit dem Werden und mit der Entwicklung konnotiert; dagegen hängt der Mensch mit dem Zustand, mit dem Sein und der Erstarrung zusammen – die Merkmale der Existenz, die sein Leben ‚entwirklichen‘ und zum Schein machen. Da Gott Wahrheit, Original und das Ganze ist, kann er nach Gott nicht wie nach einem Schatz suchen, der nur ein Teil des Ganzen ist. Indem er ihn als einen Teil betrachtet und sich bemüht, Gott – sei es in der Außenwelt oder in seinem Inneren – ‚auszugraben‘, hebt er sich über Gott hinweg und erhebt sich selbst

<sup>14</sup> R.M. Rilke, *Von der Pilgerschaft*, in: R.M. Rilke, *Gesammelte Gedichte*, S. 95f.

<sup>15</sup> Vgl. *Die Bibel: Das Neue Testament: Das Evangelium des Johannes*, Köln 1964, S. 127 (19, 34).

zum Ganzen, wodurch er im Voraus zum Scheitern verurteilt ist. Auch wenn man dem Menschen seine Ausdauer und Determiniertheit nicht absprechen kann, bleibt die Suche nach Gott erfolglos und bringt ihm nur das sich in den blutenden Händen manifestierende Leiden. Dieses Leiden erinnert ihn daran, dass er ein Teil der Welt ist, und weist ihm wieder den von Gott bestimmten Platz zu, der die Richtung der Suche nach ihm am stärksten zeigt. Auch Gott versucht zum Menschen vorzudringen, worauf Gottes ‚ungeduldige Gebärde‘ und sein einsames Irren hinweisen. Die Einsamkeit erweist sich für Gott und den Menschen als etwas Gemeinsames, wie sie auch als Wasser eine gemeinsame Plattform zwischen dem Menschen und der Welt in Baczyńskis Gedicht war. Dabei ist zu bemerken, dass Gott auch bei Baczyński in der Hinsicht einsam war, dass er weder der Welt helfen noch in sie eindringen konnte: Die Welt scheint Gott entglitten zu sein. Gott ist gut, aber man kann seine Güte an der Welt nicht erkennen. Wenn man annimmt, dass unter dem Regen die Tränen Gottes zu verstehen sind, zielen Gott und der Mensch mit ihren Tränen darauf ab, die Welt vollzugießen, um sie aufs Neue – dies Mal gemeinsam – zu erschaffen. Bei Rilke hat die Einsamkeit des Gottes eine andere Bedeutung. Da die Natur des Gottes im Unterschied zu der des Menschen hier mit der Einsamkeit identisch ist<sup>16</sup>, wendet sich der Mensch an Gott, um die Imitation der Einsamkeit gegen deren Original einzutauschen und so das einzig Echte und somit die echte Existenz, die von der Einsamkeit mitgebildet wird, zu genießen.

Die Einsamkeit ist eine komplizierte Erscheinung, deshalb wurde sie auch mit Hilfe von verschiedenen Figuren in den Gedichten von Rilke und Baczyński wiedergegeben. Der Regen bei Rilke dient als Vergleich zur Einsamkeit, der zur Metapher übergeht, um schließlich nicht zum Symbol des Todes, sondern des Nicht-Lebens zu werden. Bei Baczyński verliert der Regen als Metapher der Einsamkeit an Kraft, weil er real vorkommt, verwandelt sich in die Allegorie der Einsamkeit, wird für ein Moment zum Symbol des Todes, um letztendlich als Symbol des Lebens, dessen neue Qualität aber im Ungewissen schwebt, zu triumphieren. Wird bei Rilke die Einsamkeit unter der Anwesenheit des Zusammenseins erfahren, so erleidet der Mensch bei Baczyński eine durch das Getrenntsein untermauerte Einsamkeit. Rilkes Hoffnungslosigkeit kommt darin zum Ausdruck, dass sich der Mensch von dem ihn umzingelten Ring aus Wasser nicht befreien kann und dass sogar der Tod als allerletzter Retter nie zu kommen scheint. Baczyńskis Hoffnung, die sich in der Wechselfolge von Tod und Leben offenbart, wird dadurch getrübt, dass der Mensch zwar durch das Wasser nicht isoliert bleibt und ins Wasser springt, aber die aufs Neue entstehende Welt nicht mehr mitgestaltet.

---

<sup>16</sup> Vgl. B. Surowska, *Młody Rilke*, Gdańsk 1994, S. 204.

## Summary

### The Rain – Metaphor of Solitude. A Study About R.M. Rilke's *Solitude* and K.K. Baczyński's *The rains*

The rain is a strikingly modest metaphor of solitude. However, it can deliver both its mutable intensity and dynamics (*The solitude* by Rainer Maria Rilke) and its life-giving and death-bringing power (*The rains* by Krzysztof Kamil Baczyński). The solitude proves that existential element that almost abolishes the limit between God and the man: The divine and the human get mixed in the raindrops that falling down embrace the world like God and that reflect the man as much as he seems to be inside.





**Darius Langhoff**

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adameckiego w Katowicach

## THE MURDERS IN THE RUE MORGUE: NEUROSIS<sup>1</sup>

**Key words:** crime story, psychology, neurosis, reinterpretation, E.A. Poe

J.A. Leo Lemay begins his essay *The Psychology of "The Murders in the Rue Morgue"*<sup>2</sup> with a focus on the final paragraph of the story where the detective Dupin comments on the Prefect:

the Prefect is too cunning to be profound. In his wisdom is no stamen. It is all head and no body, like the pictures of the Goddess Laverna<sup>3</sup> – or, at best, all head and shoulders, like a codfish.<sup>4</sup>

Lemay calls the first sentence a generalization and in the following two recognizes three metaphorical arguments designed to support it. Further on he discusses "three tropes" pointing to "a head-body dichotomy" and all concerning sex. Stamen is compared to male genitalia, Laverna stands for the corpse of Madame L'Españaye, and the codfish is another "sexual suggestion"<sup>5</sup>. A psychoanalytical approach like that distinctly reflects a rather fossilized Freudian psychology and gives the impression of an overinterpretation of Poe's metaphors and similes.

The head-body dichotomy in the above quoted passage appears only once: "It is all head and no body". The simile "all head and shoulders, like a codfish" is a cooky but actually non-sensical expression. The codfish, like any fish for that matter, has no

---

<sup>1</sup> From time immemorial, in every society, it has been realized that there are many mentally disturbed individuals who are neither insane nor feeble minded. They differ from normal persons in being plagued by feelings of inferiority, doubt about the motives of others, inexplicable shyness, and unreasonable fears; or they behave in ways that are upsetting to those around them and to society.

<sup>2</sup> J.A.L. Lemay, *The Psychology of "The Murders in the Rue Morgue"*, in: L.J. Budd & E.H. Cady (eds.), *On Poe*, London, Duke University Press 1993, p. 223.

<sup>3</sup> Laverna: in Roman mythology the goddess of thieves and cheaters.

<sup>4</sup> E.A. Poe, *The Complete Illustrated Stories and Poems*, London, Chancellors Press 1994, p. 102. Future citations from this edition will be included parenthetically in the text.

<sup>5</sup> J.A.L. Lemay, op. cit., p. 224.

shoulders, and the distinction between the head and the torso is in fish practically absent, or at least much less observable than in higher vertebrates. “Wisdom and no stamen” is a more curious and perplexing statement. Stamen is the pollen-bearing organ of a flower, consisting of the filament and the anther. The aforementioned critic transfers this meaning from flora to fauna and associates the word stamen with human sexual organs. But why should Poe contrast wisdom and the penis? No, he does not juxtapose the brains and the bottom, but the muscle and the mind, the ingenious and analytical facilities. Wisdom or ingenuity, says Poe, are of limited efficacy if they lack the imaginative analytic power. In the final paragraph Poe returns to the argument which opens *The Murders in the Rue Morgue*. He brings out the difference between ingenuity and analysis, saying that the ingenious man who has “the constructive or combining power” may otherwise border “upon idiocy”. The analytic man, on the other hand, is “necessarily ingenious” and also “truly imaginative”. These two types of intellect are then illustrated by the mental skills characteristic for the player of chess and the player of draughts. The former calculates but does not analyze, the latter analyzes and “throws himself into the spirit of the opponent”. And once more Poe draws the line between the two types of investigating mind when Dupin refers to Vidocq<sup>6</sup>. He says that:

Vidocq was a good guesser, and a persevering man. But, without educated thought, he erred continually by the very intensity of his investigations. He impaired his vision by holding objects too close. He might see, perhaps, one or two points with unusual clearness, but in so doing he, necessarily, lost sight of the matter as a whole. [p. 86]

All these examples serve the purpose to prove that the capacity for comprehension is more important than the data input.

When the treaty on analysis and ingenuity is finished the narrative kicks off with the entrance of the nameless narrator and his colleague Dupin. Little does the former say of himself, instead in a detailed manner, he delivers plenty of background information about the amateur detective Dupin. We are told that he is “a young gentleman of an illustrious family [...] reduced to [...] poverty” by “a variety of untoward events”. The narrator is astonished “at the vast extent of his reading” and feels his “soul enkindled [...] by the wild fervor, and the vivid freshness of [Dupin’s] imagination”. Lemay writes that “Dupin is a doppelganger for the narrator”<sup>7</sup>. Contemplating various pairs, doubles, dichotomies and bifurcations in which the story is abundant (two men, two women, two voices, two intellects), the idea of a doppelganger is not to be readily dismissed. However, it is a completely different doppelganger than that in *William*

<sup>6</sup> Francis Vidocq (1775–1857), the Chief of the French Police Department.

<sup>7</sup> J.A.L. Lemay, op. cit., p. 231.

*Wilson*<sup>8</sup>. There the counter-hero, the second William Wilson, from the very beginning appears as a fantastic being which accompanies, pursues, and competes the first William Wilson. Here, Dupin's associate, the narrator, is an ordinary man possessing a separate entity. He could live without ever meeting Dupin and Dupin would survive without him as they have nothing vital in common.

Having expressed his admiration for Dupin's "peculiar analytic ability", the narrator says: "I often dwelt meditatively upon the old philosophy or the Bi-Part Soul<sup>9</sup>, and amused myself with the fancy of a double Dupin – the creative and the resolvent". The detective's split personality is hinted at in this passage; creative and dissolvent, complex and profound, good and evil. Richard Wilbur in his *The Poe Mystery Case*<sup>10</sup> maintains that all figures in the story are versions of one person, Dupin, who is the controlling faculty. But extending Dupin's presiding power over all characters in the story renders the argument brittle. It is effortlessly observable that he psychologically dominates, to an overwhelming degree, the narrator. Nonetheless, the other characters (the sailor, the Prefect, the witnesses) are not ectoplasmic effusions of his, however prodigious, intellect. At the time of the showdown, Dupin elicits the intelligence he has been seeking not by using the power of his mind, but by interrogating the sailor at the gunpoint.

Wilbur points out parallels between the narrator – Dupin pair and Madame – Mademoiselle L'Espanaye. Dupin and the narrator live in "perfect seclusion". So do the two women. The men admit "no visitors", and the L'Espanaye's neighbors testify that "no one was spoken of frequenting the house". The women tenant two rooms on the fourth floor, and so do the detective and his friend. On top of it Lemay says that "Poe suggests that homosexual relationship exists between Dupin and the narrator, and between Madame and Mademoiselle L'Espanaye". To infuse this assumption with some evidence the critic quotes following lines: "the society of such a man would be to me a treasure beyond price"; "our seclusion was perfect"; "we existed within ourselves alone"; "we sallied forth into the streets, arm in arm"<sup>11</sup>. Only the last phrase can be regarded as a pointer of a homosexual bond. On no account can such a relationship be validly confirmed as existing between the mother and daughter. That the tobacconist deposed that Madame L'Espanaye would buy "small quantities of tobacco and snuff" does not mean that she tended to be mannish but that she used to smoke, and the sole fact that the two lived together "an exceedingly retired life" is as close to

---

<sup>8</sup> Another story by Poe, in which the central figure, a passionate youth, leads at school all his companions except one, a boy of his own age and appearance who bears the same name of William Wilson. He frightens and persecutes Wilson who flees from the school. He travels about Europe becoming degenerate and vicious. At critical times his double invariably appears to warn him or destroy his powers over others. Finally at Rome, when the double appears to prevent his planned seduction of the Dutchess Di Broglio, Wilson is infuriated, and murders him. In the closing paragraph it transpires that the double Wilson was a pure delusion existing only in Wilson's diseased mind.

<sup>9</sup> "The old philosophy of the Bi-Part Soul": an ancient theory referring to the double nature of the soul supposed to consist of a material and an ideal substance.

<sup>10</sup> R. Wilbur, *The Poe Mystery Case. Responses: Prose Pieces*, New York, Harcourt, Brace 1976, p. 127–137.

<sup>11</sup> J.A.L. Lemay, op. cit., p. 235.

denoting a homosexual relationship as Venus is to Neptune. Such an argument seems to be too far fetched and invites almost any imaginable sexual parallels, for example between the Prefect and the ape. Even if there actually is a queerish undercurrent referring to Dupin and the narrator, it is not what attracts the interest of the reader. The mysterious homicide itself, inexplicable *modus operandi*, gory descriptions of the mangled bodies, these are the mind-teasers which do not let the reader put the story down before it has ended.

*The Murders in the Rue Morgue* concerns an analytical method of solving a murder case plus psychological contexts underlying and modifying the composition of characters. When reading the text for the first time, the reader may be on the brink of understanding, or fearing, the nature of the murderer(s), but remains unaware of his motives. Thus the narrator's function is so invaluable. He is naive and totally innocent of any knowledge that might direct him towards comprehension of the grim event. Dupin, precisely explaining every single step in his chain of reasoning, leads the narrator – and the reader with him – from the obscure beginning to the elucidating finish. We take a pure delight at observing how Dupin disentangles, or unriddles the murder case which is full of cunning windings. After perusing the newspaper reports of the murders and quoting all witnesses, Dupin arrives at the conclusion announced at the beginning of the tale: there are two types of investigating mind, two sorts of intellect, only one being truly effective. The Parisian police searched the crime scene thoroughly and yielded no results that might lead to the perpetrator. Dupin comments:

We must not judge of the means [...] by this shell of an examination. The Parisian police, so much extolled for acumen, are cunning, but no more. There is no method in their proceedings, beyond the method of the moment. [p. 85]

And concludes that the results obtained by the police are often surprising, but “brought about by simple diligence and activity”, not by an imaginative and analytical mind that decodes, solves, interprets, and logically explains.

Having described all circumstances of the crime, Dupin asks the narrator whether he has any theory implicating who might have committed the homicide. The reply would irritate many a reader. Saying: “A madman [...] has done this deed – some raving maniac, escaped from the neighboring Maison de Sante”, the narrator betrays his complete incapacity for a synthetic conclusion derived from Dupin's analysis. Were it Doctor Watson's answer to the query, Holmes would reprimand him harshly. Dupin soothes: “In some respects [...] your idea is not irrelevant”. The lack of the narrator's comprehension is overt because by this point Dupin has already indicated several signs of non-human activity:

[...] an agility astounding, a strength superhuman, [...] a butchery without motive, a grotesquerie in horror absolutely alien from humanity, and a voice foreign in tone to the ears of men of many nations, and devoid of all distinct or intelligible syllabification. [p. 93]

The absence of motive stems from the observation that most (possibly all) valuables were left behind. Dupin concludes that the perpetrator must have been “so vacillating an idiot as to have abandoned his gold and his motive altogether”. Lemay names this sentence an example of “foolish logic” as the detective assumes, and then dismisses the idea that the murders might have been committed by a homicidal robber, and not by a “psychotic sex maniac”. Next, he labels Dupin as “blind to the facts of life”. This conception is hardly acceptable. There is nothing false in the detective’s suggestion to eliminate the human factor from the perpetrated crime because the money was not stolen. He reasons correctly assuming that money is the commonest motive of crime and not sexual drives.

Poe’s intention was not to make the reader sense covert lecherous agendas, but to delight him with an elaborate, who-dunnit criminal story. Dupin’s analysis of the case engrosses and dazzles when we follow his steps of reasoning, each resembling a move in solving a jig-saw puzzle, when a piece slides into the right place with a distinctive click. The detective invites the narrator, and the reader with him, to put himself in the position of the hypothetical murderer in order to understand the mechanism of the grisly deed. When doing so, it soon becomes obvious that there is sufficient evidence excluding the possibility that the crime might have been perpetrated by human hand. The superhuman physical prowess necessary to shove a body up a chimney, the finger impressions on the victim’s throat that would not match the size of even the largest human hand, the non-human tuft of hair clutched in Madame L’Espanaye’s hand – all these lead to the inescapable conclusion that the homicide was not committed by man. The atrocious motiveless killing was not done by a maniac, but by a creature which does not reason.

Then comes the crux passage where Dupin states that the perpetrator of the gruesome mutilations – shattered bones, a part of the scalp ripped off, a head cut off – must have been inflicted by an orang-utan. Here is Poe’s picture of the beast:

The gigantic stature, the prodigious strength and activity, the wild ferocity, and the imitative propensities of these mammalia are sufficiently known to all. [p. 97]

The choice of the animal is highly limited by the kinetics presented in earlier paragraphs: the route of entrance and escape up and down the lightning rod, the acrobatic swing into the room, the use of a razor. Yet to admit that it is the best of all possible choices would be an act of negligence. Orang-utans are by nature calm and introverted, little “wild ferocity” is to be found in them. The selection of a gorilla or a baboon would be more concordant with the above representation.

Marie Bonaparte identifies three symbolic rape scenes in *The Murders in the Rue Morgue*: the orang-utan’s entrance into the room, the killings, and the gendarme’s breaking into the house. She equates the gendarme and the ape to symbols of lust and aggression. However, the man of the law uses his bayonet to protect the society whereas the orang-utan uses a razor to attack it. She also conceives that in this tale Poe recapitulates

his mother's love making<sup>12</sup>. Improbable though this psychoanalytic reading of the story is, it makes an entertaining distraction from strait-laced digestion of the text.

More likely sexual undertones can be detected in the description of Madame and Mademoiselle L'Espanaye's life habits. The interpretation that they were declared lesbians is an unfounded wild guess, but they may have had certain problems with the recognition of their sexuality. We know that they lived from a small income for several years. Then the mother withdrew a large sum from the bank only a few days before their tragic deaths. On the plot level the proximity of these two dates is entirely accidental. Nonetheless, it is curious why Madame L'Espanaye needed four thousand francs all of a sudden. Her and her daughter's by then secluded lives can be recognized as a symptom of some neurotic fear. They used to lock windows and doors, the safe was concealed under the bed, both had no friends but were "very affectionate" towards each other. It points at the not impossible conclusion that they were afraid of heterosexuality and according to G.J. Barker-Benfield such a phobia may accompany lesbianism<sup>13</sup>. In psychiatric terms, Madame L'Espanaye (debatably her daughter too) suffered from a phobic neurosis: a phobia of heterosexuality. She was overwhelmed by an intense and irrational fear of heterosexual situation. She would have acknowledged that there were no rational grounds for this fear and that the provocative stimulus was innocuous, she was nonetheless powerless to suppress it.

Hippocrates drew a distinction between normal fears and phobias<sup>14</sup>, that is, morbid fears. Westfall in 1871 was the first to give morbid fears the status of a disease<sup>15</sup>. Mild phobias of darkness, solitude, animals, thunder and lightning, and high places are commonplace in childhood; some persist into adult life and may be culturally acceptable, such as fears of snakes, spiders, or mice. In phobic neurosis, however, the phobia is intense and disabling. The person affected is chronically fearful of a particular situation and may be extremely anxious or panic-stricken and incapacitated when placed in a situation which evokes the phobia. For example, it may be impossible for the patient to leave the house except when attended by a friend, to mingle in a crowd, walk across a bridge, or travel by plane. The person may be unable to eat certain foods, eat in public, stay in places from which escape might be difficult, or have sexual intercourse as it might have been in the case of the two slain ladies in Poe's story.

---

<sup>12</sup> M. Bonaparte, *The Life and Works of Edgar Allan Poe: A Psychoanalytic Interpretation*, New York, Humanities Press 1971, p. 454, 457.

<sup>13</sup> G.J. Barker-Benfield, *The Horrors of the Half-Known Life: Male Attitudes Toward Women and Sexuality in Nineteenth-Century America*, New York, Harper and Row 1976, p. 39.

<sup>14</sup> One must not confuse the terms "phobic neurosis" and "anxiety neurosis". The term "anxiety neurosis" was introduced by Freud in 1895 to describe a syndrome consisting of general irritability, anxiety attacks, and nightmares. Anxiety neurosis is a chronic disease, punctuated by recurrent attacks of anxiety or panic. The anxiety attacks are the hallmark of the disease and as dramatic as convulsive seizures. The patient is assailed by a feeling of strangeness, as though his body had changed or the surroundings were unreal (depersonalization, derealization). He is frightened, most often by the prospect of imminent death (*angor animi*).

<sup>15</sup> C. Westfall, *Die Agoraphobie: Eine neuropathische Erscheinung*, Arch. Psychiat. Nervekr. 1871-1872, 3, p. 138; 219.

Other common phobias are those of closed places, dogs, cats, dirt, AIDS, cancer, and death.

Treatment of phobic neurosis is best left to the psychiatrist. The aim of the treatment is to reduce the patient's fear to the extent that exposure to the phobic situation can be tolerated. The most popular form of therapy in the 1990s was so-called systematic desensitization<sup>16</sup>, which consists of graded exposure of the patient to the object or the situation that arouses fear.

Madame L'Espanaye could not seek help with a psychiatrist because her life ended before morbid fears or phobias were recognized by the medical science. But it may be presumed, that she (and her daughter) decided to do something themselves in order to desensitize their neurotic psyches. The large sum might denote that they endeavored to change their lives. Their might have been going to terminate their seclusion and start to participate actively in the society. Whether their transformation from asexual types to heterosexual ones could have been a success we will never know due to their premature deaths.

Dupin solidly states that the women were not "killed by spirits" but by material force. An overinterpretation that the L'Espanayes' suppressed sexuality created a monster to kill them is to little avail. Let the victims be lesbians or sufferers from neurosis, still their deaths are not metaphors but gory deeds done by means of a sharp razor. The women's fear of (male) society was to be overcome when they were preparing to sequester themselves from their rigidly antiquated sexless habits. They came close to achieving their goal and what turned their hopes into nothingness was not a fate swollen with sexual symbolism, but a wrong window opened at a wrong time.

An ape turned out to be the murderer. An orang-utan roving through the neighborhood razor in hand, slaughtered whimsically two women in their apartment and then, "conscious of having deserved punishment [...] seemed desirous of concealing its bloody deeds". This description of the beast's behavior furnishes the ape with an intellect, however rudimentary. A biological implausibility which Poe did not have to drag in if he wanted to explicate the ape's actions. They could be interpreted in a more mechanistic way drawing on the concept of conditional reflexes – the theory which explains how animals learn things. Unfortunately, the Russian physiologist Pavlov who originated the science of conditional and unconditional reflexes was born in the year of 1849, the same which saw Poe's death.

Dupin represents an intellectual who has mastered the skill of logical analysis. The narrator is an oaf struggling to tune into the detective's chain of reasoning. A bright reader will solve the criminal puzzle much earlier than Dupin's colleague whose brain fires on all mental cylinders with little effect. In the concluding paragraph Dupin returns to the distinction between two types of intellect. He hits a raw nerve when comparing the Prefect to a head without body. The head in this metaphor represents

---

<sup>16</sup> J. Wolpe, *Psychotherapy by Reciprocal Inhibition*, Stanford, Calif., Stanford University Press 1958.

the calculating, cunning, observing mind characteristic for ordinary, regular intellectuals. The body denotes the analytic, imaginative, and scrutinizing mind typical for people like Auguste Dupin, or Poe himself for that matter.

## BIBLIOGRAPHY

- Adams, R.D., Victor, M., *Principles of Neurology*, New York, McGraw-Hill 1993.
- Bonaparte, M., *The Life and Works of Edgar Allan Poe: A Psychoanalytic Interpretation*, New York, Humanities Press 1971.
- Bonaparte, M., Barker-Benfield, G.J., *The Horrors of the Half-Known Life: Male Attitudes Toward Women and Sexuality in Nineteenth-Century America*, New York, Harper and Row 1976.
- Jarosz, M., *Podstawy psychiatrii*, Warszawa, PZWL 1988.
- Lemay, J.A.L., *The Psychology of "The Murders in the Rue Morgue"*, in: L.J. Budd & E.H. Cady (eds.), *On Poe*, London, Duke University Press 1993.
- Poe, A.E., *The Complete Illustrated Stories and Poems*, London, Chancellors Press 1994.
- Webster, N., *Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language*, New York, Portland House 2000.
- Westfall, C., *Die Agoraphobie: Eine neuropatische Erscheinung*, Arch. Psychiat. Nervekr. 1871–1872, 3, p. 138; 219.
- Wilbur, R., *The Poe Mystery Case. Responses: Prose Pieces*, New York, Harcourt, Brace 1976.
- Wolpe, J., *Psychotherapy by Reciprocal Inhibition*, Stanford, Calif., Stanford University Press 1958.

## Summary

### The Murders in the Rue Morgue: Neurosis

The article deals with E.A. Poe's story *The Murders in the Rue Morgue* which centers on a mysterious murder case. Several acknowledged critical appreciations of the tale are presented and reevaluated. The paper endeavors to uncover inconsistencies in the traditional critical approaches as well as to unveil Poe's sporadic literary incongruities embedded in the text. Stress is laid on the contrast between the traditional psychoanalytical readings of the story and the views of modern psychology and psychiatry. The article is intended to shed an alternative light on possible interpretations of the tale written by the 19<sup>th</sup> century pioneer in the field of the detective story and novel.



Эда Добровецкая  
Хайфский университет  
Израиль

## КАРНАВАЛИЗАЦИЯ И ДИАЛОГИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ

**Key words:** carnival, dialogue, festive mood, game

Понимание музыкальных произведений, созданных во второй половине XX века, нередко связано с применением не только музыковедческого понятийного аппарата, но и обращением к культурологическим концепциям, среди которых концепция карнавала и диалогического понимания культуры, разработанная М. Бахтиным, стала поистине универсальным инструментом, используемым исследователями второй половины XX века для анализа различных явлений искусства и культуры.

Применение этих концепций к творчеству современного российского композитора Ефрема Подгайца позволяет раскрыть некоторые особенности его творческого метода, в основе которого – соединение различных жанров и стилей, предполагающее своеобразную коммуникацию со слушателем. Этот метод реализуется особенно плодотворно в инструментальных концертах Е. Подгайца, в которых ощущается тесная связь с музыкальным наследием восточно-европейского еврейства, в частности, с музыкой клезмеров.

Многовековая традиция музыки клезмеров – еврейских музыкантов, исполнителей инструментальной музыки, принадлежит к смеховой народной культуре. Традиционным „местом и временем” для выступлений клезмерских капелл была еврейская свадьба, в которую они привносили дух карнавальная праздничности. По Бахтину праздничность – это „«форма второй жизни народа», вступившего временно в утопическое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия”<sup>1</sup>. Обрядово – зрелищные формы, организованные на началах смеха, давали „второй мир” и „вторую жизнь”. Такую (праздничную) форму человеческой культуры, отмечает Бахтин, невозможно вывести ни из биологических ритмов, ни из психологических потребностей, ни из практических

<sup>1</sup> М. Бахтин, *Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса*, Москва 1965, с. 12.

условий, они должны „получить санкцию из мира высших целей человеческого существования, то есть из мира идеалов”<sup>2</sup>. Тем самым праздник и приносит в жизнь духовное измерение, утверждает вечные ценности. Ритуально-символические обрядовые действия свадьбы (как и любого неофициального праздника) как бы восстанавливают реальное жизненное единство, возвращают человека к самому себе, приобщают его к родовому целому. Праздник разрушает устоявшийся порядок вещей, мир предстает как источник творческой энергии. Ученый смотрит на праздник как на игру, в которой сакрализуется профанное пространство – время; ставя проблему смеховой культуры, он подчеркивает возрождающую силу смеха, что соответствует глубинной сути свадебного действия.

Постоянным участником клезмерской капеллы на еврейской свадьбе был бадхан (значение слова – шутник), увеселитель, шут. В панно, выполненном М. Шагалом для *Еврейского театра* в 1920 году, в композиции *Драма* уникальный образ еврейской национальной культуры – бадхан занимает центральное место. Его карнавальная сущность подчеркнута внешними атрибутами шута (шапка с колокольчиками), а также его окружением – акробатами, символизирующими тот самый „перевернутый” мир карнавала, о котором писал Бахтин. Существенными деталями в оформлении фигур акробатов, подчеркивающими их еврейское происхождение, являются кипа и филактерии, атрибуты еврейской веры и религиозной принадлежности. В окружении бадхана – музыканты, в полном смысле слова клезмерская капелла: скрипачи, кларнетист, барабанщик. В образе бадхана „объединяются важнейшие черты персонажей Шагала – сочетание иронии и критицизма с легкомыслием, раскрепощенность и свобода с ярким и своеобразным национальным характером”<sup>3</sup>. Бадханы, история которых восходит к талмудическому периоду, выражали вольный дух народа, его стремление к шутке, юмору, веселью даже в самые тяжелые времена. Они пели, сочиняли куплеты, пародии, в которые вплетали библейские фразы и отрывки из Талмуда. Их сатира зачастую была направлена против религиозных деятелей и ортодоксальных установлений, что нередко не только вызывало гнев религиозного истеблишмента, но и приводило к запрету деятельности бадханов.

Уже предвкушение появления капеллы клезмеров и бадхана создавало особую атмосферу: „Трудно представить себе то возбуждение, ту шумную радость, которая охватывает жителей местечка при появлении Стемпеню с его оркестром”, – так начинается одна из глав романа Шалом Алейхема *Стемпеню*. Следующее за ним описание музыкантов и бадхана является примером гротескного реализма, с характерными для него преувеличениями и амбивалентностью. „Тем временем музыканты один за другим начинают выходить из повозки. Впереди всех – Йокл-контрабас (что играет на контрабасе),

<sup>2</sup> М. Бахтин, *Литературно-критические статьи*, Москва 1986, с. 299.

<sup>3</sup> Л. Базан, *Шагаловская икатулка*, online <<http://www.chagall.vitebsk.by/publish/bazan.html>>, с. 3.

сердитый мужчина с приплюснутым носом и ключьями ваты в ушах. За ним – Лейбуш-кларнет, заспанный человек с толстыми губами. Затем – небезызвестный бадхн Хайкл-горбун. Потом – черномазый взъерошенный детина с такими мохнатыми бровями, что страх берет, неимоверно волосатый, похожий на дикого жителя пустыни, – это Шнеер-Меер, вторая скрипка. За ними из фургона выскакивают два-три молодца удивительно безобразного вида, с одутловатыми щеками, подбитыми глазами и огромными, как лопаты, зубами, – это ученики. И наконец напоследок выкатывается на своих кривых ножках рыжий Мехча с барабаном, который своими размерами значительно превосходит барабанщика. У Мехчи пробивается рыжая бородка, и только на одной стороне лица, на правой, другая же сторона его лица – левая – гола, как пустыня. Мехча-барабанщик, надо вам знать, женился на тридцатом году жизни, и жена его, как поговаривают, полуженщина-полумужчина”<sup>4</sup>.

Этот отрывок, полный иронии и гротеска, представляет характерный состав клезмерской капеллы, главными инструментами которой были две скрипки: первая скрипка – солист и „секунда” – вторая скрипка, часто исполнявшая ритмический аккомпанемент партии солиста; кларнет – еще один характерный солирующий инструмент, контрабас и барабан. В принципе, в составе капеллы могли участвовать и труба или тромбон, а также аккордеон и цимбалы. Эмоциональный диапазон клезмерской музыки простирался от задумчивых и печальных соло скрипки или кларнета в эпизодах усаживания невесты перед церемонией бракосочетания до самозабвенных танцев после венчания, когда веселье достигает кульминации, темп ускоряется, а в безудержном, опьяняющем веселье, в вихревом темпе музыки уже проступает нечто лихорадочное, когда по словам такого знатока еврейского фольклора, как М.Ф. Гнесин, „моменты веселья доводятся до экстатического автоматизма, а медленные темпы музыки сильно драматизируются”<sup>5</sup>. Репертуар клезмеров включал ритуальные еврейские мотивы, часто мелодии, заимствованные из синагогальных напевов, отличающиеся ритмической свободой и импровизационностью в сочетании с характерным эмоционально-взволнованным речитативом. Эта составляющая клезмерской музыки свидетельствует о связи вокальной литургической традиции с инструментальной музыкой, она, главным образом, характерна для „музыки для слушания”, скрипичных или кларнетовых соло, и отличается ламентозным характером. Танцевальный аспект клезмерской музыки отличался интернациональным, почти универсальным характером и включал, помимо еврейских танцев, таких, как фрейлехс и шер, еще „хосидл” – медленный танец, свидетельствующий о влиянии хасидской танцевальной музыки. Среди танцевального нееврейского репертуара выделяются заимствования румынских, болгарских, украинских и других народных танцевальных идиом,

<sup>4</sup> Ш. Алейхем, *Степлено. Собрание сочинений в 6 томах*, т. 1, Москва 1959, с. 53.

<sup>5</sup> Цит. по книге: J. Braun, *Jews and Jewish Elements in Soviet Music: A Study of a Socio-National problem in Music*, Tel-Aviv 1978, с. 54–56.

адаптированных еврейскими музыкантами. Кроме этого, благодаря тому, что клезмерские капеллы часто приглашались для музыкального сопровождения балов и вечеринок в христианских домах, в их репертуаре были широко представлены такие популярные центрально- и западноевропейские танцы, как кадрили, полька, вальс.

Не менее важными характеристиками инструментального исполнения клезмеров являются два его свойства, выделяющие это исполнение из обычного исполнения танцев и инструментальных пьес на свадьбах. Первая заключается в том, что весь репертуар народных нееврейских мелодико-ритмических танцевальных идиом, ассимилированный клезмерами, „приобретает здесь [у клезмеров – Э.Д.] оригинальный национальный колорит”<sup>6</sup>. Вторая характеристика, собственно, является объяснением первой. Манера исполнения клезмеров-солистов, скрипачей и кларнетистов, отличалась обильной и выразительной орнаментикой, нередко заимствованной из практики пения хазанов, а также особой манерой подражания таким голосовым явлениям исполнения хазанов, как вздох (крехц), смех (чок) и всхлип (кнеч). Интеракция клезмеров с публикой осуществлялась через бадхана – организатора свадебного веселья, шута, пронесшего эту роль через века. Еврейская свадьба объединяет в себе два полюса еврейской жизни, представленные в символическом виде. Первый связан с серьезностью события, неотрывного от еврейской традиции святости и непреложности закона. Второй, собственно смеховой, требует освободиться от серьезности и подчиниться веселью. Тут у бадхана особая роль: в нем самом присутствует дуализм, характеризующий свадьбу, он объединяет эти два полюса, выступая и как носитель этических принципов, и как веселящий и развлекающий шут<sup>7</sup>. И артист-бадхан, и его публика – две активные стороны в свадебном празднике. Несмотря на то, что публика приходит на семейное торжество не ради искусства бадхана, а для того, чтобы порадоваться вместе с семьей, бадхан был обычно в центре праздника, руководил им. При этом он не был единственным активным фактором, публика была активной не меньше бадхана. В этом прежде всего обнаруживается связь еврейской свадьбы с карнавалом, который, по утверждению М. Бахтина, „не знает разделения на исполнителей и зрителей [...]”<sup>8</sup>. В песнях бадхана сочетаются два языка: язык повседневной разговорной речи простых людей и „святой язык”, язык священных книг, которые он цитирует и в серьезно-поэтической, и в пародийной манере. Использование пародии усиливало диалогичность речей бадхана в полном, соответствии с утверждением Бахтина: „Здесь [в пародии – Э.Д.] автор, как и в стилизации, говорит чужим словом, но, в отличие от стилизации, он вводит в это слово смысловую направленность, которая прямо противоположна чужой

<sup>6</sup> Э. Береговская (сост.), *Арфы на вербах: призвание и судьба Моисея Береговского*, Москва 1994, с. 145–146.

<sup>7</sup> А. Krasney, *The Badkhan*, Ramat-Gan, Bar-Ilan University Press 1998, с. 75.

<sup>8</sup> М. Бахтин, *Творчество Франсуа Рабле...*, с. 10.

направленности. Второй голос, поселившийся в чужом слове, враждебно сталкивается здесь с его исконным хозяином и заставляет его служить прямо противоположным целям. Слово становится ареною борьбы двух голосов. Поэтому в пародии невозможно слияние голосов; голоса здесь не только обособлены, разделены дистанцией, но и враждебно противопоставлены<sup>9</sup>. Взаимоотношения бадхана с публикой – это взаимоотношения диалога, он чувствителен к каждому шороху в реакции публики и направляет свои действия в соответствии с этой реакцией. Он смешит публику, слагает рифмы, поет куплеты, танцует, пародирует, вовлекает всех присутствующих в веселье, делая их своими подлинными соучастниками. В моменты кризиса бадхан, не задумываясь, изливает свое сердце публике, и публика умеет отблагодарить его за это<sup>10</sup>.

Вторая мировая война разрушила мир еврейского местечка. Еврейская свадьба в ее традиционном виде – в составе клезмеров и бадханов – исчезла вместе с Холокостом. В СССР ассимиляционные процессы среди евреев, начавшиеся еще в 1930-х годах, привели к тому, что носителей языка и культуры можно было встретить лишь в провинции и среди представителей старших, постепенно уходящих в небытие поколений. Еврейские песни и танцевальные мелодии еще сохранялись и исполнялись на еврейских свадьбах, но этот музыкальный репертуар был весьма ограничен, да и сам характер еврейской свадьбы был утрачен. Московский композитор Ефрем Подгайц (род. в 1949 г.) относится к поколению евреев, которые выросли в отрыве от традиций и языка. С еврейской музыкой его связывали только поездки в Винницу к родным, общаясь с которыми он слышал популярные еврейские напевы. Эти напевы проникли в его произведения, хотя среди написанного композитором (более 150 произведений в различных жанрах), произведения, в которых он задействует еврейские музыкальные идиомы – немногочисленны. Знаменательно другое: особое место в творчестве композитора принадлежит произведениям в жанре инструментального концерта, именно в концертах Е. Подгайца связь с еврейскими музыкальными идиомами проступает особенно явственно. Жанр концерта, родившийся в эпоху Ренессанса, изначально определялся как „неортодоксальный“, подходящий под бахтинское определение „серьезно-смеховых“ жанров, хотя в применении к музыке вернее определить его как „серьезно-игровой“. Это игровое начало прослеживается и в барочном концерто гроссо Корелли, и в типе концерта для солиста-инструменталиста с оркестром, созданном Вивальди, и в концертах Гайдна и Моцарта. Жанр концерта претерпел глубокие изменения, начиная с Бетховенских концертов и до настоящего времени. Несмотря на это, во многих произведениях этого жанра и в XIX, и в XX веке сохраняется „игровая“, диалогическая сущность, заложенная уже в самом слове

<sup>9</sup> М. Бахтин, *Проблемы поэтики Достоевского*, Москва 2002, с. 216.

<sup>10</sup> А. Krasney, цит. изд., с. 124–127.

концерт, происхождение которого связано с латинским словом *concertare* – ‘соревноваться, спорить’, и итальянским *concertare* – ‘объединяться вместе’<sup>11</sup>.

Особое понимание игровой, диалогической сущности в концертах Е. Подгайца заключается не только в игре-диалоге между солистом/солистами и оркестром, но и в непрерывной игре со слушателем. На самом деле, инструментальные произведения Подгайца, в том числе – его концерты, противостоят эстетике модернизма с ее требованием гомогенности и строгой детерминированности, исключающей смешение стилей, которые „привели музыку концертного зала к наибольшему удалению от поп-музыки”<sup>12</sup>. Смешение стилей у Подгайца воплощает сформулированную Бахтиным карнавальную идею отмены иерархических отношений, норм и запретов, в данном случае в отношении дихотомии: композитор – слушатель. „Я просто пишу музыку, чтобы ее слушали и чувствовали”, – говорит композитор. И далее: „[В авангардной музыке – Э.Д.] кто слушает музыку, что будет чувствовать слушатель – абсолютно не интересует художника: у него нет желания ответной реакции”<sup>13</sup>. Подгайц как бы возвращает право слушателя на понимание музыки и, следовательно, на диалог с произведением и композитором. Содержание концертов представляет конгломерат различных компонентов: поп-музыки, джаза, народной, академической музыки. Пересечения и сочетания этих компонентов часто непредсказуемы и держат слушателя в постоянном напряжении и ожидании, которые и создают атмосферу диалога: каждый новый „поворот” музыкального сюжета рождает новые ожидания, это каскад загадок, ребусов, на который слушатель ищет ответы. Говоря словами Бахтина, в концертах Подгайца выражается особое мироощущение: „Мироощущение это, враждебное всему готовому и завершенному, всяким претензиям на незыблемость и вечность, требовало динамических и изменчивых... играющих и зыбких форм для своего выражения”<sup>14</sup>.

В инструментальных произведениях композитора это мироощущение выявляется в неожиданных, часто стремительных переходах от одного типа музыкального материала к другому, из одной эмоциональной сферы – в противоположную ей, неожиданно обостряющую уже, казалось бы, установившиеся взаимоотношения между различными типами музыкального материала. Как справедливо замечено Бахтиным, „Карнавальное мироощущение

---

<sup>11</sup> Показательным образцом такого типа концерта является *Концерт №1*, до минор, ор. 35, для фортепьяно, трубы и струнного оркестра Д. Шостаковича. В процессе восприятия этого концерта слушатель становится одновременно и свидетелем авторской „дискуссии” со стереотипами жанра и стилей прошлого, и участником этого диалога, которому необходимо понять все „коды” и аллюзии и лишь тогда получить подлинное эстетическое удовольствие от этого соотнесения.

<sup>12</sup> J.D. Kramer, *Beyond Unity: Toward an Understanding of Musical Postmodernism*, in: E.W. Marvin, R. Hermann (eds.), *Concert Music, Rock and Jazz Since 1945: Essays and Analytical Studies*, Rochester, NY, University of Rochester Press 2002, с. 11–33.

<sup>13</sup> Е. Подгайц, Интервью, Музыкальная жизнь 1998, № 6, с. 20.

<sup>14</sup> М. Бахтин, *Творчество Франсуа Рабле...*, с. 14.

обладает могучей животворной преобразующей силой и неистребимой живучестью. Поэтому даже в наше время те жанры, которые имеют хотя бы самую отдаленную связь с традициями серьезно-смехового, сохраняют в себе карнавальную закваску..., резко выделяющую их из среды других жанров. На этих жанрах всегда лежит особая печать, по которой мы можем их узнать. Чуткое ухо всегда угадывает хотя бы и самые далекие отзвуки карнавального мироощущения”<sup>15</sup>. Примером такого карнавального мироощущения, в котором вдобавок обнаруживается разноуровневая связь с традициями клезмерской музыки, может быть *Концерт для двух скрипок и струнного оркестра* (1986).

*Концерт* состоит из трех частей в их прямо ортодоксальной последовательности: быстро-медленно-быстро. В сущности, такое строение уже – „маска”, скрывающая неортодоксальность музыкального материала, своеобразного представленного и своеобразно развивающегося. Клезмерские черты этого материала обнаруживаются прежде всего в наличии двух солистов-скрипачей (первая скрипка и „секунда” в составе клезмерской группы). Уже во вступлении к первой части выявляется амбивалентность темы, открывающей произведение. В ней сосуществуют два элемента: танцевальный и ламентозный. В последующем развитии всего концерта эти два элемента распадаются на две составляющие. Танцевальные черты заостряются, превращаясь в гротескно-скерцозную танцевальность, с характерным для еврейским танцев стремительным ускорением, доходящим до автоматизма, до опьянения танцевальным ритмом и неожиданного прекращения танца в кульминационный момент. Ламентозный же компонент темы нередко превращается в свою противоположность. И в танцевальном, и в ламентозном элементах обнаруживаются подражания смеху, всхлипу, вздоху – характерные приемы клезмерского исполнения. Игра – диалог между двумя солистами и между солистами и оркестром неожиданно приводит к появлению нового материала – мелодии, заимствованной из популярного хита *Карнавал*, которая постоянно, до последней части *Концерта*, меняет свой облик. Специфические музыкальные идиомы еврейской/клемерской музыки проникают в оригинальный музыкальный язык Подгайца и интегрируются с ним также естественно, как они интегрируются с мелодией песни *Карнавал*. Как и в клезмерской музыке, в произведении Подгайца фольклорные песенные интонации становятся источником танцевальных эпизодов, черта, которую многие исследователи еврейской музыки определяют как национально-характерную. Еще одна характерная особенность клезмерского исполнения – переинтонирование основных мелодических отрывков – в контексте *Концерта* напоминает характерные карнавальные „перевертыши”, когда ламентозный мотив, изначально – пародия на ламенто, появляется в „замаскированном” виде, сочетаясь с имитацией смеха, а мотив хита *Карнавал* неожиданно звучит с элементами

<sup>15</sup> М. Бахтин, *Проблемы поэтики...*, Москва 2002, с. 121–122.

„всхлипа”. Задумчивая вторая часть концерта не „выпадает” из общего клезмерского содержания произведения. Она ассоциируется с эпизодом „усаживания невесты” перед церемонией бракосочетания, когда все присутствующие отвлекаются от непринужденного веселья и, побуждаемые обращением бадхана, напоминающего об этической стороне брака и о нелегких обязанностях жены в браке, об уходящих навсегда беззаботных годах девичества, задумываются, грустят, нередко плачут. В целом, весь характер этой части более однородный, здесь нет места шуткам и внезапным вторжениям элементов, создающих „смеховые” эффекты. В связи с этим первые же звуки танцевальной мелодии третьей части воспринимаются как призыв к веселью без границ. „Карнавал без границ”, по выражению Бахтина, переворачивает здесь весь материал первой части: тема хита *Карнавал* становится главной составляющей, ламентозные мотивы звучат, как буффонные, все захвачено вихрем танца, еще более опьяняющим, чем в первой части. Шалом Алейхем писал: „веселье все еще в полном разгаре, каждый из гостей заказывает оркестру танец. Резник Ионтл танцует «казачка», а навстречу ему важно выступает мать невесты, с огромным животом. Публика хлопает в ладоши, а благочестивый резник не замечает даже, что танцует с женщиной. Залихватски откалывая коленца, он идет вприсядку. Веселье разгорается. Мужчины танцуют уже, не в обиду им будь сказано, чуть не в одних исподних. Вот и Айзик-Нафтоля скинул сюртук, выставив напоказ широкие рукава белой сорочки. Не так-то легко было уломать его, чтоб он согласился снять сюртук. Кто-то напялил ему на голову чужую шляпу, нахлобучил ее на глаза. Все гогочут, глядя на него веселыми пьяными глазами. Музыканты ...вошли в раж... А молодежь старается изо всех сил. Больше всех усердствует Мехча-барабанщик, он как зверь колотит барабан. Его рыжей головы и не видать; видно только, как он подергивает плечами и притопывает кривыми ножками”<sup>16</sup>. В этом описании – все характерные признаки карнавала: забвение всех условностей, равенство и свобода.

Ощущение свободы от догмы, не только догмы модернизма, но и догматических требований советской идеологии в вопросах искусства, возникает и при восприятии *Концерта № 1* (1983) для скрипки с оркестром, в котором общий напряженный тон высказывания, связанный с использованием еврейских идиом, выражающих страдание, напоминающих плач еврейских молитв, неожиданно „взрывается” звуками популярного шлягера *Миллион алых роз*. Здесь нет и намека на еврейскую свадьбу, но чем явственнее обнаруживается несоответствие двух основных пластов музыкального материала *Концерта*, тем интенсивнее становится диалог со слушателем. „Гримасничанье” труб, исполняющих мелодию шлягера, гротеск, проступающий в переплетениях различных элементов, сближают мир *Первого концерта для скрипки* с миром картин Шагала. Специфическое же клезмерское начало проступает в каденции

<sup>16</sup> Ш. Алейхем, цит. изд., с. 62–63.



солиста, когда мотив шлягера вдруг начинает звучать очень по-еврейски. Перевернутый мир карнавала здесь заявляет о себе, но способ выражения этого карнавального „перевернутого” мира – способ, характерный для еврейской музыки. Свидетельства такой „иудаизации” нееврейской музыки найдены в архиве Моисея Береговского: он вспоминал, как в 1928 году, „в дискуссии, последовавшей за его речью в Фольклорной комиссии Украинской академии наук, он спел еврейскую молитву *Мегахель хаим* на мелодию известной русской *Камаринской*, но в умеренном темпе и в канторском стиле пения, не меняя ни одной ноты в оригинальной мелодии. Высококвалифицированные киевские музыковеды были единодушны в определении спетого Береговским, как типичной еврейской мелодии, и были очень смущены, когда обнаружили, что это было на самом деле”<sup>17</sup>.

Многокрасочный карнавальный мир представлен в *Тройном концерте* Подгайца. Это произведение композитор определяет как автобиографическое, согласно этому определению *Тройной концерт* можно рассматривать как своеобразное композиторское кредо. По аналогии с бахтинским определением „карнавализированной литературы”, *Тройной концерт* представляется воплощением „карнавализированной музыки”. По определению Бахтина, одним из признаков такого рода литературы является „нарочитая многостильность и разноголосость этих жанров. Они отказываются от стилистического единства... для них характерна многотонность рассказа, смешение высокого и низкого, серьезного и смешного, они широко пользуются... пародиями на высокие жанры, пародийно переосмысленными цитатами... в некоторых из них наблюдается смешение прозаической и стихитворной речи, вводятся живые диалекты и жаргоны..., появляются различные авторские личины”<sup>18</sup>. *Тройной концерт* Подгайца, написанный в 1986, по словам самого композитора, которому исполнилось только 37 лет, „является подведением итогов определенного жизненного периода”<sup>19</sup>. Произведение полно аллюзий и цитат, в этом проявляется его диалогическая сущность, в первую очередь. Для слушателя – прочесть эти аллюзии и цитаты означает понять содержание концерта. Аллюзии и цитаты дают огромный диапазон стилей. Стилистические и эмоциональные цитаты простираются от Бетховена, Рахманинова и Дворжака до Мусоргского и Малера, стилей рэг-тайма, траурного марша, вальса. Помимо них здесь множество конкретных цитат, таких, как популярные хиты *Money* и *Скованные одной цепью*, в центре – две народные мелодии: русский народный напев *Ой там, на горе* и еврейская народная свадебная мелодия *Ломир але ин эйнем*. Эти две народные мелодии образуют центральную смысловую ось концерта. В соединениях этих

<sup>17</sup> I. Zemtsovsky, Foreword to *Jewish Instrumental Folk Music: the Collections and Writings of Moshe Beregovski*, Trans. and eds. M. Slobin, R.A. Rothstein, M. Alpert, Syracuse, NY, Syracuse University Press 2001, с. xii.

<sup>18</sup> М. Бахтин, *Проблемы поэтики...*, с. 123.

<sup>19</sup> Е. Подгайц, Интервью с автором статьи (12.01.2002).

мелодий с другими цитатами и аллюзиями возникают не просто полифонические сочетания (в данном случае мы имеем в виду именно музыкальный термин полифония), а диалог сознаний и времен, в котором „низкие” жанры пересекаются с академическими, академические жанры пародируются, в траурный марш вторгается глумление, а популярной песне *Скованные одной цепью* неожиданно придается концептуальное значение.

Осмысление трех проанализированных выше произведений требует не только собственно музыковедческой терминологии, но нуждается в некоем междисциплинарном понятии, каковым является „хронотоп” Бахтина. В типологии хронотопов сам Бахтин особо выделяет „такой, проникнутый высокой эмоционально-ценностной интенсивностью, хронотоп, как п о р о г ...наиболее существенное его восполнение – это хронотоп кризиса и жизненного перелома. Само слово «порог» уже в речевой жизни... сочеталось с моментом перелома в жизни, кризиса, меняющего жизнь решения... В литературе хронотоп порога всегда метафоричен и символичен, иногда в открытой, но чаще в имплицитной форме”<sup>20</sup>. Применяя это понятие к произведениям Подгайца, созданным в реальном времени и пространстве СССР 1980-х годов, можно ощутить, насколько это реальное время, вначале предчувствия перемен, а затем и самих этих, непонятно (на тот момент) куда ведущих общество перемен, получает оригинальное „подгайцевское” воплощение. Многозвучный, многоплановый, диалогический мир его концертов – свидетельство диалектичности мировосприятия композитора: это и „схваченное” мгновение, временной сгусток, подобный тому, который определяет Бахтин относительно произведений Ф. Достоевского: „Время в этом хронотопе, в сущности, является мгновением, как бы не имеющим длительности и выпадающим из нормального течения биографического времени”<sup>21</sup>, и нечто более универсальное, продолжающееся, свойственное любому человеку, живущему, по-видимому, в своем собственном месте и времени, или, перефразируя Бахтина, в своем собственном хронотопе.

Инструментальные концерты Е. Подгайца, благодаря цитированию хорошо знакомого слушателям песенного материала, разнообразным стилистическим аллюзиям, пародиям и т.п., образуют как бы новый тип нарративности, требующий активного слушательского участия и своеобразного диалога с автором и произведением. Обращение композитора к популярным мелодиям и „переинтонирование” этих мелодий превращается в своеобразную игру со слушателем, в процессе которой слушатель открывает новое в знакомом и необычное – в привычном, что также воплощает принцип карнавала, когда, по выражению Бахтина, „сама жизнь играет, а игра на время становится самой жизнью”<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> М. Бахтин, *Формы времени и хронотопа в романе*, в: М. Бахтин, *Эпос и роман*, Санкт-Петербург 2000, с. 182.

<sup>21</sup> Там же, с. 183.

<sup>22</sup> М. Бахтин, *Творчество Франсуа Рабле...*, с. 11.

## **Summary**

### **Carnivalization and Dialogization in Contemporary Music**

Several ideas of M. Bakhtin's literary theories can provide better understanding of musical works. Using Bakhtin's concepts of carnival, dialogism and chronotope, this paper tries to analyze contemporary musical works in the genre of the concerto.



**Александр Лошаков**  
Москва

## ПРОБЛЕМА СВЕРХТЕКСТА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ

**Key words:** Russian philology, text, culture text, text cycle, supertext, text structure

Взгляд на некоторый класс самостоятельных текстов, заключающих в себе те или иные общие для них признаки (авторского, жанрового, идейно-тематического, структурного, мотивно-образного, ценностно-эмоционального плана), как на целостно-единое образование – **сверхтекст** возник задолго до выделения последнего в качестве объекта и предмета научного изучения, моделирования, анализа, интерпретации. В науке такая ситуация закономерна, ведь термин, как правило, всегда отстает от им определяемого и ему соответствующего явления.

Осознание условного характера противопоставления *текст / тексты* и присущего данной оппозиции отношения включения приводило филологов к мысли не только о „прозрачности” текстовых границ, но и о допустимости вневременного, пространственного взгляда на произведения словесного искусства, принадлежащие разным авторам, стилям, отстоящие друг от друга во времени. Уже в трудах А.А. Потебни, Д.Н. Овсяннико-Куликовского, А.Н. Веселовского текст (произведение) рассматривался не просто как звено в истории культуры, но как феномен, соотносящийся с „художественным «капиталом», данным в самом языке” [Овсяннико-Куликовский 1989: 118] и реализующий унаследованные повторяющиеся сюжеты, образы, стилистические (пластические, поэтические) формулы, „бессознательно сложившуюся условность”, что вкуче указывает на границы личного почина [Веселовский 1989: 294–295]. Художественное произведение мыслилось Потебне как целостно-единый мир, создаваемый способностью слова, образа („одного главного образа”), стоящего за ним, „к разложению и, следовательно, связи с другими”. „Способ постановки одной фигуры в поэтическом произведении, – цитирует Потебня высказывание В. Гумбольдта, – заставляет фантазию не только присоединить к ней многие другие, но и именно столько, сколько нужно для того,

чтобы вместе с первою образовать замкнутый круг”. В то же время данная особенность текста оборачивается его потенциальной открытостью, ибо, согласно тому же Гумбольдту, „каждая точка есть центр целого, и, следовательно, целое беспредельно и бесконечно...” [Потебня 2003: 36]. Овсянико-Куликовский по сути развивал этот тезис, когда писал о психологическом эффекте, создаваемом восприятием художественного образа: „обобщающая сила образа простирается на неопределенное огромное количество фактов действительности, которых нельзя перечислить и учесть и из которых слагается как бы перспектива жизни, все удаляющаяся и теряющаяся где-то далеко, далеко, куда глаз не хватает” [Овсянико-Куликовский 1989: 159]. Если помыслить этот раздвигающийся горизонт действительности как горизонт художественной реальности, созидаемой текстами, то окажется, что речь уже будет идти о ряде в чем-то конгениальных друг другу текстов (о некоторых аспектах континуально-дискретной художественной реальности) и о формообразующих ассоциативно-семантических связях, механизмах, действующих не только в рамках конкретного текста, но и в рамках им же порождаемого динамического контекста, т.е. контекста, конституируемого ассоциативно сопрягаемыми текстами, неопределенное количество которых, будучи связанное с текстом исходным, тем не менее устремлено к отодвигающемуся горизонту – как бы в перспективу текстового континуума. Потебня настойчиво утверждал, что „слово имеет все свойства художественного произведения” [Потебня 2003: 44, 36, 38]. Обратное, соответственно, тоже верно: произведение сродни слову. Как и слово (образ, единство образов), произведение обладает глубинным измерением, благодаря чему оно говорит понимающему „нечто *иное* и *большее*, чем то, что в нем непосредственно заключено” [Потебня 2003: 155], как и в слове, в произведении обнаруживаются архаические (архетипические, „прототекстовые”) смысловые пласты, которые связывают данное произведение со значениями и смыслами предшествующих текстов, относящихся к разным эпохам, традициям, именам. Ср., с одной стороны, тезис Потебни об этимологической истории слова: „Всякое удачное исследование этимологически неясного слова приводит к открытию в нем такого представления, связующего это слово с значением предшествующего слова и так далее в недостижимую глубину веков” [Потебня 2003: 146]; с другой – определение текста как „конденсатора культурной памяти” [Лотман 1999: 21], определение „памяти слова” как его способности актуализировать интертекстуальные связи, открывать „путь как во внутреннюю систему метатропов, лежащую и «внутри» и «над» текстом, так и систему всего поэтического языка и общей поэтической памяти” [Фатеева 2000: 89]. Как и слово, текст (произведение) также „готово стать подлежащим или сказуемым других вновь возникающих” [Потебня 2003: 35] текстов.

Итак, слово и произведение мыслятся филологами конца XIX–начала XX вв. как целостные смысловые единицы, данные в точке пересечения языка и речи, синхронии и диахронии, системы и процесса, что и делает их труды

неисчерпаемым источником идей, лакмусовой бумагой для новых языковедческих, текстоведческих концепций.

Понимание той или иной совокупности текстов как целостного образования – сверхтекста, более того, понимание мира как целостно-единого огромного Текста культуры, в котором все когда-то уже было сказано, нашло отражение во многих философских и филологических работах XX в. В этом большом массиве литературы заметное место принадлежит работам русских символистов, как и исследованиям, им посвященным. Особенностью символистского мироощущения являлся панэстетизм – восприятие искусства как воплощения гармонии мира, осуществления в земных формах „вселенской связности и общности” [Сологуб 2002: 367], как „глубинного аналога общего мироустройства” [Минц 2004: 61]. Художественный текст как главная форма символического поведения, как попытка отождествления культуры в целом претендовал на роль беспредельного, вневременного сверхтекста. Стремление подчинить сам процесс познания законам художественного мышления приводило символистов к экстраполяции методов художественного творчества, образного языка в область литературной критики, философии, науки [Минц 2004: 63, 97].

Символисты были убеждены, что индивидуальный стиль поэта как целостный феномен может проявиться только в цикле, а отдельный текст мог обнаружить свой подлинный смысл только в границах иного, большего текста – цикле, книге, томах, собрании сочинений [Белый 1923]. Для теории сверхтекста такой взгляд на категорию целостности (цельности) имеет первенствующее значение, как актуальны для нее исследования, преследующие цель выявить и описать принципы, механизмы организации и взаимодействия текстов в рамках цикла, книги, журнальной структуры, благодаря которым создаются сверхтекстовые единства. В этом аспекте сохраняет свою плодотворность следующие выдвинутые З.Г. Минц положения об особенностях символистского текста и сверхтекстовых единств:

- любая совокупность текстов может быть воспринята как целостный текст;
- любая часть художественного текста может восприниматься как изоморфная всему тексту, что должно фокусировать исследовательскую мысль на поэтике заглавий, цитат, системе замещений;
- текст, komponующий иной, более сложный текст, получает свой подлинный смысл только в рамках последнего;
- биография писателя, жизненные факты, попадающие в поле зрения последнего, обретают черты художественного текста, который входит на правах составляющей в Текст;
- чужой текст может выполнять функцию кодирования „текстов жизни”, функцию текста интерпретирующего [Минц 2004: 100–102].

Симптоматичным, таким образом, было то, что именно на рубеже XIX–XX вв. в метаязык филологии входит термин „цикл”, призванный обозначить и выразить смысловую целостность совокупности текстов. Понятие цикла сопрягалось в сознании критиков и поэтов с возможностью, не выходя за границы лирики,

воплотить целостное мировосприятие, как угодно сложную систему авторских взглядов, особые отношения между текстом и контекстом [Фоменко 1986: 130]. Иначе говоря, понятие цикла и – шире – сверхтекста было вызвано уразумением того, что в силу воздействия интенциональной установки однородные в каком-либо плане тексты могут сходиться и взаимодействовать в определенном пространстве, в определенной целостной форме.

Положение о том, что закрытость отдельного текста относительна, было убедительно обосновано в трудах русских филологов, начавших свой путь в науке в первые десятилетия XX в., – Л.В. Пумпянского, Ю.Н. Тынянова, Г.А. Гуковского и др. Будучи открытой системой, текст, и прежде всего текст художественный, существует за счет других, предшествующих ему текстов. Сама возможность вычленения в целостном тексте различных текстов и восприятия их как частей единого целого, в аспекте смысловых излучений, идущих из целого – концепта текста, является следствием смысловой проницаемости границ текста, его „вписанности” в текст культуры.

Идеи о сверхтексте можно вычитать также и в тех многочисленных исследованиях, в которых творчество отдельного автора рассматривалось как целостный стилистический объект (Г.А. Гуковский, Л.В. Пумпянский, Б.М. Эйхенбаум и др.), а в качестве ключевых операционных понятий используются „функция” и „доминанта” (Ю.Н. Тынянов, Р. Якобсон, Я. Мука-ржовский); образ, личность автора (В.В. Виноградов, М.М. Бахтин).

Едва ли не первым, кто обосновал возможность рассматривать письменный текст как текст открытый, находящийся в диалогических отношениях с другими текстами, был М.М. Бахтин. Эта мысль русского ученого, встретившись с юнгианским учением об архетипах и универсальной семантике, позже претворилась в трудах французских структуралистов в концепции интертекста (Ю. Кристева, Р. Барт), „порядка дискурса” (М. Фуко), в необоснованное, эпатажное декларирование уже не условной, а принципиальной, тотальной его открытости: „Текст возвращается в лоно языка: как и в языке, в нем есть структура, но нет объединяющего центра, нет закрытости” [Барт 1989: 417].

Г.А. Гуковскому принадлежит мысль о том, что „сколько-нибудь полноценное восприятие произведения непременно требует и предполагает знание прототипа, знание одного или многих других произведений. Более того, – во всех таких случаях восприятие расширяется за пределы данного индивидуального произведения, и, читая одно произведение, мы в то же время как бы воспринимаем другие произведения, причем идейно-художественное воздействие на нас оказывает как то произведение, которое находится перед нашими глазами, так и те, другие, память о которых втянута в орбиту нашего восприятия. Так происходит даже в случае пародии, а тем более полемики” [Гуковский 2002: 113]. В 40-е годы Гуковский выдвинул положения о „«растворении» произведения в групповом единстве произведений”, о „соотнесении единичного произведения с единством группы произведений”, о том, что отдельность произведения („мыслимое читателем единство”) условна,



что оно живет только в ряду некоторого ряда других произведений, что „смысловая ткань данного отдельного произведения наполняется и реализуется в свете целого комплекса и единства, объединения произведений – традиции, борьбы, направления, стиля” [Гуковский 2002: 114, 110, 111].

Позже эти идеи легли в фундамент „контекстуальной” теории Ю.М. Лотмана. В своих *Лекциях по структуральной поэтике* (1964) он детально рассмотрел вопрос о структурном единстве текста, цикла текстов, о проницаемости текстовых границ, о соотношении текста и внетекстовых (внешних) структур, об участии внетекстовых структур в создании структуры текста (как это происходит, например, в системе отношений „стихотворение – поэтический цикл”), а затем понятие структурного единства было распространено им на всю семиосферу. Развитие мысли ученого в обозначенном им направлении закономерно приводило к пониманию того, что для цикла внетекстовой структурой, актуализирующей сверткстковые связи и создающей более полное представление о целостной авторской модели мира, является книга. Этот тезис получает обоснование на том или ином материале в ряде работ, посвященных сверткстковым образованиям, – циклам (М.Н. Дарвин, Л.Е. Ляпина, И.В. Фоменко и др.). Таким образом, в филологических исследованиях упрочивалось понимание контекста как текстопорождающей структуры, получал обоснование тезис о том, что изменение текстовых границ, провоцируемое возможностью соотнесения содержания текста с той или иной внетекстовой структурой (контекстом), влечет естественную трансформацию содержания сообщения, иначе говоря, предопределяет становление нового текста или его варианта [Лотман 1970: 256, 343].

Четкий бахтинский след усматривается в концепции языкового существования Б.М. Гаспарова, опорной точкой которой является идея о наличии в сознании человека „цитатного мнемонического конгломерата”. „Языковая память каждого говорящего формируется бесконечным множеством коммуникативных актов, реально пережитых и потенциально представимых”; и „наша языковая деятельность осуществляется как непрерывный поток «цитации», черпаемой из конгломерата нашей языковой памяти” [Гаспаров 1996: 106, 14]. Гаспаров постоянно подчеркивает, что смыслопорождение „индуцируется языковым материалом, вращается вокруг наличного языкового произведения, от него исходит и к нему возвращается”, что „вписывание” в текст новых смыслов отнюдь „не размывает границы текста, а, напротив, увеличивает число и интенсивность ассоциативных связей внутри текста и тем самым утверждает его целостность” [Гаспаров 1996: 320]. Можно сказать иначе, интроецирование объективных смыслов и метасмыслов, спровоцированное словесно-образным материалом, его коннотативным потенциалом, увеличивает и уплотняет глубинные пласты текста (как и сверткста), который при этом сохраняет свою целостность в силу ее обусловленности фактором автора, комплексом его телеологических установок. Предложенная Гаспаровым концепция, с одной стороны вызывает острую критику, поскольку в ней „чистые лингвисты” обнаруживают *якобы* „полный отказ от структурных представлений,

функционализма и опоры на традицию” [Дымарский 1999: 13], с другой – высоко оценивается за то, что в ней „разделяются операционная стратегия (разворачивание сообщения по определенным правилам «из компактного, многократно свернутого абстрактного отображения языкового материала»), и репродуктивная, или мнемоническая стратегия («непосредственное запоминание и воспроизведение» (Б.М. Гаспаров), основой которой является устойчивый коммуникативный фрагмент и которая фактически определяет языковое существование взрослого человека)”. Тем самым данная концепция „объясняет реальность языковой деятельности”, вводит в фокус внимания коннотативную систему языка, частью которой являются интертекстуальные знаки, без которой человек предстает „лишенным языковой памяти и языкового опыта” [Ревзина 2004].

Важнейшей вехой в развитии теории сверхтекста, вобравшей в себя концепцию семантического пространства (М.Н. Лекомцева, Т.М. Николаева, В.Н. Топоров, Т.В. Цивьян), явились труды В.Н. Топорова, посвященные *Петербуржскому тексту русской литературы*. В них прозреваемое научной мыслью понятие сверхтекста обрело логически непротиворечивое содержание. Сверхтекст в понимании Топорова представляет собой аккумулятивное, сверхсемантическое образование, которое находится в сложных взаимоотношениях с внетекстовой структурой (у Топорова с единым объектом описания – Петербургом). Модель „петербургского текста”, представленная в трудах ученого, может квалифицироваться как тематический, „локальный”, сверхтекст, и это лишь одна из возможных его разновидностей. Сверхтекст конституируется на основе „некоторых общих принципов отбора и синтеза материала, а также задач и целей, связанных с текстом”; а в число дифференциальных свойств сверхтекста входят подчиненность его содержания „максимальной смысловой установке” (идее), кросс-жанровость, кросс-темпоральность, кросс-персональность [Топоров 2003: 26, 27, 85].

Таким образом, понятие сверхтекста шире понятия цикла; единство последнего обязательно обуславливается авторским замыслом, что находит выражение уже в заглавии, предпосылаемом автором, и жанровой форме *цикла*, которая охватывает, сцепляет самостоятельные произведения, иницируя циклообразующие связи [Фоменко 1986: 130]. Важно подчеркнуть также и то, что такое понимание сверхтекста пересекается с мыслью М.Н. Дарвина о том, что „целостность различных циклических форм, не сводимых только к форме собственно лирического цикла, [...] можно представить себе как целостность разных видов контекстов. [...] единство [цикла] следует рассматривать как единство противоположностей, характеризующееся действием как центростремительных, так и центробежных сил. Поэтому известная «извлекаемость» отдельного произведения из контекста цикла не менее важный его признак, чем целостность или «неделимость»” [Дарвин 1997: 10–11].

В нашем понимании сверхтекст представляет собой ряд отмеченных ассоциативно-смысловых общностей в сферах автора (креатора, составителя), кода, контекста, адресата автономных словесных текстов, которые в культурной

практике актуально или потенциально предстают в качестве интегративного (целостно-единого), динамического, многомерного, диссипативного словесно-концептуального образования, подчиняясь всецело при этом принципу смысловой центрации – выдвигению определенных смыслов в качестве доминирующих. Что касается содержательной стороны понятия культурной практики, то оно включает в себя как „научное изучение текстов писателя N”, так и „чтение этих текстов ради «удовольствия от текста»” [Фрумкина 2006: 3].

Свертхтекст – единство высшего порядка и, следовательно, в конституировании его внутренней структуры в границах осознаваемой целостности текстового ансамбля принимают участие концептуальные и языковые единицы разных уровней, их внутренние связи, контекст. Тесная и специфическая связь свертхтекста с внетекстовыми образованиями может служить критерием отграничения свертхтекста от интертекста и гипертекста [Меднис 2003], роль которых в конституировании свертхтекста неоспорима, ибо интертекстуальные (центробежные межтекстовые связи, участвующие в смысловом обогащении тех или иных участков свертхтекста, но не экстенсивирующие его состав) и гипертекстуальные связи (система эксплицитных отсылок, позволяющих ориентироваться в информационном пространстве текста) прошивают свертхтекст, сообщая ему структурно-семантическое, концептуальное единство.

В культурном пространстве свертхтекст, как и текст, существует в свернутом виде, как концептуальное образование. При этом, полагаем, немаловажным условием его существования является наличие в его составе одного компонента (текста или „текста жизни” автора), который имел бы статус прецедентности, известности, по крайней мере, в кругу читателей-специалистов (правомерно считается, что в различных референтных группах читателей, реципиентов художественной продукции прецедентность проявляется неодинаково, избирательно). Иначе говоря, правомерно выделение актуальных („сбывшихся”), актуализированных (известных только специалистам) и потенциальных (еще „не сбывшихся”) свертхтекстов.

Предварительным условием моделирования свертхтекста, на наш взгляд, является профилированное (в бартовском понимании) прочтение ряда текстов в призме усматриваемой для них целостности. Тем самым свертхтекст как моделируемая сущность наделяется презумпцией целостности, а содержательный аспект его целостности оказывается обусловлен интенционально полагаемым принципом центрации, который обеспечивает проекцию ассоциативно-смежных и/или подобных текстов (субтекстов) „с оси селекции на ось комбинации” (Р. Якобсон) и предуказывает модус их осмысления и интерпретации в рамках целостного образования. Презумпция целостности устраняет необходимость учета линейности текста, порядка их следования. Свертхтекст предстает как структура нелинейного образования, многомерная и семантически диссипативная. В пространство свертхтекста можно войти через любой его архитектурный компонент, через любой составляющий его текст, как и любую составляющую последнего, ибо целое свертхтекста отражается в каждой

его части. Внутренний аспект целостности сверхтекстового образования связан с теми механизмами, которые обеспечивают его „внутреннюю жизнь”, детерминируют смыслопорождающие процессы. Определения цикла как „произведения произведений” (М.Н. Дарвин), как „целостности целостностей” [Яницкий 1998], восходящие к известной формуле Вл. Соловьева – „Полная свобода в совершенном единстве целого” [Соловьев, т.6: 297], вполне приложимы к сверхтексту. И тот и другой феномен – это всегда новое художественное единство, возникающее как результат взаимной рефлексии субъекта и текста, текста и текста в границах творимой ими целостности.

Так в российской филологии создавалась научная база для оформления сверхтекстовой теории. Актуальной задачей текстоведения является разработка гибкой дефиниции сверхтекста, его типологии, отграничения его от сходных и/или смежных с ним феноменов – гипертекста, ансамбля, серии, цикла, выяснения отношений между разного рода литературными инсталляциями.

### Библиография

- Барт Р. (1989). *Избранные работы: Семиотика: Поэтика*. М.
- Белый А. (1923). *Вместо предисловия*. В: А. Белый. *Стихотворения*. Берлин, Пб, М. С. 5–8.
- Веселовский А.Н. (1989). *Историческая поэтика*. М.
- Гаспаров Б.М. (1996). *Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования*. М.
- Гуковский Г. (2002). *О стадильности истории литературы*. Новое литературное обозрение. № 3 (55). С. 106–131.
- Дарвин М.Н. (1997). *Художественная циклизация лирических произведений*. Кемерово.
- Дымарский М.Я. (1999). *Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX – XX вв.)*. СПб.
- Лотман Ю.М. (1970). *Структура художественного текста*. М.
- Лотман Ю.М. (1999). *Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история*. М.
- Меднис Н.Е. (2003). *Сверхтексты в русской литературе*. НГПУ. [Электронный ресурс].  
Режим доступа: <[http://knigorod.gmsib.ru//files/3\\_6.rar](http://knigorod.gmsib.ru//files/3_6.rar)>.
- Миц З.Г. (2004). *Поэтика русского символизма*. СПб.
- Овсянко-Куликовский Д.Н. (1989). *Литературно-критические работы в двух томах*. Т. 1. М.
- Потебня А.А. (2003). *Теоретическая поэтика*. М.
- Ревзина О.Г. (2004). *Лингвистика XXI века: на путях к целостности теории языка. Критика и семиотика*. Вып. 7. Новосибирск. С. 11–20. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <<http://www.philology.ru/linguistics1/revzina-04.htm>>.
- Соловьев Вл. (б.г.). *Собр. соч.* 2 изд. СПб. Т.6. С. 297.
- Сологуб Ф. (2002). *Искусство наших дней*. В: *Критика русского символизма*. В 2 т. Т.1. М. С. 334–367.
- Топоров В.Н. (2003). *Петербургский текст русской литературы: Избранные труды*. СПб.
- Фатеева Н.А. (2000). *Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов*. М.
- Фоменко И.В. (1986). *О принципах композиции лирических циклов*. Известия АН СССР. Серия литературы и языка. № 2. С. 130–137.
- Фрумкина Р.М. (2006). *Лингвистика и критика социальных наук*. Известия РАН. Серия литературы и языка. № 1. С. 3–11.
- Яницкий Л.С. (1998). *Стихотворный цикл: динамика художественной формы*. Автореф. дис. [...] канд. филол. наук. Новосибирск.

## **Summary**

### The Problem of Polytext in the Russian Philology

The article is dedicated to the problem of conceptions of polytext, of foundation of its notional nature. Polytext is defined as a row of marked by associative and semantic community in the spheres of author (creator, compiler), code, context, addressee of autonomous word texts which in the cultural practice actually or potentially are represented as integral (whole and unique), dynamic, multimeasured, dissipative conceptual and semantic product, completely submitted to the principle of centration. Polytext is an integral, polystylistic, polygenre, polysubject formation. The inner aspect of integrity of polytext is connected with mechanisms which ensure its 'internal life', determine processes making senses. Sources of conceptions of polytext are in the works by A. Potebnya, D. Ovsyaniko-Kulikovsky, A. Veselovsky, V. Ivanov, A. Belyi, M. Bahtin, G. Gukovsky and others. The interest to the theory of polytext was initiated by Y. Lotman, Z. Mints, V. Toporov and others. The cycle is a subtype of polytext.

